

КРИТИЧЕСКІЕ КОММЕНТАРІИ

КЪ СОЧИНЕНІЯМЪ

А. Н. ОСТРОВСКАГО.

ХРОНОЛОГИЧЕСКІЙ СБОРНИКЪ КРИТИКО-
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХЪ СТАТЕЙ.

Часть третья.

СОСТАВИЛЪ

В. Зелинскій.

МОСКВА.

Типографія А. Г. Кольчугина, Волхонка, д. Воейковой.
1896.

ВЪВЕДЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

А. Н. ОЦТБОРСКАТО

ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА
ИЗЪИСТОРИИ

ИЗЪИСТОРИИ

ИЗЪИСТОРИИ

МОСКВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Критика шестидесятихъ годовъ.

„Василиса Мелентьева“. Драма въ пяти дѣйствіяхъ.

Критическія статьи:

Изъ „Вѣсти“ за 1868 г.—Статья Т.	1
Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ за 1868 г.—Статья М. Ф. . .	7
С. И. Сычевскаго. Изъ „Одесскаго Вѣстника“ за 1868 г. . .	12
Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1868 г.	27
„С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1868 г.—Статья Незнакомца (А. Суворина).	33
Изъ „Новаго Времени“ за 1868 г.	52
„Русскаго Инвалида“ за 1868 г.—Статья W.	62
Статья А. Плещеева изъ „Антракта“ за 1868 г.	65

„Свои люди—сочтемся“. Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ.

Критическая статья профессора Селина	74
--	----

„Доходное мѣсто“. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

Статья изъ „Херсонскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ за 1868 годъ	98
---	----

„На всякаго мудреца довольно простоты“. Комедія въ
пяти дѣйствіяхъ.

Критическія статьи:

Изъ „Современной Лѣтописи“ за 1868 г.	100
Статья Незнакомца (А. Суворина). Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1868 г.	106
Изъ „Одесскаго Вѣстника“ за 1869 г.—Статья М. . . .	119
Статья Е. Утина. Изъ „Вѣстника Европы“ за 1869 г. . .	128

„Горячее сердце“. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

Критическія статьи:

Изъ „Сѣверной Пчелы“ за 1869 г.	179
„ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1869 г.	185
Статья Лунина. Изъ „Всемирной Иллюстраціи“ за 1869 г.	190
Изъ „Петербургской Газеты“ за 1869 г.—Статья Z. Z. .	192
Статья Е. Утина. Изъ „Вѣстника Европы“ за 1869 г. . .	195
Списокъ изданій, изъ которыхъ критическія статьи объ Островскомъ не вошли въ настоящую третью часть сборника.	210

Критика семидесятихъ годовъ.

„Бѣшенныя деньги“. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

Критическія статьи:

Изъ „Голоса“ за 1870 г.	211
„ „Зари“ за 1870 г.	220
„ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ за 1870 г.	226
„ „Новаго Времени“ за 1870 г.	230

КРИТИКА ШЕСТИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

„Василиса Мелентьева“. Драма въ пяти дѣйствіяхъ. Написана въ сотрудничествѣ съ С. А. Гедеоновымъ.

*) Недавно намъ удалось познакомиться съ новымъ произведеніемъ извѣстнаго драматурга нашего А. Н. Островскаго. Это произведеніе, принадлежащее, впрочемъ, не одному г. Островскому, но еще и другому, скромно-скрывшему себя лицу, есть пяти-актная историческая драма, въ стихахъ, подъ заглавіемъ: *Василиса Мелентьева*. Не знаемъ, кому изъ двухъ — г. Островскому или его таинственному сотруднику — принадлежитъ самый сюжетъ или, такъ сказать — канва драмы; но нельзя не согласиться, что выборъ сюжета въ высшей степени удаченъ. Василиса Игнатьевна Мелентьева, вдова, красавица, попала въ теремъ къ царицѣ Аннѣ, изъ рода Васильчиковыхъ — пятой женѣ царя Іоанна Грознаго, на которой царь женился, постригши въ монахини Анну Колтовскую, четвертую свою жену. Царица Анна (Васильчикова) до замужества жила у князя Михаила Воротынскаго, который приютилъ ее, какъ сиротку, и воспиталъ въ своемъ семействѣ. Царица Анна женщина умная, очень добрая, необыкновенно чувствительная, но въ крайнихъ случаяхъ и энергическая, — успѣла уже наскучить царю Іоанну, и онъ даже не прочь-бы избавить-ся отъ нея. Красивая вдова Василиса подмѣтила это и —

*) „Вѣсть“ 1868 г., № 7. „По поводу новой исторической драмы Островскаго.“ Статья Т.

вотъ завязка драмы. Князь Воротынскій, „названный“ отецъ царицы—не поладилъ съ Малютой-Скуратовымъ; тотъ — оклеветалъ его, обвинилъ въ измѣнѣ, въ волшебствѣ изъ посягательства на жизнь царя; его судятъ и потомъ казнятъ; но во время допроса его самимъ царемъ, въ грановитой палатѣ, при боярахъ, вбѣгаетъ царица Анна и за ней, въ качествѣ ея штатсъ-дамы (не знаемъ, какъ иначе назвать лицо, озаглавленное въ пьесѣ „вдова изъ терема царицы“), Василиса Мелентьева и сѣнная дѣвушка. Заступничество царицы не помогло,—Воротынскаго осудили; но царь замѣтилъ красавицу Василису. Честолюбивая вдова начинаетъ дѣйствовать. Сѣтующая и оплакивающая горькую участь благодѣтеля своего, царица, въ жару разговора съ Мелентьевой, жалуется на свою тяжелую жизнь, на царя—охладившаго къ ней и, вспоминая свое прошлое, проговаривается, что она до замужества любила, хотя судьба не судила ей выйти за любимаго ею человѣка, и онъ самъ ничего не зналъ о томъ. Этотъ человѣкъ—дворянинъ Колычевъ (царица однако его не назвала), служащій у Малюты-Скуратова и страстно влюбленный въ Василису. Умная и лукавая вдова ловко пользуется этимъ послѣднимъ обстоятельствомъ: шепнула Малютѣ, тотъ—царю; царь озлобился, пришелъ допрашивать царицу, которая, впрочемъ, выдержала этотъ допросъ смѣло, и царь оставилъ ее съ гнѣвомъ, но безъ приговора. Тогда Василиса подговорила, обманомъ, страстно-влюбленнаго въ нее Колычева отравить царицу, обѣщая принадлежать ему, если онъ это сдѣлаетъ. Колычевъ совершаетъ злодѣйство; его немедленно удаляютъ; а Василису царь беретъ къ себѣ и живетъ съ ней, хотя еще не вступилъ съ ней въ бракъ. Но тутъ Василиса превращается въ леди Макбетъ. По ночамъ ее преслѣдуетъ призракъ царицы Анны, и Василиса, сонная, бѣгаетъ, стараясь уйти отъ призрака. Наконецъ, однажды, послѣ подобной сцены, Василиса, успокоенная самимъ царемъ, засыпаетъ; царь зоветъ Малюту и спальниковъ (въ числѣ которыхъ очутился и возвратившійся Колычевъ), приказываетъ имъ взять и отнести Ме-

лентьеву въ опочивальню; но въ эту минуту спящая красавица говоритъ, во снѣ, что она любитъ Андрюшу (Колычева), а стараго, сѣдого (т. е. царя) не любитъ. Царь вспыхнулъ, Мелентьева пробуждается, Колычевъ немедленно ее допрашиваетъ, та винится въ своей интригѣ, и Колычевъ тутъ же ее убиваетъ.

Драмѣ конецъ... Вотъ сюжетъ драмы и притомъ, повторяемъ, сюжетъ прекрасный, благодарный для драматическаго писателя. Страждущая, добрая царица, честолюбивая, лукавая вдова, обманутый Колычевъ, оклеветанный герой Воротынскій, свирѣпый Малюта и, наконецъ, грозный царь, — все это богатая канва. Какіе же узоры вышиты на этой канвѣ фантазіей и талантомъ г. Островскаго... Позволимъ себѣ небольшое общее отступленіе. Въ послѣднее время, съ легкой руки, написавшей трагедію „Смерть Іоанна Грознаго“, у насъ стали выводить на сцену и на судъ потомства грознаго царя. Передѣляли для сцены и пустили на Александринскій театръ *Князя Серебрянаго*, вынули долго покоившуюся подъ спудомъ и поставили на сцену трагедію Лажечникова — *Опричникъ*, играли часть пьесы Мея — *Псковитянка* и, наконецъ, напечатали во *Всемирномъ Трудѣ* написанное сплеча произведеніе г. Аверкіева — *Слобода Неволья*. Такое внезапное милостивое вниманіе нашей Мельпомены къ памяти Іоанна Грознаго понятно. Грозный царь, живущій еще до сихъ поръ эпической жизнью въ памяти народной, есть личность, обладающая такими крупными чертами, что для драматическаго произведенія ничего не можетъ быть болѣе подходящаго. Эта личность можетъ весьма легко разыграть въ любой пьесѣ и интригу, и *fatum*, и *deus ex machina*. А между тѣмъ, если не ошибаемся, до послѣдняго времени не позволялось выводить эту личность у насъ на сцену. Наконецъ, новая жизнь этого историческаго дѣятеля на нашей сценѣ, жизнь въ глазахъ потомства воскресла прекрасно воспроизведенной графомъ А. К. Толстымъ „Смертью“ грознаго царя. Смѣло повторяемъ то, что было сказано въ газетѣ *Вѣсть*, вскорѣ послѣ перваго представленія трагедіи графа Тол-

стого,—повторяемъ, что эта трагедія есть лучшее у насъ произведеніе, въ смыслѣ исторической драмы, со временъ „Бориса Годунова“—Пушкина. Мы не хотимъ этимъ сказать, что „Смерть Іоанна Грознаго“ не имѣетъ никакихъ недостатковъ и не могла быть еще лучше; но безспорно, что съ этой трагедіей нельзя поставить на ряду ни одной изъ произведеній нашего геніальнаго Пушкина. Тутъ случилось то, что всегда бываетъ. Вполнѣ заслуженный успѣхъ прекрасной трагедіи гр. Толстого вызываетъ подражателей. Но и здѣсь произошло то, что всегда случается съ подражателями. Графъ А. К. Толстой, долгими годами добросовѣстнаго изученія и труда, съ любовью пришелъ къ мастерскому воспроизведенію личности Іоанна Грознаго. Прежде трагедіи имъ было написано нѣсколько замѣчательныхъ балладъ о Грозномъ, изъ которыхъ особенно выдается превосходная баллада *Василій Шибановъ*; затѣмъ былъ написанъ извѣстный романъ *Князь Серебряный*. Іоаннъ Грозный былъ до настоящаго времени для этого писателя любимымъ героемъ, эпоха котораго предлагаетъ такъ много оригинальныхъ и драгоцѣнныхъ, по своей типичности, чертъ изъ исторической жизни русскаго народа. И авторъ „Смерти Іоанна Грознаго“, повторяемъ, добросовѣстно изучилъ эту эпоху. И вотъ, Грозный царь явился въ трагедіи гр. Толстого живымъ лицомъ, какъ причина и вмѣстѣ продуктъ окружающей его среды и дѣйствительности; онъ оставилъ запыленные страницы лѣтописей и воскресъ передъ глазами потомства, не одними внѣшними атрибутами своими, но и своей внутренней жизнью...

Не такъ бываетъ съ подражателями... Обращаясь къ послѣдней драмѣ г. Островскаго, мы находимъ себя совершенно свободными высказать то общее впечатлѣніе, которое она произвела, *въ чтеніи*, лично на насъ. Г. Островскій и въ этомъ произведеніи остался вѣренъ самому себѣ. Объяснимся. Всѣмъ намъ очень хорошо извѣстно, что г. Островскій написалъ до настоящаго времени нѣсколько довольно удачныхъ комедій и *ни одной* исторической драмы, которая могла бы выдержать серьезную критику. Въ концѣ

сороковыхъ годовъ, г. Островскій выступилъ на судъ публики, въ Москвѣ, съ своимъ первымъ произведеніемъ: *Свои люди—сочтемся*, которое, впрочемъ, долго не позволяли играть на сценѣ, и тѣмъ самымъ набивали на него цѣну.

Крикнули, что открыта и разрабатывается новая руда, которую называли потомъ *Темнымъ Царствомъ*; крикнули, что явился новый Гоголь. Москва особенно податлива на подобные радикальные приговоры. Новую руду захватили не глубоко, новаго Гоголя не дождались. Но тѣмъ не менѣе, на *безогольи* и г. Островскій сталъ смотрѣть *гоголемъ*. Пошли въ ходъ *Бѣдность не порокъ*, *Не въ свои сани не садись*, потомъ вышло изъ-подъ запрещенія *Доходное мѣсто*, *Грѣхъ да бѣда* и проч. Вездѣ разрабатывалась одна и та же руда: купецъ-самодуръ, купецъ-плутъ, купецъ-пьяница, а подъ часъ и поэтъ, чиновникъ-взяточникъ, чиновникъ въ загонѣ, глупая купчиха, запуганная, толстая купчиха и проч. Выбравъ болѣе или менѣе удачный сюжетъ, уснастивъ рѣчь болѣе или менѣе гостинодворскими аргю, г. Островскій углублялся, но не слишкомъ, въ душу, во внутренній жизненный процессъ своихъ незатѣйливыхъ героевъ: они у него не Плюшкины, не Чичиковы, не Тентениковы; нѣтъ, они суть рядъ болѣе или менѣе удачныхъ изреченій, превращающихся въ Садовскихъ, Шумскихъ, Васильевыхъ и проч., смотря потому, какой актеръ играетъ роль и что онъ или скорѣе когдѣ онъ изъ этой роли сдѣлаетъ. Вотъ почему въ чтеніи комедіи г. Островскаго тяжелы, а на сценѣ идутъ очень гладко, благодаря игрѣ талантливыхъ артистовъ, которые облачаютъ свои собственные типы, ими самими изъ жизни выхваченные, въ изреченія г. Островскаго. Съ другой-же стороны, подошло *переходное время* и кстати и некстати полное тенденцій, но не здоровой критики,—перо автора *Темнаго Царства*... Независимо, впрочемъ, отъ этихъ условій, должно согласиться, что произведенія г. Островскаго выше литературныхъ издѣлій всѣхъ этихъ гг. *Потѣхиныхъ*, *Дьяченковъ* и tutti quanti... Казалось-бы, чего еще? Довольно бы. Нѣтъ,

г. Островскому, послѣ эксплоатаціи реченій гостинаго двора, захотѣлось Шекспировскаго лавра. Онъ принялся за историческую драму въ стихахъ. Первый жребій палъ „на выборнаго отъ всея Руси“ гражданина Кузьму Минина Сухорукаго. Сюжетъ пьесы вышелъ растянутъ и извилистъ какъ матушка Волга, и, кажется, та же матушка Волга сообщила щедрое количество воды стиху этого произведенія. Но первый опытъ не остановилъ полета за Шекспиромъ. Послѣ воспроизведенія приснопамятнаго бодрствованія на Волгѣ, г. Островскій изобразилъ *Сонъ на Волгѣ*, и съ этимъ твореніемъ наша разливная рѣка имѣетъ еще болѣе общаго, т. е. песку и воды, чѣмъ съ *Мининомъ*. Затѣмъ начались *Хроники* г. Островскаго; достойный образецъ ихъ *Тушино*. Наконецъ, передъ нами *Вислиса Мелентьева*. Здѣсь, повторяемъ, сюжетъ несравненно удачнѣе, чѣмъ въ прежнихъ историческихъ драмахъ г. Островскаго; но во всемъ остальномъ онъ остался вѣренъ себѣ. Стихъ хотя мѣстами долѣе прежняго упругій, но въ немъ еще слишкомъ много воды; бояре и даже царь Іоаннъ блѣдны какъ смерть. Нѣсколько словъ о томъ, что бояре не рабы, что они помогли царямъ „собрать землю“, что князю Курбскому приличнѣе было-бы сѣсть на колъ, чѣмъ бѣжать отъ безумнаго гнѣва, — все это не вызываетъ эти дѣйствующія лица къ жизни. Грозный царь говоритъ то, что извѣстно о его дѣтствѣ изъ краткой исторіи соч. Устрялова, а потомъ усиливается быть, какъ по исторіи и слѣдуетъ, т. е. жестокимъ и развратнымъ; впрочемъ, передъ тѣмъ какъ Мелентьева заговорила во снѣ о любви своей къ другому, въ Грозномъ явилось нѣчто доселѣ невѣдомое, онъ произноситъ монологъ въ стилѣ юнаго и страстнаго Ромео. Мелентьева постоянно увѣряетъ публику, что она, т. е. Мелентьева, честолюбива, что ей смерть — хочется быть царицей, мечтаетъ о грандіозности своихъ рѣчей и позъ, о своемъ лукавствѣ; но первое объясненіе ея съ царемъ напоминаетъ нѣсколько (страшно сказать) объясненіе Фамусова съ Лизой... Затѣмъ проситъ она Колычева отравить царицу такъ же просто и неприну-

жденно, какъ бы просила подать ей стаканъ воды, и тотъ на это такъ же легко соглашается... Царица Анна нѣсколько живѣе другихъ дѣйствующихъ лицъ—не болѣе. Послѣдняя сцена расправы Колычева съ Мелентьевой, когда онъ ее убиваетъ, верхъ мелкой мелодрамы. Наконецъ, въ пьесѣ есть и неизбѣжный шутъ, который, какъ водится, считается дуракомъ, но, по авторскому велѣнію, оказывается умнѣ всѣхъ. Какъ еще дѣло безъ юродиваго обошлось...

Таково произведенное лично на насъ, чтеніемъ, впечатлѣніе новой драмы г. Островскаго. Не знаемъ, что выйдетъ на сценѣ. Сюжетъ пьесы хорошъ; можетъ быть, артисты разыграютъ и съ эффектомъ, и пьеса будетъ имѣть успѣхъ. Это, впрочемъ, не удивитъ насъ потому, что такія пьесы, какъ, напр., *Виноватая*, имѣютъ же свой относительный успѣхъ... По нашему же мнѣнію, лучше бы г. Островскому не браться за историческія драмы въ стихахъ... Это напоминаетъ намъ, какъ г. Садовскому, превосходному комическому актеру, вздумалось вдругъ сыграть короля Лира. Публика пришла въ изумленіе и отправилась взглянуть на такую диковинку. Какъ умный артистъ, г. Садовскій продекламировалъ роль ровно, плавно, хотя безъ особенныхъ достоинствъ, но все обстояло благополучно.. Публика покачала головой, разошлась, и скоро позабыла объ этой шуткѣ...

Изъ „Вѣсти“ за 1868 г. Статья Т.

*
* * *

*) Темная страница русской исторіи—время Іоанна Грознаго—оказывается любимой темой разработки нашихъ историческихъ драматурговъ. Мрачнымъ его царствованіемъ, обильнымъ крупными, рѣзко отдѣляющимися отъ другихъ царствованій, характеристическими явленіями вдохновляются наши драматурги, подходя къ этой замѣчательной своими отрицательными качествами личности то съ той, то

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1868 г., № 15. „Театральное Обозрѣніе“. („Василиса Мелентьева“) Статья М. Ф.

съ другой стороны и желая возсоздать русскую историческую драму. Задолго до появленія на сценѣ трагедіи *графа Толстого* „Смерть Іоанна Грознаго“, трагедіи, въ которой впервые должна была выступить на театральныхъ подмосткахъ личность грознаго царя, стали толковать, что съ появленіемъ этой трагедіи открывается новая эра для русскаго драматическаго искусства, что историческая драма вырастаетъ передъ перомъ талантливаго поэта, оставляя въ сторонѣ скучную хронику, всегда неудачную при сценическомъ ея представленіи.

Публика отнеслась сочувственно къ дѣйствительно замѣчательной, по художественной обработкѣ и по великолѣпному стиху, трагедіи графа Толстого, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣло развитія русской исторической драмы не подвинулось впередъ. Попытка создать эту драму остается все еще попыткою, потому что рисовать отдѣльныя картины, отдѣльныя фазисы того или другого момента развитія характера Грознаго — не значитъ еще создавать историческую драму, требующую цѣльности, законченности въ дѣйствіи, связи между явленіями, интриги, поддерживающей интересъ въ зрителѣ и, наконецъ, борьбы, составляющей, какъ извѣстно, основу всякой драмы. Всего этого до сихъ поръ не было на нашей сценѣ. Все, что называется у насъ историческою драмою, носитъ это названіе неправильно, потому что есть не что иное, какъ историческая хроника, дѣйствующая на мало знакомую съ исторіей публику единственно только, такъ сказать, своимъ внѣшнимъ видомъ и постановкою. Новая, только что поставленная на сценѣ Маріинскаго театра (въ среду 10-го января, въ бенефисъ П. И. Григорьева) драма: „Василиса Мелентьева“ А. Н. Островскаго и Г... (подъ этими точками, говорятъ скрывается имя одного довольно вліятельнаго въ театральномъ мірѣ лица, написавшаго нѣкогда нѣчто въ родѣ исторической драмы, имѣвшей въ свое время значительный успѣхъ) отчасти пополняетъ этотъ пробѣлъ въ исторической драмѣ, потому что, подобно „Опричнику И. И. Лажечникова“, занимается не одною только рисовкою историческихъ фак-

товъ, характеризующихъ тотъ или другой періодъ мрачнаго царствованія Іоанна Грознаго, является не однѣми только картинами, а построена на интригѣ, заключаетъ въ себѣ то, что принято называть содержаніемъ, а слѣдовательно, необходимо должна поддерживать интересъ въ зрителѣ. Характеръ хроники уступаетъ здѣсь мѣсто фабулѣ или такому историческому факту, который уже самъ въ себѣ заключаетъ драму, такъ какъ изъ него вытекаютъ необходимыя для драмы элементы.

Личность Василисы Мелентьевой, шестой жены Іоанна Грознаго, почти совсѣмъ не разработана исторіей, слѣдовательно, представляется обширное поле фантазіи при изображеніи этой личности на сценѣ. Этотъ замѣчательно настойчивый, порочный въ самой основѣ, честолюбивый, стремящійся къ почестямъ характеръ, не разбирающій средствъ къ достиженію разъ закрывшейся въ его душу идеи,—является основою драмы. Понятно, что такой характеръ какъ нельзя лучше подходитъ къ героинѣ драмы, потому уже, что отъ его вспышекъ и проявленій вытекаютъ перипетіи драмы. Будучи при царицѣ Аннѣ Васильчиковой, Мелентьева, съ помощью влюбленнаго въ нее дворянина *Андрея Колычева*, губитъ царицу, представляя Іоанну его жену—еще до замужества будто-бы любившею сына Воротынскаго, въ домѣ котораго она воспитывалась. Царица въ опалѣ. Мелентьевой, приглянувшейся царю, — этого мало; она, во что бы то ни стало, хочетъ быть царицею, и опять, съ помощью все того же Колычева, отравляетъ царицу Анну. Теперь она торжествуетъ; цѣль достигнута, но, какъ ни испорчена натура Мелентьевой, она не можетъ вынести своего преступленія: тѣнь царицы преслѣдуетъ ее всюду. Въ послѣднемъ актѣ Мелентьева является—лэди Макбетъ. Грозный успокоиваетъ ее и, послѣ весьма талантливо написанной, художественно отдѣланной въ мельчайшихъ подробностяхъ сцены кокетства, того тонкаго кокетства, который укрощаетъ Грознаго, — она засыпаетъ, и бредитъ о любви своей къ Андрею Колычеву. Укрощенный женскою красотою, забывшій на минуту свое

злодѣйство и ханжество, Іоаннъ снова воскресаетъ такимъ, какимъ онъ былъ на самомъ дѣлѣ... Вырывая сознаніе отъ Мелентьевой, онъ не помнитъ себя отъ ярости... на подмогу ему является Колычевъ. Дѣло въ томъ, что, дѣлая Колычева участникомъ своихъ злодѣяній, она обѣщала ему быть его женою, но, разъ освободившись отъ царицы, она забыла о своемъ любовникѣ. Теперь пришла его очередь отомстить ей, и онъ убиваетъ ее. „Спасибо, удружилъ, говоритъ Грозный Колычеву, но ты слишкомъ *румянъ* и *приложъ*, чтобы я держалъ тебя при моемъ дворѣ, гдѣ много дѣвокъ и бабъ. Малюта, зарой его въ одну могилу съ ней“.

Такъ или почти такъ кончается драма „Мелентьева“, на первое представленіе которой собрался весь петербургскій „бомондъ“. Вызывали Островскаго, вызывали и артистовъ...

Пьеса эта произвела на публику нѣсколько странное впечатлѣніе. Казалось, публика осталась въ недоумѣніи, не зная, какъ отнестись къ новому произведенію Островскаго: сочувственно или нѣтъ? Съ одной стороны, чувствовалось, что пьеса дѣйствительно съ большими достоинствами, съ другой—замѣтно было какое-то утомленіе. Пьеса оказалась тяжела, и публика не знала, къ чему отнести это тяжелое впечатлѣніе, къ самой ли пьесѣ или къ плохому исполненію?

Въ драмѣ „Мелентьева“ г. Островскій выставляетъ Грознаго въ его домашнемъ обиходѣ, не царемъ карающимъ, а человѣкомъ влюбленнымъ, поддающимся обольщенію женской красоты, — и очерченъ замѣчательно художественно. Мелкіе оттѣнки его характера, переходы отъ страсти къ злобѣ, ханжество и лютость, — все это выступаетъ во всемъ блескѣ. Грозный является передъ зрителемъ съ нравственной стороны, и вотъ разработкою этой нравственной стороны и занятъ авторъ въ продолженіе четырехъ актовъ. Г. *Самойловъ* не одинаково ровно представилъ намъ Грознаго, — тамъ гдѣ выступали ханжество, чувственность, страстность и полное порабощеніе при видѣ любимой женщины, онъ былъ высоко-художественъ, потому что, такъ сказать,

наглядно воспроизводитъ нравственную сторону характера Грознаго. Особенно хорошъ онъ въ мастерски написанной сценѣ 5 акта, когда Мелентьева, силою женской красоты и кокетства, превращаетъ его изъ тигра въ ягненка.

Вся эта сцена дышала замѣчательною художественностью. И такъ, одно изъ главныхъ достоинствъ новой пьесы это то, что она показываетъ царя Іоанна, прежде всего, какъ человѣка со всѣми его дурными наклонностями и качествами, а уже изъ объясненія характера вытекаетъ объясненіе общаго общественнаго строя, отсюда ясны и отношенія бояръ между собой и значеніе Малюты. Іоаннъ—фокусъ, въ которомъ сосредоточиваются лучи.

Г. Островскій вводитъ затѣмъ зрителя въ теремную жизнь русской до-петровской женщины, но не въ ту теремную жизнь, которая обыкновенно характеризуется на сценѣ пѣніемъ сѣнныхъ дѣвушекъ, старой мамкою, рассказывающею сказки, да боярышнею, горюющею по своему суженому, сидя у косясчатаго окошечка, — а въ ту замкнутую жизнь русской женщины, отъ которой дышитъ правдою.

Въ рисовкѣ правда скрещивается съ художественностью. Характеръ царицы Анны и Мелентьевой, — эти два контраста, очерчены крупными штрихами: одна раба, подчиняющаяся и только горюющая о своей участи, типъ забитой деспотизмомъ, придавленной окружающею средою женщины, вторая — гордая, честолюбивая, рѣзкая и настойчивая; характеръ исключительный и рѣдкій въ женщинѣ до-петровскаго періода.

Царица Анна, какъ нельзя болѣе, подходитъ къ средствамъ г-жи Струйской 1-й; забитость, покорность, не разсуждающая и пріемлющая даже ядъ потому только, что этотъ ядъ будто бы присланъ ей отъ ея владыки и повелителя, — выражены были этою артисткою просто и искренно.

За то г-жа *Владимирова* совершенно испортила, правда, трудную роль Мелентьевой. Съ самаго начала она взяла

фальшивый, слишкомъ мягкій тонъ; казалось, это была не Мелентьева, испорченная и закоренѣлая, а добренькая бабенка, принявшая на себя личину злодѣя. Вся роль была исполнена ею аффектированно; видимо, она, какъ говорится, *старалась играть*, а слѣдовательно, поневолѣ отступала отъ правды, не выяснивъ всѣхъ сторонъ этого широко задуманнаго и какъ нельзя болѣе сценическаго лица. У г-жи *Владимировой* проявлялись только оттѣнки кокетства, и въ этихъ сценахъ она была недурна.

Я не стану говорить объ историческомъ значеніи пьесы, такъ какъ исторія здѣсь послужила только канвою; взять эпизодъ, какъ основа — и предоставлено обширное поле фантазіи, оттого встрѣчаются нѣкоторыя невѣрности, какъ, напр., появленіе царицы въ грановитой палатѣ во время допросовъ Воротынскаго, что исторически не вѣрно и не могло быть.

Какъ вещь чисто художественная, съ захватомъ широкимъ, рельефно характеризующимъ нравы и обычаи эпохи, „Мелентьева“ является въ русской драматической литературѣ вещь почтенною.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей.“ Статья М. Ф.

*
* *

*) Шесть лѣтъ тому назадъ, въ одинъ изъ зимнихъ вечеровъ, огромная толпа наполняла актовую залу Петербургскаго университета. Всѣ были въ напряженномъ тревожномъ ожиданіи. Знаменитый профессоръ и знаменитый ученый долженъ былъ въ тотъ вечеръ прочесть публичную лекцію, о которой въ публикѣ ходили самые разнообразные толки и догадки. Эта лекція, предназначавшаяся для университетскаго акта, не могла быть на немъ прочтена, какъ говорили, по независящимъ отъ автора обстоятельствамъ. Прежде чѣмъ было получено позволеніе прочесть ее, она прошла черезъ самыя строгія и разнообразныя цензуры, урѣзывавшія изъ нея то, что съ разныхъ точекъ зрѣнія казалось

*) Одесскій Вѣстникъ 1868 г., № 118. („Василиса Мелентьева“). Статья С. И. Сычевскаго.

неудобнымъ. Такъ говорилось въ публикѣ, наполнявшей университетскую залу, и эти слухи способствовали возбужденію лихорадочнаго интереса къ предстоящей лекціи... Вдругъ все мгновенно утихло. На кафедре возшелъ профессоръ. Громъ рукоплесканій, не прерывавшійся нѣсколько минутъ, встрѣтилъ его появленіе на кафедрѣ. Это былъ—Николай Ивановичъ Костомаровъ. Лекція началась. Все замерло. Два часа съ половиною говорилъ Костомаровъ, и публика слушала его, не замѣчая времени, хватая на лету слова, стараясь подмѣтить намеки, что-нибудь недосказанное... Но намековъ и недосказаннаго ничего не было. Слогъ былъ точный, ясный и опредѣленный. Дѣло шло о Константинѣ Аксаковѣ, только что умершемъ, о его историческихъ заслугахъ и литературныхъ трудахъ. Профессоръ говорилъ съ одушевленіемъ: видно было, что онъ уважалъ и любилъ Аксакова не только какъ ученаго. Въ этой лекціи, которая, конечно, памятна по тому бурному энтузіазму, который она возбудила, былъ въ первый разъ сформулированъ точнымъ, костомаровскимъ слогомъ, тотъ взглядъ на Іоанна Грознаго, который имѣли Аксаковъ и люди его партіи и который такъ полно отразился въ „Князь Серебряномъ“. Сообразно этому взгляду, Іоаннъ былъ человѣкъ съ больною фантазіею. Всѣ его тиранства и всѣ недостатки частной жизни должны были проистекать изъ того, что онъ слѣпо и неудержимо подчинялся тому образу, который въ данную минуту самодержавно царилъ надъ нимъ, управлялъ его языкомъ, при произнесеніи смертнаго приговора, и его волей—при тѣхъ безчисленныхъ лицемѣрствахъ, о которыхъ свидѣтельствуетъ исторія. Костомаровъ отнесся сочувственно къ этому взгляду на Іоанна. Я не изучалъ русскую исторію настолько, чтобы смѣть поставить свое сужденіе рядомъ съ сужденіемъ Костомарова и Аксакова,—скажу только, что этотъ взглядъ никогда не удовлетворялъ меня. „Князь Серебряный“, произведеніе замѣчательное, давалъ мнѣ чувствовать при чтеніи непрочность психологической основы при постройкѣ характера Іоанна. Этого чувства у меня рѣшительно не было, когда я читалъ „Василису Мелентьеву.“

Съ первой строки до послѣдней я нигдѣ не почувствовалъ натяжки. Читая и перечитывая эту драму, я чувствовалъ и сознавалъ, что имѣю дѣло съ произведеніемъ очень замѣчательнымъ.

„Очень замѣчательное поэтическое произведеніе“ — это такая рѣдкость въ нашей современной, безвкусной и безцвѣтной литературѣ, что я надѣюсь, что читатели „Одесскаго Вѣстника“ не посѣтуютъ на меня за то, что я на нѣсколько времени останавливаю на немъ ихъ вниманіе.

Микроскопическій божокъ нашего Олимпа, Писаревъ, въ то время, когда онъ писалъ еще очень задорно, высказалъ гдѣ-то мысль, что, по его мнѣнію, писаніе историческихъ драмъ во вкусѣ Шекспира въ настоящее время есть вещь глубокобезплодная, и что онъ не вѣритъ въ возможность сочувствія къ нимъ со стороны образованной публики. Драмы Чаева, Д. Аверкіева, „Мининъ“ и „Воевода“ Островскаго служили ему отличнымъ подтвержденіемъ для такого смѣлаго парадокса. Не возражая противъ самаго парадокса, потому что считаю его бессмысленнымъ для людей серьезно образованныхъ, я укажу на главныя требованія, съ которыми я отношусь къ исторической драмѣ. Она, какъ и всякое поэтическое произведеніе, должна имѣть основную идею. Она должна исторически вѣрно и поэтически живо воспроизводить эпоху и личности. Такимъ образомъ, историческая драма даетъ намъ осмысленную и яркую картину какой-нибудь эпохи, кромѣ того, что даетъ всякое поэтическое произведеніе. Только тотъ, кто отрицаетъ важность и образовательную силу и исторіи и поэзіи, — только тотъ можетъ уничтожать историческую драму.

„Василиса Мелентьева“ при чтеніи живо напоминаетъ историческія драмы Шекспира; но въ то же время всякій живо чувствуетъ, что въ ней чего-то нѣтъ, чтобы поровняться съ нимъ. Въ ней нѣтъ руководящей идеи. Какъ стремленіе къ извѣстной цѣли сливается отдѣльныя дѣйствія въ долгой жизни человѣка въ одно стройное цѣлое; какъ строго-выработанный планъ группируетъ отдѣльныя главы и эпизоды многотомнаго сочиненія въ гармонически стройное единство,

такъ и руководящая идея составляетъ связующій и одушевляющій элементъ поэтического произведенія. Идея, присущая всѣмъ, даже незначительнымъ произведеніямъ Шекспира, бьющая въ глаза даже въ Виндзорскихъ кумушкахъ (*Merry wives of Windsor*), или въ 1-й части Генриха VI, — совершенно незамѣтна въ крупномъ произведеніи Островскаго: „Василиса Мелентьева“. Это очень жаль; — тѣмъ болѣе жаль, что драма полна недюжинныхъ достоинствъ.

Содержаніе ея взято изъ того времени царствованія Іоанна Грознаго, когда онъ, подъ вліяніемъ своей подозрительности, разжигается Малютой-Скуратовымъ, довелъ деспотизмъ и тиранство до крайнихъ предѣловъ возможности. Іоаннъ старъ, подозрителенъ и похотливъ. У него молодая, пятая жена, Анна Васильчикова, воспитывавшаяся прежде въ домѣ князя Воротынскаго, которую Іоаннъ взялъ, отославши свою четвертую жену въ монастырь. Между прислужницами царицы Анны есть одна — здоровая, красивая баба, продувная и безстыдная — Василиса Мелентьева, будущая шестая жена царя Іоанна и героиня драмы Островскаго. Положеніе дѣлъ въ государствѣ очень плохо: „народъ безмолвствуетъ“, говоря словами Пушкина, а бояре раздѣлены на двѣ партіи: одна, крайне малочисленная, съ княземъ Воротынскимъ во главѣ, негодуетъ на упадокъ бояръ, на выскочку Малюту, и старается дѣйствовать черезъ царицу на Іоанна. Другая, составляющая огромное большинство, — слуги Малюты, люди, не останавливавшіеся ни передъ чѣмъ. Тѣхъ благородныхъ качествъ, которыя одушевляютъ героевъ Шекспира, Ричарда II, Генриха IV, Генриха V, — нѣтъ въ боярахъ и слѣда. „Россія“, „Русскій народъ“ — не играютъ въ нихъ никакой роли. Они кичатся своими военными подвигами, высоко ставятъ свое боярское достоинство; но прошу подмѣтить въ ихъ словахъ тотъ широкій благородный патріотизмъ, который долженъ быть во всякомъ сынѣ своего отечества. Вотъ, напримѣръ, слова Воротынскаго Іоанну, наканунѣ казни:

Беликій царь, я наученъ отъ дѣдовъ
Царю служить, а Господу молиться.

Зачѣмъ искать мнѣ помощи бѣсовской,
Коль я Господней милостью богатъ.
Единому ему я поклонялся,
Единый Онъ давалъ мнѣ одолѣнье
И крѣпость мышцъ, когда я съ силой ратной
Гонялъ татаръ поганныхъ за Оку,
Спасалъ Москву, спасалъ тебя отъ страха!...

Вотъ какъ защищаетъ бояринъ Морозовъ кн. Воротынскаго.

Великій царь, мы всѣ твои рабы,
Ты нашъ отецъ; не прикажи казнить,
Вели мнѣ слово молвить...
Великій царь, бояре—честь державы,
Твой славный дѣдъ ихъ кровью дорожилъ,
Онъ вѣрилъ намъ, онъ зналъ, что мы годимся
На что-нибудь получше плахи. Нуженъ
Оплоть землѣ, готовы наши брони
И головы. Великій царь, повѣрь,
Что головы бояръ нужнѣе въ думѣ
И на войнѣ, чѣмъ на шестѣ желѣзномъ
Въ рукахъ у палача. Мы не боимся
И умереть, да только честной смертью,
Не отъ царя, а за царя. И нынѣ,
Молю тебя, побереги бояръ,
Не изгубляй стратиговъ, Богомъ данныхъ,
И лучшаго межъ ними не казни.

Ну что же вы хотите, спросить изумленный читатель.
Отчего вамъ не нравятся эти слова?

Вы знаете, господа, что между историческими драмами Шекспира есть одна, называемая „Генрихъ VIII“. Содержаніе этой драмы составляетъ паденіе Екатерины Аррагонской и возвышеніе Анны Болейнъ. Драма эта представляетъ въ цѣломъ и въ подробностяхъ такъ много точекъ сближенія съ „Василисой Мелентьевой“, что я нѣсколько разъ буду прибѣгать къ сравненію ихъ обѣихъ. Такъ и теперь. Когда я перечитывалъ приведенныя слова Воротынскаго и Морозова, передо мною живо встала фигура герцога Букингама изъ „Генриха VIII“. Онъ поставленъ у Шекспира въ такое же положеніе, какъ Воротынскій у Островскаго; какъ тотъ оскорбилъ выскочку Малюту, такъ другой возбудилъ нена-

висть всемогущаго временщика, кардинала Вольси (Wolsey), и оба временщика выбрали одинаковое средство: подкупъ слугъ для обвиненія господъ. Прочтите прощальныя слова Букингама и рядомъ съ ними приведенныя слова Воротынскаго. Какая громадная разница! Одинъ—христіански примирившись съ мыслию о смерти, забывши о своемъ достоинствѣ герцога и констабля Англіи, находитъ въ глубинѣ своей души настолько христіанскаго самоотверженія, чтобы молиться за своихъ враговъ, простивши ихъ отъ души. Всѣ земныя атрибуты и отношенія имъ забыты и оставлены, и изъ-подъ ихъ мишуры ярко выступаетъ его человѣческая личность... Прочтите эту сцену (2 актъ 1 сц.), и вы убѣдитесь, какою ничтожностью является Воротынскій, бояринъ до самой той секунды, когда духъ вышелъ у него изъ тѣла, и до той же секунды погруженный въ грязный омутъ житейски-чиновныхъ отношеній.

Но это—между прочимъ; а теперь пора возвратиться къ ходу драмы. Воротынскій своею боярскою надменностью оскорбилъ Малюту. Малюта подкупилъ слугу Воротынскаго донести на своего господина, какъ на преступника и чернокнижника. Воротынскій не захотѣлъ оправдываться (да это было бы и бесполезно), и потому его царь присудилъ казнить. Хотите знать, что такое казнь во времена Іоанна?

Тебя ведутъ на площадь,
На сковородахъ поджарять, послѣ въ пузо
Гвоздей набьютъ,

говорить шутливо шутъ. А вотъ какъ, не менѣе шутливо, разсуждаетъ царь съ Малютою о восьмидесятилѣтней старухѣ, нянѣ царицы:

Малюта. Да старая колдунья
Со страху что-ли, вовсе онѣмѣла;
Я попыталъ ее, кажись, легонько:
На дыбу вздѣлъ, да раза два ударилъ,—
Она сквозь губы что-то бормотала,
И околѣла, не сказавъ ни слова.

Царь. Ни слова не сказала! Ужъ и ты
Пытаешь такъ, что старой не подь силу;
Въ старухѣ еле держится душа,
А онъ ее на дыбу! Ты-бъ поджарилъ
Легонечко, такъ все-бы рассказала.

За Воротынскаго рѣшилась просить царица. Повинуясь влеченію своего женскаго инстинкта, она явилась въ тронную залу въ сопровожденіи своихъ дѣвушекъ, и въ ихъ числѣ Василисы Мелентьевой. Царь грубо принялъ свою жену, отказалъ ей въ просьбѣ, но обратилъ вниманіе на здоровую и румяную дѣвку, ее сопровождавшую. Царица уходитъ въ глубокомъ горѣ. Казнь Воротынскаго рѣшена. Царь сходитъ съ трона, беретъ за руку Малюту, отводитъ въ сторону и говоритъ въ полголоса:

Красивая та баба, кто такая
Въ царицыной прислугѣ?

Малюта. Василиса Мелентьева, вдова. Она недавно
Къ царицѣ вверхъ взята, а прежде съ мужемъ
Жила въ Москвѣ. Какъ померъ мужъ у ней,
Такъ и взяла къ себѣ ее царица.

Царь. Ну счастливъ онъ, что умеръ. Догадался!
Красавица, не то что Анна плакса:
Отъ слезъ ея я сталъ скучать, Малюта.
Затѣмъ онъ медленно, въ раздумьи уходитъ.

Съ этого момента Василиса Мелентьева дѣлается дѣйствительною героинею пьесы. Царь, зайдя, какъ-бы случайно, въ покои своей жены въ то время, когда тамъ была одна Василиса, объясняется съ ней въ любви. Объясненіе кончается тѣмъ, что Василиса „цѣлуетъ его съ жаромъ, но, какъ-бы испугавшись, вырывается и закрываетъ лицо“.

Василиса. Меня во грѣхъ ты ввелъ. Не спохватилась! Вотъ грѣхъ какой. (Толкаетъ царя въ плечо). Поди, поди къ царицѣ.

(Царь съ удивленіемъ смотритъ на нее; она продолжаетъ его толкать).

Поди, поди! Она жена твоя,
Она красивѣй, лучше насъ, наряднѣй,
Поди, поди!...

Царь. Съ тобой мнѣ веселѣе,
Ты смѣлая.

Василиса. Какая уродилась,
Ужъ не взыщи. Великій государь,
Ты грамотникъ. Мнѣ имя—Василиса,
А что такое Василиса—знаешь?

Царь. Царица.

Василиса. Да? Ишь какъ меня назвали!
Какая я царица? Я—раба.
Да что я, дура, такъ разговорила,
Поди къ женѣ!

Царь. Я не пойду къ царицѣ.
А ты сама царицей хочешь быть?

Эта сцена рѣшаетъ все. Царица Анна давно чувствуетъ, что любовь мужа для нея потеряна. Молодая мечтательница, идеалистка, она хотѣла бы любви во вкусѣ Шиллера; она тоскуетъ въ царскихъ покояхъ, среди великолѣпія, о томъ счастьѣ съ милымъ сердца, которое было-бы для нея возможно, если-бы она не сдѣлалась царицей. Эти невинныя мечты подстерегаютъ, перетолковываютъ, и царица попадаетъ въ немилость, и получаетъ разводъ послѣ унижительной сцены, въ которой ее обвиняютъ въ невѣрности мужу. Но торжество Василисы не полно: она не хочетъ быть наложницей, а домогается престола; ей нужно устранить царицу совершенно. Какъ орудіе своего замысла, она выбираетъ своего любовника, Андрея Колычева, прежняго товарища игръ царицы въ домѣ Воротынскаго. Андрей, страстно влюбленный въ Василису, рѣшается въ припадкѣ чувственности, которую Василиса умѣла разжечь, на преступленіе. Въ превосходныхъ словахъ онъ мотивируетъ чисто по-русски свое рѣшеніе:

Тебѣ, для-ради женской
Красы твоей, души не пожалѣю!
Но ты смотри! Въ послѣдній это разъ
Я твой слуга...
Запомни ты: свершивши это дѣло
Грѣховное, я буду господиномъ,
А ты моей рабой. Заставлю я
Не ласкою, а грознымъ словомъ, тѣшить

Любовь мою и норовъ молодецкій.

Женой возьму къ себѣ въ свой домъ.

Василиса. Согласна.

Колычевъ. И будешь ты любить меня, и холить,

И пуще грома божьяго бояться (Беретъ ее за руку).

Василиса. Ой больно, больно!

Колычевъ. Ну, ужъ не взыщи!

А ты спроси, легко-ли мнѣ. Прощай.

Царицу рѣшено отравить. Въ самый моментъ совершенія преступленія, поднося отравленный кубокъ несчастной женщинѣ, Колычевъ не выдержалъ. Когда печальная царица, смотря ему въ глаза своими кроткими, ласковыми глазами, напомнила ему нѣсколькими словами прошлое, счастливое житіе въ домѣ Воротынскаго, и потомъ, полная тяжелаго предчувствія, полу-шутя спросила его: „мнѣ кажется, что въ этотъ кубокъ зелье положено“?—Колычевъ отвѣчаетъ: „положено, царица! Не пей его“. Но царица понимаетъ, что умереть ей все-таки придется. Въ припадкѣ рѣшимости, свойственной иногда такимъ слабымъ существамъ, она подноситъ отравленное вино къ своимъ губамъ и опоражниваетъ смертельный кубокъ до дна.

Василиса достигла своей цѣли. Она—царица. Эта безстыжая баба, отравительница—самовластно распоряжается Іоанномъ, заставляетъ его укрывать свои ноги его царской мантией, идетъ на встрѣчу его гнѣву, даетъ ему шутливо презрительныя прозвища. Она говоритъ ему, что она „не больно дура, не глупѣй его“, потомъ обращается къ нему со словами: „эхъ, старенькій, пойдѣ ко мнѣ, присядь“! Это самородное кокетство русской бабы имѣетъ свою привлекательную сторону для сластолюбиваго старика: грозный царь подчиняется безусловно капризамъ безстыжей бабы, и оба счастливы.

Но счастье это непрочно. Василису начинаютъ беспокоить видѣнія. Она, какъ леди Макбетъ, бродитъ по ночамъ и не можетъ уйти отъ призрака убитой царицы. Впрочемъ, трагизмъ этихъ сценъ очень слабъ, и оттого я прохожу ихъ вскользь. Дѣло кончается быстро и неожиданно. Іоаннъ Грозный, подслушавши, какъ мужъ въ „Паризинѣ“ Байрона,

ночной бредъ своей жены, будить ее и хочетъ судить; но въ спальнѣ вдругъ появляется именно тотъ, о комъ Василиса бредила: Андрюша Колычевъ. Онъ предупреждаетъ намѣренія Іоанна, вонзая ножъ въ грудь своей бывшей любовницы, обманувшей его. Іоаннъ равнодушно шутливо относится къ поступку Колычева, сначала его похваливаетъ, потомъ вдругъ, совершенно неожиданно, оканчиваетъ пьесу слѣдующими словами:

Возьми, Малюта,
И прибери Андрюшу Колычева
Отъ нашихъ глазъ куда нибудь подальше...
Хоть въ тотъ-же гробъ, гдѣ Василиса будетъ!

Этою кровавою острою оканчивается „Василиса Мелентьева.“

*) Я старался въ передачѣ содержанія оттъннить наиболѣе выдающіяся мѣста драмы, и думаю, что въ цѣломъ далъ о ней вѣрное понятіе. Переходя къ болѣе подробному разбору, для того чтобы оттъннить и второстепенныя частности драмы, я намѣренъ приложить способъ сравненія. Я уже сказалъ, что „Генрихъ VІІІ“ Шекспира представляетъ необыкновенно много пунктовъ сходства съ „Василисою Мелентьевою“. Я почти увѣренъ, что Островскій писалъ подъ нѣкоторымъ вліяніемъ этой замѣчательной драмы великаго англійскаго поэта. Во-первыхъ, и „Генрихъ VІІІ“ и „Василиса Мелентьева“ написаны двумя авторами: однимъ знаменитымъ, другимъ—совершенно неизвѣстнымъ. Г—въ извѣстенъ литературному міру едва-ли не менѣе безымяннаго сотрудника Шекспира въ „Генрихѣ VІІІ“. Если даже допустить, какъ говорятъ одни, что сотрудникъ былъ Флетчеръ или Бенъ-Джонсонъ, какъ говорятъ другіе, то и тогда параллель останется вѣрною. Въ обѣихъ пьесахъ конецъ значительно слабѣе всего предшествовавшаго. Въ обѣихъ изображается почти одно время и почти одинакій историческій фактъ. Симпатіи Шекспира и Островскаго—лежатъ на одной сторонѣ. Характеры героевъ и героинь

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1868 г., № 120. (Продолженіе статьи С. И. Сычевскаго).

обѣихъ пьесъ настолько схожи, насколько могли быть схожи русскіе XVI столѣтія съ англичанами; но, во всякомъ случаѣ, они принадлежатъ къ одному типу. Главнѣйшіе моменты пьесъ — одни и тѣ же. Взгляните на параллель между лицами:

Развѣ Генрихъ VIII — старый, деспотическій, похотливый, цѣлующій неизвѣстную никому легкую красавицу Анну Болейнъ, послѣ лорда Сандса, — не похожъ на Іоанна, любезничающаго съ Василисой, послѣ Колычева?

Развѣ кардиналъ Вольси, наглый, самовластный, сводящій для своихъ видовъ Генриха и Анну и губящій Екатерину Аррагонскую и благороднаго Букингама, Вольси — такъ ѣдко осмѣянный и такъ живо представленный Джономъ Скейлтономъ — развѣ онъ не похожъ на Малюту-Скуратова, сводящаго Іоанна съ Василисой, губящаго Анну и Воротынскаго, и осмѣяннаго во множествѣ народныхъ пѣсень? О Букингамѣ и Воротынскомъ я уже говорилъ. Анна — кроткая, сострадательная мечтательница и страдальца, — развѣ она не похожа на Екатерину Аррагонскую. Анна Болейнъ развѣ не Василиса Мелентьева?

Такимъ образомъ, всѣ главные лица „Генриха VIII“ — рѣшительно параллельны главнымъ лицамъ „Василисы“. Это сходство можетъ быть случайное; но что я не дѣлаю натяжки, въ этомъ приглашаю убѣдиться всякаго, прочитавшаго обѣ указанныя мною драмы. Но при всемъ этомъ сходствѣ, драма Островскаго полна оригинальности. Чисто русскія черты разбросаны во множествѣ повсюду. Анна Болейнъ и Василиса Мелентьева — обѣ очень предприимчивыя и очень безстыжія кокетки, но кокетство ихъ совершенно различно. Я привелъ неподражаемую сцену перваго свиданія Василисы съ Іоанномъ. Если въ нее вглядѣться внимательно, то невозможно не замѣтить, что она написана первокласснымъ талантомъ. Еще замѣчательнѣе подобная-же сцена, о которой я упомянулъ только вскользь, — сцена, когда Іоаннъ покрываетъ своей царской мантией ноги Василисы (Дѣйств. V, явл. IV). Отъ этихъ сценъ, да и вообще отъ всѣхъ сценъ, гдѣ принимаетъ участіе Василиса, „пахнетъ

русскимъ духомъ“. Вы такъ и видите толстую, краснощекую русскую бабу, заигрывающую съ вами, толкая васъ локтемъ и потомъ закрываясь рукавомъ и краснѣя; бабу съ русскими ужимками, съ русскимъ „ндравомъ“ и капризами, съ русской рѣчью—по московскому протяжному нарѣчію. Черты леди Макбетъ: рѣшимость отравить царицу Анну и страданіе отъ привидѣній — какъ-то нейдутъ къ безстыжей Василисѣ. Если бы ее давилъ по ночамъ домовой, и она-бы просыпалась, пыхтя, отдуваясь и крестясь, то это было-бы естественно. Если бы она рѣшилась на преступленіе по чисто плотскому влеченію, да потомъ какъ-бы одурѣла отъ него: полубезсмысленно относилась-бы ко всему окружающему, тупо смотрѣла-бы на людей и перестала-бы молиться Богу, по убѣжденію, что такого грѣха и замолить нельзя,—то это было-бы тоже естественно, но, воля ваша, господа, а страданія леди Макбетъ совсѣмъ не къ лицу любовницѣ Андрюши Колычева, безстыжей Василисѣ. За всѣмъ тѣмъ однакоже, Василиса остается живымъ русскимъ типомъ, нарисованнымъ гораздо искуснѣе, чѣмъ Катерина (въ „Грозѣ“).

Такая же оригинальность, какъ въ Василисѣ, видна и во многихъ другихъ типахъ: въ Колычевѣ, въ царицѣ Аннѣ и т. п.; но самые выдающіеся изъ второстепенныхъ типовъ, это — Іоаннъ, бояре и шутъ.

Относительно изображенія Іоанна поэтъ былъ поставленъ въ очень скользкое положеніе тѣмъ взглядомъ, на который я указывалъ въ началѣ статьи. Взглядъ этотъ имѣлъ за себя очень много авторитетнаго, и въ глазахъ многихъ скрывалъ истинный характеръ Іоанна, облакая тирана какимъ-то поэтическимъ ореоломъ. Островскій не побоялся его рѣшительно депоэтизировать: самыя грязныя побужденія стоятъ на голо въ характерѣ Іоанна — сластолюбіе, лицемеріе и звѣрство. Вотъ три черты, которыя прямо бросаются въ глаза всякому, кто захочетъ анализировать этотъ характеръ. Поэтъ не далъ даже своему герою того гибкаго, дальновиднаго ума, который есть у Ричарда III; онъ не далъ ему даже того политическаго макиавелизма, который

дѣлаетъ изъ Шекспировскаго короля Джона нѣчто похожее, хоть съ виду, на порядочнаго человѣка и короля. Іоаннъ стоитъ безъ всѣхъ этихъ прикрасъ въ обществѣ Малюты Скуратова, предъ трупами Воротынскаго и царевны Анны, обнявши безстыжую дѣвку Василису.

Іоаннъ — не типъ. Поэтъ не сумѣлъ или не хотѣлъ найти общечеловѣческое въ этой личности и выставить особенно ярко это общечеловѣческое. Въ такомъ случаѣ онъ былъ-бы типомъ. Теперь—это собраніе личныхъ чертъ въ одинъ, очень нестройный, непривлекательный образъ. Несмотря на все это, Іоаннъ Островскаго имѣетъ гораздо болѣе достоинствъ, чѣмъ всѣ Іоанны, изображенные до него, начиная съ карамзинскаго. Дѣло въ томъ, что есть на свѣтѣ нѣчто, стѣсняющее нравственную свободу, свободу совѣсти и мысли, есть нѣчто женирующее самыя высшія, самыя тонкія отправленія ума; нѣчто, подчиняющее даже неуловимое воображеніе—контролю, арестующее и заковывающее въ цѣпи самый идеалъ. Этого „нѣчто“ не могъ избѣжать Карамзинъ; его не хотѣли избѣжать славянофилы, и его совершенно избѣжалъ Островскій. Повторяю: Іоаннъ Островскаго необыкновенно важенъ своей отрицательной стороной.

Рядомъ съ Іоанномъ стоятъ бояре. Я старался выяснить, насколько умѣлъ, чѣмъ этотъ народъ мнѣ антипатиченъ. Тупая надменность, кичливое хвастанье своими заслугами и презрительное отношеніе къ тѣмъ, кто ниже ихъ — это характеристическія черты русскаго боярина, времени Іоанна. Если добавить къ этому общую необразованность, склонность попить и покутить и необыкновенную нравственную эластичность, то, кажется, мы исчерпаемъ всѣ намѣченныя Островскимъ черты бояръ. Воротынскій и Морозовъ составляютъ почти единственные исключенія; да и тѣхъ совѣтую прежде разглядѣть, чѣмъ ими безусловно восторгаться.

А гдѣ же народъ? спросить читатель. Гдѣ же эти десятки милліоновъ, для которыхъ и по милости которыхъ разыгрывается вся эта драма? Весь народъ — это няня и шутъ.

Няня говоритъ нѣсколько словъ. Это — вѣчный русскій типъ старушки безгранично преданной своей питомицѣ. Это — бѣдная, необразованная, загнанная личность, не имѣющая нравственныхъ правилъ, не имѣющая ничего, кромѣ одного чистаго, святаго чувства безконечной любви къ Аннѣ, независимой отъ ея царскаго достоинства. Эта бѣдная старушка появляется для того только, чтобъ умереть на дыбѣ, о чемъ вы уже читали въ шутливомъ разговорѣ Малюты съ Іоанномъ.

Другой представитель народа — шутъ. Это отнюдь не сколокъ съ Шекспировскихъ шутовъ. Извѣстно, хотя этого и нѣтъ въ драмѣ Шекспира, что у Генриха VIII былъ шутомъ одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей своего времени, Джонъ Гейвудъ, которому приписываютъ до 200 интермедій. Кому угодно познакомиться съ этою личностью, поэтически воспроизведенною, тотъ можетъ прочитать романъ Мюльбаха „Генрихъ VIII и его дворъ“.

Совсѣмъ другое шутъ — Іоанна. Это человѣкъ, не имѣющій настроенія духа, обязанный всегда дурачиться, не имѣющій высшихъ побужденій, старающійся объ одномъ, чтобы самому продержаться на томъ жалкомъ мѣстѣ, которое онъ занимаетъ. Когда онъ спокоенъ, онъ задоритъ и пугаетъ другихъ; когда Іоаннъ сердитъ, онъ или стушевывается или безобразно и унижительно дурачится по приказу. О тѣхъ стремленіяхъ шутовъ — навести заблуждающагося повелителя шуткою на путь истины, защитить правду, обличить ложь и зло, — о той вѣрности и безкорыстїи, о той симпатїи къ бѣдному народу, которую мы постоянно видимъ въ Шекспировскихъ шутахъ, въ шутѣ Іоанна нѣтъ и помину.

Попробуемъ сравнить поближе. Самая характеристичная черта въ шутѣ — это его шутовская пѣсня, англійскій джигъ (jig). Беру на удачу одинъ изъ Шекспировскихъ джиговъ и пѣсню Іоаннова шута.

Вотъ какую пѣсню поетъ шутъ влюбленному и унылому герцогу, въ одномъ изъ самыхъ незначительныхъ шекспи-

ровскихъ фарсовъ („Что вамъ угодно, или двѣнадцатая ночь“ . Twelfth night, or what you will).

„Прійди, прійди смерть! Пусть меня положить подъ печальнымъ кипарисомъ. Улетай, улетай душа; меня убила жестокая красавица. Мой бѣлый саванъ, украшенный тисомъ... о, готовьте его! На сценѣ смерти никто не сыграетъ своей роли естественнѣе меня.

„Пусть ни одинъ, ни одинъ благоуханный цвѣтокъ не будетъ брошенъ на мою черную гробницу; пусть ни одинъ, ни одинъ другъ не поклонится моему бѣдному тѣлу тамъ, гдѣ будутъ брошены мои кости. О, чтобы избавить меня отъ тысячи, отъ тысячи рыданій, положите меня гдѣ нибудь въ такомъ мѣстѣ, гдѣ-бы печальный любовникъ не могъ найти моей гробницы, чтобы тамъ плакать“.

Я не имѣю подъ руками „Шекспира въ переводѣ русскихъ писателей“, гдѣ этотъ джигъ, вѣроятно, переведенъ стихами. Мой прозаическій переводъ не можетъ дать даже понятія о той гармонической прелести стиха, которая поражаетъ въ подлинникѣ. (What you will.—Act. II, sc. IV).

Сравните теперь пѣсню шута, которую онъ поетъ Іоанну почти при тѣхъ же условіяхъ, какъ и Шекспировскій: Іоаннъ влюбленъ и печаленъ; онъ спрашиваетъ шута. Тотъ является и поетъ:

Кабы бабѣ молока, молока,
Была-бъ баба молода, молода!
Кабы бабѣ киселя, киселя,
Была-бъ баба весела, весела!
Кабы бабѣ сапоги, сапоги,
Пошла-бъ баба въ три ноги, въ три ноги!

Послѣ этой пѣсни шутъ уходитъ, а Іоаннъ остается доволенъ.

И такъ вотъ какимъ является народъ въ драмѣ Островскаго. Во всемъ прочемъ „народъ безмолвствуетъ.

Резюмируя все, сказанное выше, придется повторить мои прежнія слова: драма Островскаго — явленіе замѣчательное; она воспроизводитъ нѣсколько историческихъ личностей, а главное духъ и характеръ эпохи. Но что именно хотѣлъ ею сказать авторъ, отчего онъ выбралъ этотъ, а

не какой либо другой предметъ, какую мысль, какой урокъ для насъ нашелъ онъ въ скандальномъ эпизодѣ о Василисѣ Мелентьевой, — это все остается для меня тайною. Пьеса прекрасная; жаль, что въ ней нѣтъ руководящей идеи.

С. И. Сычевскій.

* * *

*) 10 января шла въ первый разъ новая драма Островскаго „Василиса Мелентьева“. Въ два первыхъ представленія билетовъ не было уже наканунѣ. Судя по множеству неудовлетворенныхъ требованій и по тому, что третье представленіе назначено для *второго* бенефиса (первое тоже шло въ бенефисъ), надо полагать, что театру не скоро суждено опустѣть въ „Василисѣ Мелентьевой“. Кажется, интересъ публики, неизмѣнный къ произведеніямъ ея любимаго драматурга, на этотъ разъ еще увеличился отъ ходившихъ заранѣе слуховъ объ этомъ будто-бы лучшемъ изъ его историческихъ трудовъ. Прибавленные къ имени автора таинственныя *** сотрудника, ничего не убавили въ глазахъ публики.

По двумъ представленіямъ, нами видѣннымъ, мы не возьмемся рѣшить: точно ли „Василиса Мелентьева“ *лучшее* изъ историческихъ сочиненій автора „Свои люди-сочтемся“ и „Грозы“. Мы вообще болѣе расположены къ его *неисторическимъ*, бытовымъ драмамъ; но, кажется, можно сказать безошибочно, что *для сцены* — это лучшая изъ историческихъ его драмъ. Притомъ она уже дѣйствительно драма, а не хроника: развитію страстей души человѣческой уступлено въ ней главное мѣсто, а исторія служитъ болѣе средствомъ, нежели цѣлью. На грозномъ фонѣ двора Ивана Васильевича написана картина борьбы женщины, замыслившей какими бы ни было путями стать на первомъ планѣ и затмить остальныхъ лица. Картина выходитъ цѣльная — мрачная съ начала до конца: отъ подавленнаго ропота бояръ, мигомъ заглушаемаго пыткой и плахой, отъ ихъ пресмыканія у

*) „Отечественныя Записки“ 1868 г. № I, т. 176. („Василиса Мелентьева“).

двери лютаго временщика Малюты и у ногъ царя — отъ доносовъ и измѣнъ—отъ слезъ униженной пятой жены, на-доѣвшей пресыщенному развратнику, наконецъ, отъ темныхъ затѣй красивой и молодой вдовы изъ царицынаго терема, которая видитъ средство для достиженія своей честолюбивой цѣли во всемъ—и въ любви слѣпо-преданнаго ей молодого дворянина Андрея Колычева, и въ искреннемъ порывѣ наболѣвшаго сердца царицы, неосторожно открывшагося ей—своему злѣйшему изъ недруговъ... Канва драмы очень удачно заткана, только намъ показалась нѣкоторая снѣшность отдѣлки: мѣстами хотѣлось-бы непремѣнно развитія. Многое вѣрно и бойко намѣчено, но недорисовано; отъ этого инныя дѣйствія какъ-бы рождаются безъ видимой причины, и приходится вѣрить авторамъ на слово.

При поднятіи занавѣса, мы находимъ бояръ и князей, собравшихся на царскомъ дворѣ (прекрасная новая декорация г. Шишкова), и толкующихъ, какъ водится, кто о своихъ правахъ сѣсть выше Годунова въ предстоящемъ засѣданіи думы, кто о неудобствахъ новыхъ порядковъ, или сѣтующихъ о старомъ утраченномъ значеніи, и о вліяніи новыхъ людей—молодого Шуйскаго и крещенаго татарина-Годунова, о свирѣпости Малюты-Скуратова, въ то время героя дня. Глава оппозиціи, старый и доблестный на полѣ битвы князь Михайло Воротынскій, смѣлѣе всѣхъ въ порицаніяхъ; онъ не внемлетъ увѣщаніямъ друзей, видимо рискуетъ головою, и хотя его изображаетъ г. Бурдинъ, но не выходитъ при этомъ изъ предѣловъ умѣренности, и одинъ изъ всѣхъ знаетъ твердо свою роль. Читаетъ онъ ее очень хорошо и заставляетъ сожалѣть, что гг. Пронскій и Маржецкій, несмотря на свою молодость и положеніе „новыхъ людей“ не отнеслись съ тѣмъ же уваженіемъ къ немногимъ стихамъ, выпавшимъ на долю Годунова и Шуйскаго... Старикъ Воротынскій говоритъ въ средѣ своихъ, и, казалось бы, опасаться ему нечего, правда шутъ Малюты-Скуратова подкрался въ ту самую минуту, когда тотъ не хвалилъ его патрона, но, вѣдь, онъ шутъ, а притянуть человека къ отвѣту — дѣло серьезное. Тѣмъ не менѣе, рыжій

и сутуловатый Малюта, косясь на Воротынского, скоро проходитъ по сценѣ въ палаты царя, и присутствующіе уже чуютъ въ его косомъ взглядѣ близкую гибель старѣйшаго и самаго уважаемаго изъ земскихъ людей. Дѣйстви-тельно, немного погодя, та же свирѣпая фигура показывается опять и объявляетъ Воротынскому, что онъ, по приказу царскому, долженъ быть взятъ и судимъ—за измѣну, ворожбу и прочее, за чтò обыкновеннымъ исходомъ того времени была плаха. Старика судятъ—въ присутствіи царя. Царь Иванъ на этотъ разъ представляется г. Самойловымъ. Нѣсколько продолжительная рѣчь Грознаго съ трона оживилась вдругъ мастерски-разыгранною г. Горбуновымъ сценою оговора Воротынского — гаденькимъ, сермяжнымъ мужичонкою—его слугою. Особенно мѣтокъ показался затѣмъ стихъ царя, бросаемый боярамъ, которые было глухо зашумѣли по этому поводу, но отъ единого вскрика царскаго униженно „положили свои головы“:

• „Я головы вамъ жалую обратно.“

Приговоръ Воротынского готовъ, и тщетно бояринъ Морозовъ, а за нимъ и опостылая царица Анна кидаются къ его ногамъ, моля пощады: перваго онъ отдаетъ въ руки того же Малюты, вторую — оскорбляетъ бранью, а самъ заглядывается своимъ ястребинымъ окомъ на новое, красивое лицо женщины въ царицыной свитѣ, и пожираетъ его сластолюбивыми взорами. Та не пропускаетъ этихъ взглядовъ, и тоже смотритъ ему прямо въ глаза прекрасными и смѣлыми глазами... Начало драмѣ положено. Царь освѣдомляется, и узнаетъ, что это вдова Василиса Мелентьевна:

Съ этой минуты властолюбивая женщина, претерпѣвшая и униженія и стыдъ, лишь бы пробраться въ палаты царицы, затѣваетъ большую игру—опростать для самой себя эти палаты и повѣнчаться царицею. Съ ловкостью, энергіей и красотою, ей нетрудно этого достигнуть, особенно имѣя въ своемъ распоряженіи страстную и самоотверженную любовь молодого Андрея Колычева, одного изъ самыхъ приближенныхъ людей всемогущаго „государева пса“, какъ

называетъ себя Малюта-Скуратовъ. Вліяніемъ этой женщины, онъ уже успѣлъ обнаружить свою способность дѣлаться орудіемъ доноса — въ дѣлѣ стараго Воротынскаго, которому былъ когда-то преданный слугою. Задумано — сдѣлано: Мелентьева уже ищетъ сама встрѣчи съ царемъ, находитъ его въ царевинѣ саду (опять очень хорошая, новая декорація г. Бочарова, съ подсолнечниками, маками и всею чисто-русскою обстановкою сада), и тутъ, въ первый же разговоръ съ нимъ — а разговоръ такого человѣка извѣстно чего могъ касаться — уже цѣлуетъ его, и тутъ же будто-бы пугается своей опрометчивости. Она отважно предприимчива и безцеремонна, и это нравится, какъ новинка, пресыщенному раболѣпіемъ и общимъ страхомъ Ивану. Онъ развертывается и уже начинаетъ съ нею заигрывать, но она безцеремонно отсылаетъ его къ женѣ. Это окончательно разжигаетъ старика, и бремя брака должно быть имъ свергнуто во что бы то ни стало. Малюта подспѣваетъ на помощь. Злая вдова повѣряетъ ему тайну дѣвичьей любви царицы — и той остается погибнуть; совершить и эту гибель Мелентьева опять возлагаетъ на Колычева. Слабый юноша, когда-то носившій въ сердцѣ любовь и къ этой дѣвушкѣ (сердце у него помѣстительное), послѣ долгихъ колебаній, рѣшается и обвиняетъ невинную. Царь объявляетъ, что съ царицей разводится; празднуетъ свое холостяжество „съ скоморохами и пьяницами“, и даетъ понять Мелентьевой, что женится на ней. Но нетерпѣливая, и на этотъ разъ уже черезчуръ, Мелентьева, прождавши дольше, не хочетъ обождать еще немножко, и, сама того не подозрѣвая, изъ просто предприимчивой русской бабы дѣлается преступною леди Макбетъ: она облачается въ лучшіе наряды, обходитъ окончательно Андрея Колычева и обѣщаетъ ему вѣрную награду за послѣднюю услугу.

— Какую? спрашиваетъ тотъ.

— Отрави царицу!

Юноша отскакиваетъ отъ нея въ ужасѣ; умоляетъ перестать... отказывается, — и, конечно, соглашается; но су-

литъ ей на всякій случай кровавую месть, если она его обманетъ. Бѣдная царица отравлена зельемъ въ кубокъ меда, который именемъ царя приносить съ его пира Колычевъ. Отрава приготовлена придворнымъ лѣкаремъ Бомеліемъ, и всыпана тутъ-же, на сценѣ, Мелентьевой, а кубокъ поднесенъ самимъ Андреемъ. Бѣдная царица рада, что царь о ней подумалъ, и хотя, опомнясь, начинаетъ подозрѣвать недоброе, но кубокъ выпиваетъ — все равно: смерть или вѣчное заточеніе! Покорность, съ которою она принимаетъ угаданную смерть—очень трогательна. Съ такимъ же спокойнымъ величіемъ шелъ на казнь и князь Воротынскій: это равнодушіе къ жизни—черта коренная русская, и она до сихъ поръ свойственна нашему народу.

Въ послѣднемъ актѣ Мелентьева, уже не Мелентьева, но царица и притомъ полновластная госпожа стараго и неукротимаго Ивана. Она не перечитъ ему въ его кровавыхъ рѣшеніяхъ, но не даетъ перечитъ и себѣ въ женскихъ прихотяхъ. Оставалось бы, кажется, только наслаждаться; но быть леди Макбетъ даромъ нельзя; и вотъ ее, какъ ту, преслѣдуетъ призракъ убитой, не даетъ сна и въ ея царской постели, стоитъ передъ нею съ заплаканными глазами, гонитъ изъ комнаты въ комнату, какъ осужденную... Лѣкаръ объясняетъ это лунатизмомъ, и предлагаетъ ей лѣкарства, но она говоритъ, что знаетъ, какія онъ зелья умѣетъ варить. Царь ухаживаетъ за нею, какъ влюбленный юноша, или вѣрнѣе, какъ изношенный старикъ. Она хочетъ спать, но боится идти въ опочивальню—онъ остается съ нею на всю ночь; ея ногамъ холодно—онъ снимаетъ съ себя кафтанъ и укрываетъ ихъ... а самъ садится смотрѣть за нею. Но вотъ она уже спитъ: какъ хороша! Старикъ не налюбуется ея молодымъ тѣломъ, не нацѣлуется ея алыхъ устъ, не надышится ея жаркимъ дыханіемъ... вотъ эти уста шевелятся: какая непорочность въ тихомъ ихъ движеніи! находитъ царь—они произносятъ слова... чье-то имя: „голубчикъ мой! милый мой! Андрюша! Обойми меня!“ Какъ ударенный пулею вепрь, подскакиваетъ Иванъ и страшнымъ голосомъ кличетъ Малюту; сдергиваетъ свою царскую оде-

жду съ презрѣнныхъ ногъ и повергаетъ на полъ притворщицу. Съ Малютой входитъ и Андрей, исхудалый, мучимый совѣстью. Онъ кинжаломъ поражаетъ свою злодѣйку: месть свершена. А разгнѣванный шестою женою царь хоть и говоритъ за это ему спасибо, но приказываетъ Малютѣ убрать такого кудряваго да красиваго парня подальше отъ двора...

Роль Андрея Колычева досталась на долю, дѣйствительно, красивому г. Степанову, который, вдобавокъ, выговаривалъ свои монологи особенно громко и внятно, за что и удостоивался исключительнаго одобренія публики. Не менѣе красива была и г-жа Владимирова въ роли красавицы Василисы Мелентьевой: русскій нарядъ съ фатой очень шелъ къ ней, и прекрасные глаза и ростъ дѣлали остальное. Играла она старательно, но для такой роли нужно болѣе—нуженъ талантъ. Задуманъ и выполненъ этотъ характеръ авторами очень счастливо: при всей непривлекательности побужденій и поступковъ, онъ не возбуждаетъ антипатіи. Сверхъ того, въ немъ всѣ данныя для такого исполненія на сценѣ, чтобы актрисѣ съ дарованіемъ сдѣлать себѣ имя созданіемъ этой роли: тутъ и кокетливость, и энергія, и страстность... А на Мариинскомъ театрѣ роль эта сказывается, какъ урокъ со сцены... о *созданіи* кто ужъ и говоритъ! Третьимъ удачнымъ лицомъ по наружности былъ г. Леонидовъ, отлично гримировавшимся звѣрскимъ и отвратительнымъ Малютою - Скуратовымъ. Плаксивая царица Анна была нарочито-плаксивою г-жею Струйскою. И что за интонаціи! Г. Самойловъ былъ весьма умѣренно грозенъ, но за то послѣ перваго акта сдѣлался игривъ... И только г. Горбуновъ сермяжнымъ мужиченкой да г-жа Александрова—сѣнною дѣвушкою, бѣли истинны, и потому хороши. Дирекція театра со своей стороны обнаружила похвальную заботливость о декораціяхъ и костюмахъ. Даже бояръ въ думѣ было достаточно—въ одномъ изъ Самозванцевъ, помнится, ихъ надо было отыскивать по сценѣ. Позволительно надѣяться, что при такомъ отношеніи къ родному искусству начальство театра озаботится и составомъ труппы, которая

болѣе отличается количествомъ, чѣмъ качествомъ исполнителей.

Г. Островскій въ оба представленія выходитъ по нѣскольку разъ на вызовы публики.

Изъ „Отечественныхъ Записокъ“ за 1868 г.

*
* *

*) Подумаешь, какое счастье! Въ январѣ прошлаго года графъ А. Толстой показывалъ намъ съ Маріинской сцены Ивана Грознаго, въ январѣ нынѣшняго гг. Островскій и *** показываютъ намъ его же. Въ прошломъ году было это вновь, и публика ломилась въ театръ, въ нынѣшнемъ — она довольно покойно ждала „Василисы Мелентьевой“, и въ первое представленіе въ театрѣ не было тѣсно, хотя „Василисѣ Мелентьевой“ предшествовала громкая молва: говорили, что пьеса изъ ряда вонъ по своимъ достоинствамъ, что, въ особенности, Грозный такъ чудесно изображенъ, что оставалось сказать: „Умри, Денисъ! Лучше ничего не напишешь“. Кромѣ того, интересовалъ и сотрудникъ г. Островскаго — эти таинственные три звѣздочки. Я зналъ, что это не бывшій король баварскій, не герцогъ саксенъ-кобургскій, которые подъ своими театральными пьесами *** подписываются: это въ обычаѣ у нѣмецкихъ владѣтельныхъ лицъ; очень не мудрено, что, въ подражаніе послѣднимъ, какое-нибудь русское высокопоставленное лицо, хотя и не владѣтельное, сотрудничая г. Островскому, подписалось тоже ***. По крайней мѣрѣ, мнѣ достовѣрно извѣстно, что сотрудникъ г. Островскаго не музыкальный критикъ „Спб. Вѣд.“, г. **, не имѣющій, къ сожалѣнію, права заявлять о похищеніи псевдонима, принадлежащаго въ настоящее время въ одинаковой степени: ему, двумъ германскимъ коронованнымъ особамъ и, по моему предположенію, русскому высокопоставленному лицу. Но говорю о тѣхъ, у которыхъ тоже три звѣздочки на эполетахъ; но эти звѣздочки расположены такъ, какъ располагаетъ ихъ музыкальный критикъ *Вѣсти*,

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г. № 13. („Василиса Мелентьева“). Статья Незнакомца (А. Суворина).

именно **, изъ чего, можетъ быть, и не слѣдуетъ, что сотрудики *Вьсти*—крупные землевладѣльцы въ чинѣ поручика.

Съ замираніемъ сердца вступилъ я въ Маріинскій театръ, на представленіе „Василисы Мелентьевой“. Такое состояніе я испытываю постоянно, когда жду, что станутъ произносить передо мной рѣчи о холопствѣ, рабствѣ и песьихъ свойствахъ человѣческой природы. Ну, а когда Иванъ Грозный на сценѣ, другихъ рѣчей ожидать мудрено. Открылся занавѣсъ: цѣлая группа бояръ на дворцовомъ крыльцѣ представляется взорамъ зрителя. Морозовъ разсуждаетъ о мѣстничествѣ и о томъ, какъ хорошо было боярамъ при прежнемъ порядкѣ, когда они имѣли право отъѣзда и говорили князьямъ правду въ глаза. Теперь-де не то: „царю холопы нужны!“ Князь Ряполовскій жалуется на тяжелое, переживаемое боярствомъ, время: „дума все пустѣетъ, и въ головахъ боярскихъ недочетъ“. Князь Сицкій замѣчаетъ на это: „судить не намъ; мы всѣ рабы царя, и его надъ нами святая воля; пускай казнить — бѣда не велика, а зачѣмъ онъ мѣстничества не соблюдаетъ, когда „у Бога ведется счетъ родамъ боярскимъ“. Фонъ-Визинъ заставляеть своего бригадира сказать, что Богъ считаетъ волосы на головѣ у первыхъ пяти классовъ, а когда бригадирша замѣчаетъ на это, что „у Бога генералитетъ, штабъ и оберъ-офицеры въ одномъ рангѣ“, бригадиръ съ гнѣвомъ говоритъ: „Какъ бы ты Бога-то узнала побольше, такъ бы ты такой пустоши и не болтала. Какъ можно подумать, что Богу, Который все знаетъ, не извѣстенъ будто нашъ табель о рангахъ? Стыдное дѣло“. Очевидно, тутъ шаржъ у обоихъ драматурговъ: во всемъ остальномъ бояре изображены г. Островскимъ совершенно такъ же, какъ и у другихъ драматурговъ, касавшихся этого предмета. Даже о хитрости Шуйскаго упомянуто и о Годуновѣ насчетъ его татарскаго происхожденія.

Приходитъ князь Воротынскій и говорить, что „Иванъ Грозный — царь правды“, что онъ никогда бы не казнилъ невинныхъ, если бъ не было злодѣя Малюты-Скуратова,

который „царя на гнѣвъ и казни разжигаетъ!“ Общая сенсация! Сказать такое либеральное слово о Малютѣ-Скуратовѣ, который, кстати сказать, затѣмъ только и на сцену является, чтобъ сказать: „я царскій песъ“ *)—боярамъ показалось ужасно. Не успѣли они оправиться отъ своего волненія, какъ является самъ Малюта и, къ общей радости зрителей, уводитъ Воротынскаго, обвиняя его въ измѣнѣ и посягательствѣ на царскую жизнь. Говорю: „къ общей радости зрителей“, ибо, во-первыхъ, Воротынскій такъ расположенъ къ риторикѣ, что можно было подумать, что онъ сію науку проходилъ по Кошанскому; во-вторыхъ, г. Бурдинъ изображалъ Воротынскаго столь величественно, что у зрителей трепетали нервы, для успокоенія которыхъ требовался пріемъ лавровишневой воды, къ сожалѣнію, въ театраль-ныхъ буфетахъ не продающейся.

Вслѣдъ за Воротынскимъ ушли по немногу и другіе бояре. Остается на сценѣ дворянинъ Колычевъ. Надо вамъ знать, что этотъ Колычевъ—человѣкъ чрезвычайно ограченный, даже, можно сказать, глупый, хотя Воротынскій и отзывался о немъ съ хорошей стороны: полагаю, что этотъ отзывъ основывался на расположеніи Колычева къ риторикѣ, въ которой онъ такъ же силенъ, какъ и помянутый князь. Весьма не мудрено, что этой наукѣ онъ и учился у князя, живя у него въ костромской вотчинѣ „замѣсто родного“. Жилъ онъ у него, впрочемъ, еще до начала драмы; въ первомъ актѣ мы уже видимъ его въ услуженіи у Малюты въ качествѣ усерднаго чиновника.

Колычевъ остался на сценѣ собственно для того, чтобъ объявить зрителямъ о своей любви къ Василисѣ Мелентьевой, вдовѣ, находящейся въ царицыной прислугѣ. Она его „отъ сна отбила и отъ хлѣба“ и „пустила сухоту по животу“. Онъ, можетъ быть, и еще что-нибудь прибавилъ бы въ томъ же родѣ, но вошла сама Василиса и сказала, для объясненія зрителямъ своего неожиданнаго появленія на сценѣ, что царица прислала ее, Василису, узнать—о чемъ

*) Извѣстно, что опричники носили песьи морды, въ знакъ преданности, и метлу въ знакъ того, что они будто бы измѣну выметали изъ отечества.

шумять бояре. Хотя зрители уже слышали, о чемъ бояре шумѣли, но Колычевъ считаетъ своимъ долгомъ вкратцѣ повторить содержаніе предыдущей сцены, и проситъ Василису передать царицѣ, что Воротынскаго ожидаетъ казнь. Надобно знать, что царица Анна Васильчикова воспитывалась въ домѣ Воротынскаго вмѣсто дочери, вмѣстѣ съ сыномъ его Владимиромъ, въ молодыхъ лѣтахъ убитымъ на войнѣ. Понятно, какъ прискорбна должна быть царицѣ опала, постигшая князя. Но Василиса смотритъ на это иначе, говоря, что съ Малютой трудно тягаться, что лучше уважать его, чѣмъ дѣлать ему непріятности. Кстати, тутъ же они про любовь свою поговорили, при чемъ Василиса замѣтила, что Колычеву пріятно „отдыхать на груди вдовушки“, съ чѣмъ послѣдній совершенно согласился, замѣтивъ и съ своей стороны, что онъ „въ котлѣ горючей сѣры готовъ кипѣть, только бы съ тобою (т. е. съ Василисой) не разлучаться“. По свойственной Колычеву глупости, а можетъ быть и по любви къ риторикѣ, онъ не сообразилъ, что ужъ тѣмъ самымъ онъ на вѣкъ разлучится съ Василисой, что будетъ кипѣть „въ котлѣ горючей сѣры“, изъ которой живымъ едва ли возможно выйти. Наши офицеры прежняго времени были гораздо умнѣе, когда грозили барышнямъ отъѣздомъ на тотъ „гибельный Кавказъ“, который, во всякомъ случаѣ, безопаснѣе котла горючей сѣры. Чѣмъ-то теперь они барышень пугаютъ?

— Прощай Андрюша! говоритъ, наконецъ, Василиса, и первое отдѣленіе перваго акта кончается. Начинается второе отдѣленіе. Мы въ грановитой палатѣ, въ той самой, гдѣ Иванъ Грозный принималъ Батунова послѣ („Смерть Іоанна Грознаго“, трагедія графа А. К. Толстого, актъ 3-й). Она сильно поблекла, въ одинъ годъ такъ износилась, что требуетъ поправки. Бояре сидятъ также, входятъ рынды; за ними царь и садится на престолъ. Мы уже знаемъ, что они собрались судить князя Воротынскаго, и ожидаемъ, что рѣчь пойдетъ объ этомъ. Но драматургъ заставляетъ царя произносить длиннѣйшій монологъ о Карлусѣ девятомъ, королѣ французскомъ, о Генрихѣ, и пр., и что онъ, Иванъ

IV, готовъ принять польскую и литовскую корону, чтобъ было „едино стадо и единый пастырь“:

Единъ Господь на вышнихъ небесахъ,
Единый царь во всѣхъ земляхъ славянскихъ.

Для чего Грозный говорилъ этотъ монологъ, поистинѣ единому Господу извѣстно. Онъ не характеризуетъ ни времени, ни Ивана IV, и ни малѣйшимъ образомъ не вяжется съ драмой; остается предположить, что онъ написанъ для двухъ заключительныхъ стиховъ, которыя я привелъ; но, во-первыхъ, Грозный отнюдь не могъ говорить о „единомъ царѣ во всѣхъ земляхъ славянскихъ“, во-вторыхъ, покойный Хомяковъ говорилъ объ этомъ, тоже въ стихахъ, несравненно лучше и образнѣе. Надобно прибавить еще, что этотъ монологъ — есть переложеніе прозы какого-то учебника въ стихи. Продолженіе этого монолога, хотя и не столь лишнее для драмы, какъ начало его, но столь же безцвѣтно, да къ тому же не совсѣмъ сообразно съ характеромъ царя. Грозный говорилъ о томъ, что будетъ мстить полякамъ, если они выберутъ къ себѣ на царство кого-нибудь другого, и вдругъ начинаетъ чуть не изъ „Смерти Іоанна Грознаго“: „Я каюсь передъ всѣми: я золь, гнѣвливъ!“ не перечисляя, впрочемъ, далѣе своихъ недостатковъ, какъ у графа Толстого, а стараясь оправдаться передъ боярами тѣмъ, что онъ „сызмальства окруженъ измѣной и крамолой“. Немного далѣе онъ вскрикиваетъ, какъ у графа же Толстого, „молчи, холопъ!“ и продолжаетъ разсуждать о томъ, какіе бояре-интриганы, какъ нуженъ на нихъ глазъ да глазъ, вспоминаетъ, что Шуйскіе съ ногами садились на царскую постель; говорить, однимъ словомъ, все то, что, со словъ его писемъ къ Курбскому, вошло во всѣ учебники и стало, отъ долгаго употребленія, общимъ мѣстомъ.

Вводятъ, наконецъ, Воротынскаго, который своей поступью и манерой держать себя до того напоминаетъ архіерейскаго дьякона, что вы такъ и ждете, что онъ скажетъ: „Благослови, владыко!“ и начнетъ ектенію. Бояре

заступаются за Воротынскаго; одинъ изъ нихъ, Морозовъ, говоритъ риторическій монологъ о значеніи боярства, причемъ приводитъ такой аргументъ: „Великій царь, повѣрь, что головы бояръ нужнѣе въ думѣ и на войнѣ, чѣмъ на шестѣ желѣзномъ у палача въ рукахъ“. Что сдѣлалъ бы Грозный, если бъ дѣйствительно какой-нибудь бояринъ сказалъ ему эту фразу? При всей его вспыльчивости, она не разсердила бы его, а разсмѣшила бы только, и онъ по-смѣялся бы зло надъ столь глупымъ бояриномъ, который не знаетъ, что и самый послѣдній подданный полезнѣе государству, когда онъ по землѣ ходитъ, чѣмъ когда онъ на шестѣ сидитъ. Нѣтъ, бояре были гораздо умнѣе; быть можетъ, они не говорили такъ риторично, какъ онъ заставляетъ ихъ говорить, но передъ царемъ слишкомъ глупыхъ рѣчей они не говорили. Слишкомъ глупые бояре обыкновенно молчали... Когда Иванъ Грозный велитъ увести Воротынскаго и Морозова, бояре поднимаютъ шумъ. Грозный распаляется гнѣвомъ, и что, вы думаете, дѣлаетъ? Стремительно бросаетъ свой посохъ и отказывается отъ царства: выбирайте, говоритъ, себѣ другого, коли я не люблю вамъ, коли вы хотите промѣнять меня на измѣнниковъ. Эта выходка, противорѣчащая не только исторіи, но и здравому смыслу, повергаетъ бояръ въ ужасъ, и они падаютъ на колѣни: „Отказомъ отъ царскаго престола“, говорятъ они, „не губи рабовъ твоихъ, сиротъ безвинныхъ“. — „Встаньте“, отвѣчаетъ Грозный: „я головы вамъ жалую обратно“. Я не вспомню теперь, изъ какого водевиля взята эта послѣдняя фраза, но рѣшительно утверждаю, что она изъ водевиля, и притомъ изъ давнишняго, который видѣлъ я еще ребенкомъ.

Послѣ водевильной выходки Грознаго, является на сцену царица Анна, въ сопровожденіи Мелентьевой и другихъ прислужницъ. Царица проситъ за воспитателя своего, Воротынскаго; царь, разумѣется, глумится надъ ней, говоря, что не ей мѣшаться въ его дѣла. При этомъ царь замѣчаетъ Мелентьеву, и когда всѣ удаляются, спрашиваетъ у Малюты: „Кто эта баба?“ — Мелентьева, отвѣчаетъ

Малюта, мужъ ея умеръ. — „Ну, счастливъ онъ, что умеръ—догадался“, говоритъ Грозный. Опять спрашиваю: водевиль это, или либретто для оперы Оффенбаха, въ которой въ уста дѣйствующихъ лицъ нарочно вставляются безсмысленныя фразы, чтобъ вызвать смѣхъ у зрителей? Фраза Грознаго дѣйствительно вызываетъ смѣхъ, и занавѣсъ падаетъ...

Остановимся на минуту.—Но вы и такъ ужъ слишкомъ долго стояли на первомъ актѣ, скажете вы мнѣ — что дѣлать: о *Василисѣ Мелентьевой* такъ много кричали, что необходимо подробно разобрать ее, иначе сейчасъ прослышешь человѣкомъ пристрастнымъ, даже ненавистникомъ таланта г. Островскаго. Такого грѣха я никогда не возьму на себя, тѣмъ болѣе, что глубоко уважаю талантъ г. Островскаго въ его комедіяхъ изъ современнаго быта. Историческая же хроника или историческая драма — это та окольная дорога, на которую сбился этотъ замѣчательный талантъ.

Позволяю себѣ спросить г. Островскаго: зачѣмъ припиленъ первый актъ къ его драмѣ? Если драма есть гармоническое развитіе какого-нибудь событія въ дѣйствіи, то для чего эти длинные разговоры бояръ о мѣстничествѣ и о всемъ прочемъ, для чего этотъ Воротынскій, это засѣданіе въ грановитой палатѣ, нарушающее всякую гармонию и даже живыми нитками не пришитое ко всему послѣдующему? Онъ, можетъ быть, отвѣтитъ, что Воротынскій—воспитатель царицы, что обвиненіе ея въ послѣдующихъ актахъ передъ царемъ основывается въ томъ, что она жила у Воротынскаго и будто бы любила его сына. Кромѣ того, царица заступаетъ за Воротынскаго — а это непріятно Грозному и показываетъ зрителю, что царь охладѣлъ къ царицѣ. Но для объясненія всего этого достаточно было небольшого діалога, какъ изъ діалога узнаемъ мы о томъ, что царица любила прежде своего замужества глупаго дворянина Колычева. Онъ можетъ сказать еще, что надо было показать царю Мелентьеву; но сію послѣднюю, какъ царицыну прислужницу, царь могъ видѣть во

всякое время, и для этого не стоило сочинять цѣлаго акта. Хотѣлъ ли г. Островскій показать намъ антуражъ Грознаго и его самого обрисовать намъ сначала, какъ государственнаго дѣятеля, какъ мучителя, и потомъ уже, какъ сластолюбца? Но изъ всего царскаго антуража для послѣдующихъ дѣйствій, для развитія идеи драмы — нуженъ только Малюта; что-же касается изображенія Грознаго, какъ государственнаго дѣятеля и мучителя, то во второмъ отдѣленіи перваго акта г. Островскій только *повторилъ*, иногда *дословно*, главнѣйшіе моменты драмы графа А. Толстого „Смерть Іоанна Грознаго“, не прибавивъ отъ себя ровно ничего. Неужели г. Островскому хотѣлось показать, что онъ сумѣетъ повторить эффе́ктные мѣста драмы „Смерть Іоанна Грознаго“ въ драмѣ „Василиса Мелентьева“? Едва-ли. Быть можетъ, самъ г. Островскій не подозрѣвалъ, что онъ повторилъ и какъ? Я готовъ ему показать это съ *поразительною наглядностію*, когда его драма явится въ печати....

Пойдемъ далѣе.

Второе дѣйствіе начинается разговоромъ мамки съ царицей о томъ, что Воротыпскій „умучень“. Царица рассказываетъ мамкѣ сцену въ грановитой палатѣ, словно зритель и не видалъ ее, плачется на жестокость Грознаго и превратность судебъ: „въ дѣвушкахъ“, говоритъ она, „другого счастья себѣ не прочила, какъ за Андреемъ Колычевымъ быть, а случилось вотъ что“. Мамка утѣшаетъ ее, какъ утѣшаютъ мамки въ тысячѣ другихъ драмъ, и предупреждаетъ, чтобъ она не откровенничала съ Василисой: „узнаетъ царь о твоихъ помыслахъ, бѣда намъ всѣмъ“, говоритъ она. На минуту царица остается одна и говоритъ вариацию на монологъ Димитрія Самозванца, въ драмѣ Островскаго же „Василій Шуйскій и Дмитрій Самозванецъ“ *). — „Мнѣ страшно здѣсь, мнѣ душно, непривѣтно

Сиротливо

*) Въ душѣ моей. Расписанные своды
Гнетутъ меня, и проч.

душѣ моей“, вариация, конечно, съ подходящими подробностями, оканчивающаяся парой рифмованныхъ стиховъ:

Придешь къ царю съ слезами и любовью---
Отъ царскихъ рукъ людскою пахнетъ кровью.

Мнѣ эти стихи напоминаютъ конфетные билетки, тѣмъ болѣе, что они стоятъ особнякомъ, вполне противорѣча тому, что говоритъ царица прежде. Слово *любовь* тутъ поставлено для рифмы *кровь*, ибо за пять, за шесть стиховъ передъ этимъ царица говоритъ, что царь „страшенъ ей и гнѣвный и веселый“, что она „жена царю по плоти, по сердцу — чужая“. И она, однакожъ, приходитъ къ царю съ любовью.

Несмотря на предупрежденіе мамки, царица проговори-лась въ разговорѣ съ Мелентьевой о своей любви, сказавъ, что любимый ею человекъ теперь ужъ умеръ, что даетъ поводъ Мелентьевой предполагать, что этотъ человекъ—Владимиръ Воротынскій, съ которымъ царица вмѣстѣ воспитывалась. Входитъ Малюта и, по своему обыкновенію, говоритъ: „Я государевъ песъ, чутьемъ я слышу, кто другъ его, кто недругъ“. Когда царица замѣчаетъ ему, что онъ, по злобѣ на бояръ, изъ зависти къ ихъ славнымъ дѣламъ, ходитъ „какъ тать ночной, какъ придорожный воръ, съ ножомъ, съ дубьемъ“, Малюта отвѣчаетъ спокойно: „На царской службѣ всѣмъ не угодишь“. Если вы припомните, что Воротынскій называлъ Грознаго „царемъ правды“ и всѣ ужасы царствованія приписывалъ исключительно подстрекательству Малюты, если къ этому прибавите такое же мнѣніе царицы, изображенныя драматургомъ заискиванье бояръ у этого палача и первенствующую роль его возлѣ Грознаго, то невольно должны будете придти къ заключенію, что таково и мнѣніе автора, такова вся глубина психологическаго анализа въ пьесѣ. Были, молъ, около Грознаго Сильвестръ и Адашевъ—былъ онъ царь хорошій, приблизился къ нему Малюта—сталъ онъ царь жестокій. Къ сожалѣнію, Малюта былъ только *однимъ* изъ палачей, которыхъ у Грознаго было много.

Погрозившись Малютѣ ударить челомъ на него Государю, царица уходитъ, оставивъ его наединѣ съ Василисой. Имъ кстати и нужно поговорить. Василиса передаетъ ему, что царица любила до замужества Владимира Воротынскаго, и палачъ вмѣстѣ съ нею рѣшается дѣйствовать. Съ доносомъ къ царю думаютъ они послать Андрея Колычева, и уговорить его беретъ Василиса. Въ это время входитъ царицына мамка. Малюта сейчасъ къ ней: кого царица любила? Мамка начинаетъ кричать, Малюта свиститъ, являются двое стрѣльцовъ и уводятъ ее.

До сихъ - поръ Василиса Мелентьева является въ драмѣ только хитрою бабенкой. Царица призрѣла ее у себя, оказала ей большія услуги, но Мелентьева благодарности не чувствуетъ къ ней, напротивъ, старается подкопаться подъ нее, особенно съ тѣхъ поръ, какъ замѣтила она, что царю нравится. Неглупой бабенкѣ приходитъ въ голову блажь — сдѣлаться царицей. Могло ли это быть на самомъ дѣлѣ? Разумѣется, могло. Можно сказать положительно, что много женщинъ и дѣвицъ мечтали объ этомъ въ своихъ теремахъ, и вознесли бы благодарственные моленія, еслибъ царское око остановилось на нихъ. Но нѣтъ ни малѣйшаго основанія предполагать, чтобъ въ тогдашнемъ теремѣ могла воспитаться женщина столь честолюбивая, что, для достиженія своихъ цѣлей, рѣшилась бы на рядъ подвиговъ притворства и кокетства и на рядъ преступленій, ежеминутно рискуя своею головою. Еще меньше основанія предполагать, что такой царь, какъ Грозный, полный властелинъ жизни своихъ подданныхъ, могъ нуждаться въ ухаживаніи за какою-нибудь вдовою Мелентьевой, когда одного слова его достаточно было, чтобъ тысячи подобныхъ же вдовъ были у ногъ его, въ полномъ его распоряженіи. Тогда это дѣлалось очень просто, и не одна боярыня или боярышня, даже противъ воли своей, попадали на ложе къ Грозному. Г. Островскій думаетъ иначе. Не станемъ ему прекословить, а посмотримъ какъ развиваетъ онъ свою идею.

Царь встрѣчается въ саду съ Мелентьевой, которая притворно пугается. Грозный вдругъ начинаетъ ей говорить,

что напрасно она испугалась, что онъ „за блудное житіе эпитиміи не положить,“ что самъ онъ ежечасно согрѣшаетъ и мыслію и „разговоромъ срамнымъ“. Что за странный приступъ, думаете вы. Добро бы еще Грозный засталъ Мелентьеву на любовномъ свиданіи: тогда такія рѣчи, пожалуй, были бы и у мѣста, а то вдругъ, какъ говорится, ни съ того ни съ сего, покаянье въ своемъ распутствѣ. Хотѣлъ ли онъ имъ ободрить вдову? Но отъ такихъ рѣчей всякая женщина скорѣе бы смутилась, такъ-какъ стыдъ все-таки чувство прирожденное. Если у Мелентьевой его не было, то Грозный, не зная еще ее, не имѣлъ никакихъ основаній предполагать это. Я уже не говорю, что подобныя рѣчи совершенно немыслимы въ устахъ такого царя, какъ Грозный, который слишкомъ много думалъ о себѣ, слишкомъ высоко привыкъ ставить себя, слишкомъ презиралъ другихъ, чтобъ передъ встрѣчной бабой могъ пуститься въ объясненія о своей грѣховности.

Дальнѣйшій разговоръ между царемъ и Василисой идетъ со стороны послѣдней въ самомъ вызывающемъ тонѣ, прикрытомъ напущенной на себя Василисой простоватостью. Эта навязчивость удивляетъ царя, и онъ спрашиваетъ *подозрительно*: „ты видѣла Малюту?“ Несмотря на бойкій отрицательный отвѣтъ Василисы, подозрительность въ царѣ не могла пройти мгновенно, какъ это представлено въ драмѣ, гдѣ Грозный тотчасъ же объясняется въ любви Василисѣ и обнимаетъ ее.

Подозрительность — преобладающая черта въ характерахъ, подобныхъ Грозному, и какъ скоро сѣмя ея брошено, она не уничтожается, а растетъ, ищетъ опоры себѣ въ новыхъ фактахъ, въ новыхъ соображеніяхъ. За этими послѣдними дѣло не стоитъ, потому что Василиса продолжаетъ свою навязчивую роль и почти прямо высказывается, что желаетъ быть царицей, на что Грозный, къ величайшему изумленію, отвѣчаетъ: „если хочешь быть царицей, такъ будешь“, и уходитъ. По моему мнѣнію, вся эта сцена фальшива съ первой строки до послѣдней. Лучъ правды только блеститъ въ вопросѣ царя: „ты видѣла Малюту?“

но и тотъ сейчасъ же затушевывается охрой. Драматургъ заставляетъ Василису поцѣловать царя, и потомъ будто застыдиться и толкать его въ плечо: „иди къ царицѣ, иди!“ Грозному нравится такая смѣлость, и онъ говоритъ: „ты смѣлая“. Это мѣсто основано на томъ афоризмѣ, что деспоты, привыкшіе къ непрекословному повиновенію себѣ, иногда не только прощаютъ смѣлыя рѣчи, но и награждаютъ за нихъ. Грозный, какъ всѣ деспоты, не былъ, конечно, изъятъ отъ подобной блажи, и оригинальное поведение съ нимъ женщины дѣйствительно могло ему понравиться, но позволительно думать, что смѣлость Василисы переходитъ черту естественности и обращается въ шаржъ, который оскорбилъ бы только царя и усилилъ бы родившуюся уже въ немъ подозрительность.

Въ третьемъ актѣ мы знакомимся съ тѣми побудительными причинами, которыя заставляютъ Василису такъ неудержимо стремиться на престолъ. Причины эти заключаются въ томъ, что ей хочется возбудить къ себѣ зависть въ боярыняхъ московскихъ и надѣть цвѣтное платье. Обращаясь къ комнатѣ царицы, Василиса кричитъ довольно смѣшно: „Отдай добромъ мнѣ цвѣтное платье, не спорь со мной! Не къ лицу тебѣ кокошникъ царскій, да и носить его ты не умѣешь!“ Разумѣется, царица не слышитъ этихъ глупыхъ рѣчей, рекомендующихъ умъ Василисы съ весьма не лестной для нея стороны, но зритель слышитъ ихъ и спрашиваетъ себя невольно: и такая-то женщина всѣхъ проводить, — и царя, и Малюту, и Колычева. Но мы еще только на порогѣ тѣхъ несообразностей, которыхъ такъ много въ третьемъ и четвертомъ актахъ.

Еслибъ г. Островскій представилъ намъ Василису бойкой, умной, обольстительной женщиной, мы могли бы тогда спорить только о томъ, возможно ли положеніе подобной женщины въ условіяхъ русской дѣйствительности XVI вѣка. Памятники противорѣчили бы этому, но драматургъ тѣмъ скорѣе могъ поставить Василису въ исключительныя положенія, что о ней ничего не извѣстно, онъ могъ сдѣлать ее грамотной, могъ познакомить, какъ вольную вдову, съ

литовцами и поляками, иностранцами, которые бывали тогда въ Москвѣ. Это знакомство могло развить богатые природные дары женщины, которая тѣмъ самымъ обратила бы на себя вниманіе Грознаго. Не даромъ мечтаетъ онъ о сестрѣ Елизаветѣ, о женитьбѣ на европейкѣ, которая могла внести въ его жизнь элементъ новый, совершенно независимый отъ плотоугодія, которое Грозный могъ и безъ того удовлетворять на каждомъ шагу. Сохранились преданія о женщинахъ развитыхъ въ царскомъ семействѣ, какова, напримѣръ, бабка Грознаго. Но г. Островскій хотѣлъ быть вѣрнымъ дѣйствительности — онъ взялъ заурядную женщину, надѣлилъ ее лукавствомъ безъ ума, желаніемъ „цвѣтного платья“, желаніемъ показать всѣмъ, какъ должно вести себя царицѣ, какъ „гордо кланяться на боярскіе поклоны“, „ходить какъ лебедь плавно“, „бровью, безъ словъ, сказать и гнѣвъ и ласку“, — и погрѣшилъ противъ дѣйствительности несравненно больше. Василиса выходитъ манекеномъ, дѣйствующимъ не по внутренней необходимости, а по желанію автора. И этотъ-то манекень заставляетъ всѣхъ плясать по своей дудкѣ, начиная съ Грознаго.

Посмотрите на ея обращеніе съ Колычевымъ, который не рѣшается доносить на царицу, чувствуя къ ней симпатію. Чѣмъ Василиса убѣждаетъ его? Она придумываетъ такую глупую сказку, которой повѣрить могъ только совершенно тупо-умный человѣкъ, между тѣмъ какъ г. Островскій старается выставить Колычева не тупымъ, чувствующимъ человѣкомъ. Она говоритъ, что царя надо развести съ царицей, ибо царь начинаетъ заглядываться на „слугъ царицыныхъ, на бабъ и дѣвокъ“, и больше всего на нее, Василису. А если, молъ, царя мы разведемъ, онъ женится на другой, и отвратитъ свой взоръ „отъ бабъ и дѣвокъ“, и она, Василиса, можетъ любить тогда Колычева свободно. „Понялъ“? спрашиваетъ она.

„Все понялъ, все, что хочешь, исполню я“, отвѣчалъ онъ, и, оставшись одинъ, предается сантиментальнымъ воспоминаніямъ о любви своей къ царицѣ Аннѣ, когда она была въ дѣвушкахъ, и риторическимъ возгласамъ о необ-

ходимости донести на Анну и погубить ее. Г. Степановъ, исполняющій роль Колычева, съ прискокомъ, съ подниманіемъ вверхъ то перста, то десницы, произноситъ риторическія фразы, и вызываетъ рукоплесканія у райскихъ обитателей, которые всегда рады видѣть скаканія и слышать кукольниковскую риторику.

Колычевъ доноситъ царю на Анну. Я пропускаю разговоръ царя съ Малютѣй, разговоръ, пахнущій водевилемъ и либреттами оффенбаховскихъ оперъ. Выслушавъ доносъ, царь требуетъ къ себѣ Анну и ставитъ ее на очную ставку съ Колычевымъ. Царица говоритъ, что она невинна, что никогда Владимира Воротынскаго она не любила и даже не мечтала о немъ; а если въ дѣвичьихъ помыслахъ ея являлся кто ей суженымъ, то это развѣ Андрюша Колычевъ. Царь прогоняетъ царицу, говоря, что отнынѣ теремъ будетъ ей тюрьмою, и, по отшествіи ея, поставивъ остроконечный посохъ на ногу Колычева, спрашиваетъ сего послѣдняго, что значатъ царицыны слова о немъ, Андрюшкѣ. Андрюшка отвѣчаетъ: „знать не знаю“, и царь даритъ ему помѣстье и шубу. „Шута ко мнѣ!“ кричитъ затѣмъ Грозный. Является шутъ и начинаетъ пѣть „кабы бабѣ молока, молока, была бѣ баба молода молода;“ царь веселится и уходитъ „вспоминать холостую жизнь“.

Надобно сказать, что эта сцена, при всей ея натянутости, при всей ея исторической, отчасти и психологической фальши, точно такъ же какъ и сцена перваго свиданія царя съ Василисой, могли бы выдти эффе́кты, еслибъ разыграны были надлежащимъ образомъ. Но г. Самойловъ и г-жа Владимірова... Впрочемъ объ этомъ послѣ.

Четвертое дѣйствіе начинается монологомъ Василисы, въ которомъ изображается недовольство ея тѣмъ, что царь такъ мягко обошелся съ царицей. Василиса думала, что онъ ее убьетъ и тѣмъ очиститъ возлѣ себя мѣсто для нея, Мелентьевой, а онъ только прогналъ ее съ очей своихъ. Что дѣлать теперь? А она, Василиса, такъ бы хорошо умѣла держать себя царицей! Она наряжается и показываетъ своей горничной, какъ бы она царицей себя держала. Тутъ при-

ходятъ Колычевъ, и Василиса, поластившись къ нему, вдругъ говоритъ: „отрави царицу“! Это не только для Колычева, но даже для зрителей было совершенною неожиданностію. Сказать человѣку: „отрави царицу“, сказать ни съ того ни съ сего, и такъ просто, какъ: „затвори дверь“, превосходить наше воображеніе. Колычевъ хотѣлъ отчитать ее риторикой, но она не вняла, а пояснила ему, что Малюта, по приказанію царя, велѣлъ ей, Мелентьевой, отравить царицу, и она, Мелентьева, поручаетъ это ему.

— „А, говоритъ Колычевъ, понимаю (онъ все понимаетъ, потому, риторикѣ обучался). Тебѣ *для ради женской красоты твоей*, души я не пожалѣю, только смотри въ послѣдній это разъ я твой слуга, а тамъ женой возьму тебя въ свой домъ, и будешь ты любить меня и холить, и пуще грома божьяго бояться“. При этомъ онъ такъ жметъ ей руку, что она кричитъ: „Ой! больно, больно!“ Публика аплодируетъ.—Перемѣна декораціи. Мы въ теремѣ у царицы. Она жалуется на судьбу свою Мелентьевой, и потомъ идетъ ужинать. Входитъ Колычевъ съ вышерѣченнымъ кубкомъ, въ который Мелентьева всыпаетъ ядъ, и говоритъ, что яко бы сей кубокъ отъ царя присланъ. „За что такая милость къ женѣ своей опальной отъ царя“? вопрошаетъ царица, принимая роковой кубокъ. — Не знаю, отвѣчаетъ Колычевъ. — „Чѣмъ же мнѣ подарить тебя?“ снова вопрошаетъ царица. „Возьми кольцо“. — Не надо, отвѣчаетъ Колычевъ, и хочетъ уйти. Царица останавливаетъ его и говоритъ ему—это задумано прекрасно—о томъ, какъ она его, Андрея, любила, и разъ бросила ему изъ терема вѣнокъ изъ васильковъ. Воспоминанія о поэтической молодости тронули Колычева, который чувствуетъ, что играетъ въ пьесѣ преглупую и ни съ чѣмъ несообразную роль.

— „Послушай! говоритъ ему царица. Мнѣ кажется, что въ этотъ кубокъ положено зелье“.

— Положено, царица. Не пей его, и хочетъ взять кубокъ.

Драма сейчасъ могла бы разрушиться, еслибъ Колычевъ

отнялъ кубокъ, или еслибъ царица отказалась пить. Но Колычевъ и царица въ полномъ распоряженіи у г. Островскаго, который могъ бы заставить ихъ даже летать. Впрочемъ, они продѣлываютъ вещи не болѣе естественныя, чѣмъ летанье человѣка.

— „Я выпью, надо выпить“! говоритъ царица и пьетъ, желая „царю“ веселія, радости, и счастья на многіе, на многіе года. Колычевъ стоитъ и плачетъ. Чего онъ плачетъ — неизвѣстно. Начинается переполохъ. Царица кричитъ: „Ой, больно, больно!“ Мелентьева кричитъ: „Бѣгите за царемъ! Скажите, царица угорѣла!“ Въ публикѣ смѣхъ, ибо все это придумано такъ мелодраматически — плохо, что изъ рукъ вонъ. Мелентьева обращается къ Колычеву. „Не плачь, Андрей. Черезъ два дня я буду царицей, и награжу тебя за то, что ты очистилъ мнѣ мѣсто. А теперь ты отъ двора подальше убирайся, а то съ тобою будетъ то же“.

— Горе головушкѣ! восклицаетъ Колычевъ. Кому повѣрилъ я! (Именно слово въ слово, такъ восклицаетъ!)

— „Ступай, ступай скорѣе“!

— О Боже! убей меня Твоимъ небеснымъ громомъ! Зачѣмъ Ты терпишь на сырой землѣ такихъ злодѣевъ, какъ я.

— А на сухой землѣ развѣ ихъ не бываетъ? замѣтилъ мой сосѣдъ. Занавѣсъ падаетъ.

Неужели это естественное развитіе страсти, а не дикая мелодрама, даже въ то дикое мелодраматическое время, когда царствовалъ, по выраженію Языкова:

Трехъ мусульманскихъ царствъ счастливый покоритель—
И кровопійца своего!

Когда ежедневно представлялись такія картины:

Въ Москвѣ за казнью казнъ; у плахи незаконной

Весь день мясничаетъ топоръ,

По земскимъ городамъ толпа примѣтныхъ бродитъ,

Нося грабежъ, губя людей,

И бѣшено-свирѣпъ самъ царь ее проводить.

Есть ли человѣческая возможность объяснить, какимъ образомъ могла рѣшиться Мелентьева на убійство и еще болѣе—поручить совершеніе его Колычеву, человѣку, котораго она, какъ изъ 5-го акта оказывается, дѣйствительно любила? Есть ли возможность объяснить рѣшимость самого Колычева, рѣшимость почти безъ борьбы? Тупоуміемъ и закоренѣлостью въ преступленіяхъ, конечно, все можно объяснить, но авторъ выставляетъ этого ритора, шпиона и палача человѣкомъ съ сердцемъ, любящимъ, нѣжнымъ.

Гдѣ же логика? Намъ приходится только дивоваться, когда мы видимъ происходящее на сценѣ. Колычевъ рѣшается отравить, но рѣшается потому, что это — царскій приказъ. Между тѣмъ, еслибъ онъ вслушался въ слова Мелентьевой, то увидѣлъ бы, что она лжетъ. „Отъ царскаго стола, отъ ужина ты понесешь царицѣ, *какъ-будто* царь прислалъ, — въ царевомъ кубкѣ сыченый медъ. Тебѣ отдастъ Малюта — и ты придешь“. Колычевъ приноситъ кубокъ. Но откуда взялъ онъ его — рѣшительно неизвѣстно. Участвовалъ ли Малюта въ отравѣ — ни изъ одного слова драмы этого не видно. Что касается яда, то Мелентьева объясняетъ, что онъ приготовленъ Бомеліемъ. Царь же, какъ это видно изъ драмы, не только не участвовалъ въ отравѣ, но даже не подозрѣвалъ ея. Между тѣмъ, Колычевъ приноситъ кубокъ отъ царскаго стола, Мелентьева сыплетъ въ него ядъ — онъ это видитъ; когда царица спрашиваетъ его — есть-ли въ кубкѣ ядъ — онъ говоритъ: есть, и совѣтуетъ царицѣ не пить, а когда она выпиваетъ, онъ плачетъ. Что за чепуха! Если въ немъ проснулась чувствительность, то могъ бы онъ просто взять кубокъ изъ рукъ царицы, пролить его. Не говорю о томъ, что еслибъ хоть капля здраваго смысла была у Колычева, то онъ, несмотря на ослѣпленіе страсти, имѣлъ бы полную возможность понять намѣренія Мелентьевой.

Онъ такъ неумѣло и неловко дѣйствуетъ. Далѣе: отравка производится почти на виду всѣхъ, а Мелентьева говоритъ, что царица угорѣла. И ни малѣйшаго подозрѣнія ни у кого:

царь ничего не спросилъ объ угарѣ, объ угарѣ ночью, передъ сномъ, когда печей не топятъ, да притомъ еще *льтомъ*! Неправда ли, какъ это правдоподобно!! Кромѣ того, предполагается, что царю никто не сказалъ и о томъ, что царица тотчасъ закричала и упала, какъ только выпила кубокъ! Вѣдь смерть царицы, даже нелюбимой, притомъ смерть мгновенная, не могла вызвать хоть простого любопытства со стороны царя. А одинъ его вопросъ тотчасъ разъяснилъ бы все. Повторяю, все это такъ нелѣпо придумано, что многіе зрители помирали со смѣху послѣ четвертаго акта!

Пятый актъ несравненно лучше другихъ. На немъ можно отдохнуть отъ противорѣчій, отъ мелодраматическаго вздора, риторической трескотни, отъ вводимыхъ сценъ, совершенно ненужныхъ, отъ пошлыхъ разговоровъ, отъ водеvilныхъ выходокъ, на что указывалъ я въ первыхъ четырехъ актахъ. Тутъ есть смыслъ, тутъ есть дѣйствительная драма, движеніе, поэтическіе обороты рѣчи. Не напоминай этотъ актъ слишкомъ уже явно началомъ своимъ послѣдній актъ „Макбета“ и не будь конецъ его испорченъ мелодраматической выходкой Колычева—этотъ актъ нужно было бы причислить къ лучшимъ страницамъ г. Островскаго.

Какъ леди Макбетъ, Василису Мелентьеву, произведенную въ патентованныя царемъ любовницы, начинаютъ мучить видѣнія. Въ трагедіи Шекспира къ появленію на сценѣ ходящей во снѣ леди Макбетъ приготавливаютъ зрителей докторъ и придворная дама, которые передаютъ другъ другу свои соображенія, причемъ докторъ говоритъ умно и дѣльно.

Въ драмѣ г. Островскаго, сначала спальники, потомъ царь съ докторомъ приготавливаютъ зрителей къ появленію Василисы, причемъ докторъ говоритъ великій вздоръ. Къ сожалѣнію, я никакъ не могу сказать, что все это Шекспиръ заимствовалъ у г. Островскаго. Является леди Макбетъ, т. е. Василиса Мелентьева, преслѣдуемая тѣнью царицы Анны. Въ „Макбетѣ“ придворная дама восклицаетъ, обращаясь къ доктору: „Смотрите! вотъ она идетъ“. Въ

„Василисѣ Мелентьевой“ царь восклицаетъ, обращаясь тоже къ доктору: „Смотри, смотри! Она идетъ. Спаси насъ Заступница“. Словомъ, эта сцена у г. Островскаго — вариация на сцену „Макбета“, вариация, конечно, несравненно худшая своего оригинала. Но потомъ все идетъ хорошо и вполне оригинально, хотя мнѣ, признаться, не совсѣмъ естественнымъ кажется скорое успокоеніе Василисы послѣ такой трагической сцены. Успокоившись, она засыпаетъ, и во снѣ произноситъ любовныя слова объ Андрюшѣ и постылыя о царѣ. Грозный будитъ ее и, въ страшной ярости, велитъ зарыть ее живою въ могилу. Но риторическій Колычевъ беретъ ее за руку, заставляетъ покаяться въ своихъ злодѣяніяхъ и поражаетъ мечомъ. Грозный благодаритъ его, но въ то же время приказываетъ Малютѣ удалить его куда-нибудь подальше, „хоть въ тотъ же гробъ, гдѣ Василиса будетъ“.

Въ заключеніе я долженъ сказать, что идея драмы г. Островскаго не только потому не нова, что предвосхищена была еще Шекспиромъ — касательно честолюбивой женщины — но и потому не нова, что г. Аверкіевымъ предвосхищена касательно изображенія Грознаго, какъ сластолюбца и какъ человѣка любящаго. Драма г. Аверкіева называется „Слѣдъ-Неволя“ и не лишена достоинствъ. Если на нее не обратили вниманія, то, во-первыхъ, потому, что въ послѣдніе годы у насъ мало на что вниманіе обращали, а во-вторыхъ, потому, что она напечатана въ такомъ журналѣ, какъ *Всемирный Трудъ*, составляющій библиографическую рѣдкость. Положенія, въ которыя поставленъ Грозный г. Аверкіевымъ, сходны съ положеніями его въ *Василисѣ Мелентьевой*. Если я добуду *Всемирный Трудъ* ко времени появленія во 2 книгѣ *Вѣстника Европы* драмы г. Островскаго, то позволю себѣ провести тогда маленькую параллель.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“. Статья Незнакомца (А. Суворина).

*) Много говорилось, писалось и чувствовалось русскими людьми, относительно разницы, существующей между двумя столицами русскаго міра, столицею стараго московскаго государства и столицею новой всероссійской имперіи; мы чувствовали эту разницу часто, когда посѣщали театръ той и другой. Въ Москвѣ вообще артисты сознаютъ потребность быть вѣрными тому, что они представляютъ, т.-е. натурѣ,—хотятъ, чтобы воиспроизводимое на сценѣ было сколько возможно похожимъ на то, что происходитъ въ жизни. Мы не скажемъ, чтобъ тамъ все въ этомъ отношеніи выполнялось удачно и чтобъ всѣ достигали своей цѣли, но нельзя отрицать, что большая часть домогается этого; въ нашемъ Питерѣ, напротивъ, при представленіи русскихъ піесъ, особенно историческихъ, мы видимъ прежде всего чиновниковъ, исполняющихъ ех offісіо свою служебную обязанность. Не станемъ входить въ причины этого замѣченнаго нами не разъ явленія, но фактъ остается фактомъ, отъ чего бы онъ ни происходилъ. Признаемся, никогда мы такъ рѣзко этого не чувствовали, какъ при первомъ представленіи драмы г. Островскаго „Василиса Мелентьева“. Мы поняли, что начальствомъ предписано и рѣшено играть эту драму, и драма разыграна,—мы бы могли сказать метафорическимъ образомъ выраженіе: драма отписана такъ точно, какъ въ присутственное мѣсто отписываются бумаги. Роли вызубрены хорошо (случались кое-гдѣ заиканья, ну да первый разъ какъ не извинить), завѣтныя приличія и пріемы театральной аффектаціи соблюдены; гдѣ нужно, по правиламъ сценической рутины, разрѣзать рукою воздухъ въ такомъ или иномъ направленіи—исполнено; гдѣ нужно голову приподнять, назадъ закинуть или внизъ опустить—тамъ голова была приподнята, назадъ закинута, на бокъ повернута и внизъ опущена; гдѣ нужно было показать на лицѣ ужасъ, радость, нѣжность, коварство, злобу—все показано въ своемъ мѣстѣ; гдѣ нужно пройти по сценѣ съ величіемъ или страхомъ, съ глубокою думою или съ глу-

*) „Новое время“ 1868 г., № 14.

постью—пройдено, декламація соблюдалась съ надлежащимъ повышеніемъ и пониженіемъ; голоса съ достодолжными паузами, разстановками,—словомъ, не нарушены (сколько могли мы примѣтить) требованія театральной риторики, прилагаемыя ко всевозможнѣйшимъ драмамъ, изъ какой бы національности, вѣка и общества ни были заимствованы сюжеты драмъ. Безукоризненно. Если можно что нибудь замѣтить для будущаго времени, то развѣ то, что женщины говорили такъ, что въ отдаленныхъ отъ сцены ложахъ и креслахъ не все было слышно. Кромѣ этого, кажется, все было очень исправно. Мы не рѣшаемся даже сказать, чтобы одинъ исполнялъ свою роль лучше другого; всѣ были равно хороши, каждый на своемъ мѣстѣ. Не доставало только одного равнымъ образомъ у всѣхъ—жизни. Правда, было много такого, что напоминало ту угасшую жизнь, куда хотѣлъ перенести насъ авторъ. Декораціи и одежды составлялись съ сознаниемъ удовлетворить требованіямъ археологій, и съ этой стороны можно бы сказать, что наше театральное искусство дѣлаетъ успѣхи. Но что касается до лицъ, одѣтыхъ въ костюмы XVI вѣка, говорившихъ и ходившихъ среди домашней обстановки XVI вѣка, то намъ, несмотря на нихъ, невольно приходило на память знаменитый образъ библейской поэзіи: „совокуплялись кости къ костямъ, каждая къ своему составу, и жилы у нихъ были, и тѣломъ они обростали, и кожей они покрывались сверху, только духа въ нихъ не было“. А гдѣ же его взять этого духа, этой жизни? Для этого, разумѣется, недостаточно ни театральнаго воспитанія ни театральнаго трудолюбія; нужны, во-первыхъ, способности, во-вторыхъ, любовь къ своему дѣлу, въ-третьихъ—основательное знаніе той жизни, которую хотятъ представить. Если этого вмѣстѣ нѣтъ, можно ли требовать чего-нибудь, кромѣ того, что есть и что мы видимъ на сценѣ?

Г. Островскій выбралъ для своей драмы одну изъ женъ царя Ивана Грознаго; всѣ онѣ удобны для фантазіи поэта, именно потому, что объ нихъ сохранилось весьма мало извѣстій; онѣ быстро смѣнялись одна другою; уже поэтому можно по-

дозрѣвать за ихъ судьбою трагическую стихію. Предпослѣдняя жена Грознаго, такъ называемое женище—Василиса Мелентьева смѣнила Анну Васильчикову, о которой извѣстно только то, что ее схоронили въ суздальскомъ монастырѣ, и благочестивый царь давалъ деньги на поминаеніе души ея. Василиса Мелентьева скоро въ свою очередь была смѣнена Маріею Нагою, и неизвѣстно, куда дѣлась. Авторъ вымыслилъ, что вдова Василиса Мелентьева, вступивъ въ число прислужницъ царицы Анны Васильчиковой, обратила на себя вниманіе женолюбиваго тирана, и при пособіи довѣрчиваго юноши, влюбленнаго въ нее до безумія, Колычева, извела бывшую царицу отравою, заняла ея мѣсто, но вскорѣ проговорила въ снѣ о своихъ нѣжныхъ чувствахъ къ Колычеву, и была въ присутствіи царя умерщвлена Колычевымъ изъ мщенія. Эта вымышленная исторія связана у автора съ трагическимъ концомъ славнаго князя Михаила Воротынскаго, побѣдителя татаръ на Лопаснѣ....

Драма начинается разговоромъ сошедшихся бояръ на боярской площадкѣ: является старый Воротынскій, жалуется на временщика Малюту-Скуратова, хочетъ идти къ царю обвинять его, но въ ту минуту, когда Воротынскій хочетъ идти по лѣстницѣ къ царю, является Малюта и объявляетъ ему, что онъ пойманъ Богомъ и государемъ; и немедленно послѣдуетъ надъ нимъ царскій судъ. Послѣ того какъ бояре разошлись, сцена между Василисою Мелентьевою и Колычевымъ показываетъ, что Колычевъ влюбленъ въ Василису, и она отвѣчаетъ ему въ нѣкоторой степени. Слѣдуетъ судъ царя въ Грановитой палатѣ, изображаемой тѣми самыми декораціями, которыя служили въ трагедіи графа Толстого при сценѣ пріема Герабурды. Царь на тронѣ; окружаютъ его бояре. Царь толкуетъ о политическихъ дѣлахъ, потомъ переходитъ къ Воротынскому, его приводятъ со связанными назадъ руками; мы не знаемъ, на какихъ археологическихъ и историческихъ данныхъ онъ представленъ въ такомъ видѣ въ его положеніи. Малюта обвиняетъ его въ чародѣйствѣ. По слухамъ, противъ князя его холопъ; бояръ коробитъ отъ этого, но одинъ только Морозовъ

осмѣливается сказать за него слово, и за то царь приказалъ увести его вмѣстѣ съ Воротынскимъ. Царь предубѣжденъ противъ Воротынскаго, и никакія оправданія не помогаютъ. Прибѣгаетъ царица Анна Васильчикова—она воспитывалась въ домѣ Воротынскихъ; она теперь является заступницею за Михаила передъ царемъ. Грозный царь опалается на жену, напоминаетъ ей ея женскій полъ, не велитъ мѣшаться не въ свои дѣла. Вотъ возвращается Воротынскій со связанными руками; какимъ образомъ онъ могъ здѣсь явиться, когда его увели подъ стражею? Проговоривъ патетическую рѣчь, онъ уходитъ. Царь разыгрываетъ съ боярами обычную комедію Ивана Грознаго. Онъ грозитъ отказаться отъ престола, если недовольны его судомъ, и всѣ умоляютъ его остаться на престолѣ. Тутъ, между прочимъ, царь засматривается на Василису Мелентьеву, находившуюся въ числѣ прислужницъ, сопровождавшихъ царицу. Потомъ, когда всѣ разошлись, царь спрашиваетъ объ ней Малюту, кторый видитъ, что царю она полюбилась, а жена надоѣла. Весь этотъ актъ скорѣе могъ быть вполне умѣстнымъ прологомъ къ драмѣ, чѣмъ первымъ дѣйствіемъ драмы, но первая его половина, состоящая изъ сцены на площадкѣ, вообще несоразмѣрно велика и утомительна. Собственно драма начинается со второго дѣйствія. Анна Васильчикова съ нянею и потомъ съ Василисой Мелентьевою жалуется на судьбу свою и открываетъ Василисѣ, что до свадьбы съ царемъ она любила кого то, не назвавши его имени, но сказавши, что онъ умеръ. Такая откровенность и довѣрчивость совсѣмъ не умѣстны въ женщинѣ XVI вѣка въ томъ положеніи, въ какое поставлена Анна. Въ тѣ времена женщины вообще скрывали въ душѣ всякое свободное чувство, все, что такъ или иначе съ точки нравственнаго регоризма можно было перетолковать въ дурную сторону; самой давней задушевной подругѣ съ трудомъ повѣрила бы тогдашняя женщина тайну, которая могла навлечь на нее нерасположеніе мужа. Пронырство, скрытность, неоткровенность приросли къ ея натурѣ; и такъ же осторожно и скрытно должна была вести себя жена

Грозного, съ которымъ размолвка не могла окончиться какими нибудь пинками или волосотрепкою.

Василиса Мелентьева ничѣмъ не могла заслужить такой довѣрчивости. Природною искренностью души нельзя объяснить этого; жизнь сгибаетъ и направляетъ по своему всякую натуру, и намъ кажется, что въ Москвѣ ни въ какихъ боярскихъ палатахъ не могла вырасти и развить такимъ образомъ свой характеръ женщина умная и вмѣстѣ съ тѣмъ откровенная до крайности. Откровенность, какъ и скрытность, вырабатываются условіями жизни. Такимъ образомъ, неосторожная довѣрчивость Анны, эта добродушная болтовня, которая послужила автору вести далѣе нить своей драмы, невѣрна и психологически и исторически.

Входитъ Малюта-Скуратовъ. Его приходъ, повидимому, помѣшалъ Аннѣ высказаться до конца: такъ, по крайней мѣрѣ, говоритъ послѣ Мелентьева. Но если Анна до такой степени откровенна, то ни Мелентьевой ни Малютѣ не было надобности затѣвать того, что они затѣваютъ; можно было поступить проще: поставить Малюту гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ, а Мелентьевой начать снова съ Анной прежній прерванный разговоръ; боязливая царица высказалась бы до конца. Въ драмѣ Анна вступаетъ въ разговоръ съ Малютой, обличаетъ его въ злодѣйствахъ и даже отчасти грозитъ ему своимъ вліяніемъ на царя, потомъ уходитъ. Малюта озлобленъ противъ Анны, объясняетъ Мелентьевой, что царю она приглянулась, возбуждаетъ въ ней честолюбивыя надежды. Василиса объявляетъ ему о признаніи Анны въ прежней любви. Малюта ухватился за это. Но ни Мелентьева ни Малюта не знаютъ навѣрно, кто такой тотъ, кого любила Анна. Догадываются, что это долженъ быть сынъ Воротынскаго, убитый въ бою. Какъ удостовѣриться въ этомъ? Малюта хватается за няню Анны, допрашиваетъ ее; она не сознается ни въ чемъ; онъ даетъ знакъ—прибѣгаютъ люди и уносятъ старуху на пытку. Но этого мало для Малюты; онъ призываетъ Колычева; этотъ жилъ когда-то у Воротынскихъ, Малюта уговариваетъ его лжесвидѣтельствовать на Анну. Пылкій и безхарактерный,

но не злой по сердцу юноша сначала не хочет ни за что, тѣмъ болѣе, что онъ самъ не знаетъ ничего. Малюта объявляетъ объ этомъ Мелентьевой, а та велѣла оставить Колычева съ нею наединѣ. Василиса женскими ласками убѣдила Колычева отважиться на гнусное дѣло. Мелентьева увѣряетъ его, что царь разведется съ царицею, возьметъ себѣ другую, а его, Колычева, и ее, Мелентьеву, наградить, и она будетъ женою Колычева. Приходитъ Грозный къ Мелентьевой, и здѣсь начинается объясненіе. Это одна изъ удачныхъ сценъ, которыми такъ богата поэзія Островскаго, но мы осмѣливаемся замѣтить, что Василиса едва ли умѣстно высказалась Грозному, что она прежняго мужа не любила. Если въ Аннѣ трудно предполагать неосторожность, то ни въ какомъ случаѣ нельзя допустить ее въ Мелентьевой: въ XVI вѣкѣ не любить мужа значило преступленіе, и съ царемъ опасна была такая откровенность. Вдова, составивши себѣ планъ выйти замужъ, могла бы себѣ повредить, если-бъ тому, на кого мѣтила, сказала, что не любила прежняго мужа; первое, что вошло бы ему въ голову, была бы мысль: она и меня любить не будетъ; въ особенности это неумѣстно было сказать Ивану Грозному, который, кромѣ того, что былъ самодержавный царь, былъ еще подозрительный человѣкъ. Предки наши смотрѣли не совсѣмъ такъ, какъ мы, на брачную связь. Не любить мужа нельзя, потому что Богъ велитъ любить мужа, слѣдовательно, та — преступница, которая не любить мужа. Если-бъ даже Василиса была еще замужемъ, и царь за нею ухаживалъ, и тогда бы она не посмѣла сказать, что не любить мужа, а отдалась бы царю, сказавши, что дѣлаетъ поневолѣ; въ старой Московской Руси неволя была самымъ лучшимъ извиненіемъ, и въ этомъ отношеніи нельзя не вспомнить о сценѣ между волхвами и Грознымъ въ трагедіи Толстого. Тамъ царь пользуется волхвами, насколько ему нужно, а потомъ грозитъ имъ казнь по закону: это совершенно въ духѣ Ивана и вообще въ духѣ времени, и волхвы въ духѣ времени говорятъ ему, что дѣлали поневолѣ, по царскому приказанію. Это московское самоизви-

неніе дѣйствиємъ — поневолѣ очень рѣзко является въ поступкѣ Борисовыхъ воеводъ при самозванцѣ, которые, переходя на сторону проходимца, приказывали связывать себя, чтобъ имѣть благовидный предлогъ для успокоенія совѣсти, что они поступали поневолѣ. Иванъ рѣшительно хочетъ отдѣлаться отъ Анны, полюбивши Мелентьеву. Малюта объявилъ ему, что Анна любила до замужества, что онъ допрашивалъ объ этомъ няню, но та умерла подъ пыткою, ничего не сказавши. Царь Иванъ призываетъ Анну. Приказываетъ Колычеву послушествовать на нее. Колычевъ говоритъ только, что онъ слыхалъ отъ холопей, что Анна любила молодого княжича, а самъ навѣрно про то не знаетъ. Анна говоритъ, что этого не было, что она была бѣдная дворянка, и не осмѣлилась бы подумать о княжичѣ, и что если-бъ ей пришлось тогда гадать о замужествѣ съ ровнею, то развѣ съ Колычевымъ. Царь Иванъ бѣсится, прогоняетъ ее и объявляетъ, что она будетъ сидѣть въ заперти въ въ своемъ теремѣ. Потомъ царь подходитъ къ Колычеву и грозитъ воткнуть ему въ ногу остроконечный посохъ. Андрей стоитъ твердо, и это останавливаетъ Ивана, онъ видитъ въ немъ вѣрнаго и крѣпкаго слугу.

Казалось бы, цѣль Мелентьевой была достигнута. Нѣтъ. Царь не любитъ Анны, но не ссылаетъ ее въ монастырь, а оставляетъ ее въ теремѣ. Почему? Это не согласно ни съ историческимъ ни съ драматическимъ характеромъ Ивана. Не сталъ же историческій Иванъ церемониться съ Колтовскою, а какъ только она ему надоѣла, постригъ въ монастырь, да и дѣло съ концомъ! Развѣ потому онъ не рѣшился развязаться съ Анною, что не было явныхъ уликъ? Но, вѣдь, осудилъ же онъ въ первомъ дѣйствиіи разбираемой нами драмы Воротынскаго безъ явныхъ уликъ, слѣдовательно, и царь Иванъ Островскаго уже показалъ себя достаточно для того, чтобы не стѣсняться въ вопросѣ о разводѣ съ женою! Да, наконецъ, въ разговорѣ съ Малютой онъ уже говоритъ, что снова начинаетъ безбрачную жизнь. Правда, съ тѣмъ же Малютою онъ вспоминаетъ объ англійскомъ королѣ Генрихѣ XIII, казнившемъ своихъ женъ, и

замѣчаетъ, что не можетъ послѣдовать его примѣру, потому что это не въ обычаѣ, и онъ боится духовенства. Но развѣ царь Иванъ боялся духовенства? Развѣ не заключалъ противныхъ церкви браковъ и не заставлялъ духовенство разрѣшать ему то, чего оно не смѣло никому разрѣшить по церковнымъ законамъ? И развѣ поступокъ его съ митрополитомъ Филиппомъ не доказываетъ, до какой степени онъ считалъ себя вправѣ произвольно распоряжаться духовенствомъ. Оставленіе нелюбимой Анны кажется непонятнымъ; Иванъ дѣлалъ темный намекъ Малютѣ-Скуратову, какъ бы говоря ему: поймите мое желаніе, слуги мои, приберите ее! Этого не сталъ-бы дѣлать Иванъ. Убивать жены ему не было надобности, когда онъ могъ ее запрятать въ монастырь, а если бы ему заблагоразсудилось убить ее, онъ бы не задумался. Вѣдь, онъ отправилъ на тотъ свѣтъ Марію Долгорукую, когда ему вообразилось, что она до брака потеряла дѣвство. Какъ бы то ни было, но у Островскаго царь Иванъ оставляетъ въ теремѣ свою немилую, постылую жену, и Василиса возымѣла намѣреніе известить ее. Для этого она приглашаетъ Колычева, расточаетъ ему всевозможныя женскія прелести, и потомъ проситъ отравить царицу. Колычевъ сначала ужасается, а потомъ соглашается, и, въ свое утѣшеніе, стыдясь своей слабости, обѣщаетъ взять Василису въ руки, когда женится на ней, и заставить исполнять его волю.

Въ четвертомъ дѣйствіи совершается отравка царицы. Несчастливая Анна уже предчувствуетъ свою судьбу, и прямо говоритъ Мелентьевой, что ее изведутъ. Приходитъ Колычевъ съ кубкомъ питья отъ царя къ царицѣ. Анна напоминаетъ ему случай, когда она жила въ домѣ Воротынскихъ, гдѣ жилъ и Колычевъ, какъ она ему бросила вѣнокъ. Это тронуло Колычева. Анна догадывается, что ей не съ добра подносятъ чашу, и говоритъ ему: тутъ, вѣрно, зелье положено. Колычевъ восклицаетъ: „положено, царица, не пей“. Но царица рассчитываетъ, что все равно: коли не теперь, такъ послѣ, а ее изведутъ,—пьетъ и уходитъ за сцену и тотчасъ умираетъ. Мелентьева зоветъ прислужницъ

и объявляетъ имъ, что царица скончалась отъ угара. Намъ кажется, эта отравъ въ драмѣ не естественна, и не вяжется съ предыдущимъ, со всею обстановкою пьесы, съ характеромъ и положеніями лицъ.

Мы уже замѣтили, что Ивану не зачѣмъ было оставлять въ своемъ дворцѣ царицу, коли онъ ее не влюбилъ; но ужъ если онъ ее оставилъ, и Мелентьева задумала ее извести, то зачѣмъ было Мелентьевою прибѣгать къ помощи Колычева и дѣлать его соучастникомъ злодѣянія? Она была, по своему положенію, ближе къ царицѣ, чѣмъ Колычевъ, и имѣла полную возможность извести ее безъ него. Естественнѣе было бы Колычеву прибѣгнуть къ помощи Мелентьевой, если бъ извести думалъ царицу Колычевъ... Еще несообразнѣе съ правдою то, что, по совершеніи злодѣянія, она перемѣняетъ тонъ обращенія съ своимъ соучастникомъ, объявляетъ ему, что она будетъ царицей, а ему велитъ уѣзжать подальше. Такой пылкій, на все рѣшительный человѣкъ, какъ Колычевъ, развѣ не въ состояніи былъ побѣждать къ царю и объявить все, или же, въ порывѣ бѣшенства, вонзить злодѣйскъ ножъ въ сердце: именно сдѣлать то, что онъ сдѣлалъ въ послѣдствіи? Не такъ поступила бы хитрая злодѣйка, какова была Василиса, не взяла бы она слабовольнаго и горячаго товарища для своего чернаго дѣла. Мы притомъ остаемся въ недоразумѣніи: отъ кого эта чаша отравы? Не участвовалъ ли косвенно и царь въ этомъ злодѣяніи?

Въ пятомъ дѣйствіи Мелентьева уже заступила мѣсто отравленной Анны, но она больна, и видитъ привидѣніе. Тѣло покойной царицы отвезъ Колычевъ въ Суздаль на погребеніе и, воротившись, проситъ Малюту исходатайствовать ему у царя позволеніе идти въ монахи. Выходитъ царь съ докторомъ Бомеліемъ и совѣтуется съ нимъ о болѣзни Василисы. Бомелій говоритъ, что у нея *postambulatio*. Вотъ является Василиса блѣдная, испуганная; ей кажется, что ее по ночамъ беспокоитъ умершая царица Анна своимъ появленіемъ. Царь успокоиваетъ ее. Василиса начинаетъ обращаться съ царемъ безцеремонно и

нахально. Она приказываетъ ему укрыть ее, и когда онъ не находитъ ничего подъ рукою, она говоритъ: сними кафтанъ и укрой меня. Царь чувствуетъ, что она черезчуръ смѣла, и онъ не въ силахъ ей противиться, снимаетъ съ плечъ кафтанъ и укрываетъ ее. Ласкаясь къ царю, она проситъ, чтобъ онъ призналъ ее законною царицей. Царь обѣщаетъ. Она засыпаетъ при глазахъ царя. Царь любитъся ею. Вдругъ она во снѣ проговаривается, произноситъ имя: Андрюша, называетъ его: миленькій! это она бредитъ о Колычевѣ. Царь въ ярости будитъ ее; является Колычевъ; все обнаруживается, Василиса сознается въ отравленіи Анны, въ сношеніи съ Колычевымъ, котораго она обманула; Колычевъ въ присутствіи царя поражаетъ ее кинжаломъ. Царь похвалилъ Колычева, но замѣтилъ, что онъ слишкомъ хорошъ и кудреватъ, и опасно его оставить близко къ себѣ; онъ велитъ Малютѣ-Скуратову прибрать его подальше, хотя бы въ одинъ гробъ съ Василисою Мелентьевой. Этимъ кончается драма.

Все это дѣйствіе исполнено несообразностей; что значить видѣніе Василисы? Совѣсть ли пробудилась въ злодѣйкѣ? Но въ такомъ случаѣ пробужденіе совѣсти неразлучно съ раскаяніемъ, а раскаянья въ ней не видно ни капли. Сцена эта напоминаетъ леди Макбетъ. Но у Шекспира леди Макбетъ видитъ не призраки, созданные безпокойною совѣстью, она видитъ привидѣніе объективное, существующее внѣ ея мозга. Во времена Шекспира всѣ вѣровали въ явленія привидѣній; никто въ томъ не сомнѣвался; такъ точно явленіе Банко на пустомъ стулѣ во время пира вовсе не созданіе воображенія Макбета, а дѣйствительная душа Банко, преслѣдующая своего злодѣя. У Шекспира являющіеся убійцами мертвецы не создаются воображеніемъ вслѣдствіе пробужденія совѣсти, а приходятъ къ нимъ, для того чтобы пробудить спящую совѣсть. Такъ въ Ричардѣ III, въ ночь передъ роковою битвою, гдѣ долженъ пасть злодѣй, являются ему тѣни убитыхъ имъ и предсказываютъ ему гибель. Злодѣй просыпается и чувствуетъ, что совѣсть его заволновалась.

Мы считаемъ невозможнымъ, чтобы Василиса забредила о Колычевѣ. Вѣдь, она его не любила. Она употребляла его только, какъ орудіе своей интриги; съ какой же стати во снѣ такія къ нему нѣжности? Женщина съ такимъ адскимъ умѣньемъ овладѣвшая „ястребомъ стервятникомъ“, какъ самъ себя называемъ Иванъ, конечно, не могла быть столько слабой, чтобы, допустивъ къ своему злодѣянію соучастника, не постараться тотчасъ же избавиться отъ него, и потому вся послѣдняя сцена не возможна съ такимъ характеромъ, какой должна имѣть Василиса Мелентьева. Несмотря на эти кажущіеся намъ недостатки, новая пьеса не лишена многихъ достоинствъ, какими обладаютъ вообще произведенія Островскаго, но никакъ нельзя помѣстить ее въ числѣ лучшихъ драматическихъ произведеній талантливаго писателя, не только вообще, но и въ ряду тѣхъ, для которыхъ г. Островскій бралъ сюжеты изъ старой русской исторіи и стараго быта; такимъ образомъ, если она превосходитъ *Тушино*, то гораздо ниже *Воеводы* и *Димитрія самозванца* и *Василія Шуйскаго*! Здѣсь, видимо, пожертвовано и естественностью и историческою вѣрностью сценическимъ эффектамъ; „Василиса Мелентьева“ напоминаетъ тѣ безчисленныя драмы французскаго театра, которыя такъ прельщали публику въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ, удовлетворяя потребности временнаго развлеченія, и скоро забывались, смѣняемыя другими, также недолговѣчными. Отъ пера Островскаго, мы привыкли надѣяться лучшаго, и загадочныя звѣздочки, означающія какого-то сотрудника г. Островскаго, побуждаютъ насъ подозрѣвать: не этому ли новому въ литературной дѣятельности Островскаго раздѣленію труда надобно приписывать крупные недостатки разбираемой нами драмы?

Изъ „Новаго Времени“ за 1868 г.

* * *

*) Послѣ новаго года каждая изъ нашихъ драматическихъ сценъ дала намъ по одной новой пьесѣ. Во главѣ ихъ, по

*) „Русскій Инвалидъ“ 1868 г., № 12. („Василиса Мелентьева“). Статья W.

интересу, стоитъ, конечно, драма гг. Островскаго и *** „Василиса Мелентьева“, которой предшествовало въ публикѣ такъ много толковъ, что она въ первое представленіе доставила бенефицианту, г. Григорьеву, отличный сборъ въ Маріинскомъ театрѣ. Первоначально ее предполагалось озаглавить: „Шестой бракъ Іоанна Грознаго“, но потомъ авторы предпочли назвать ее именемъ героини. Василиса Мелентьева не въ первый разъ уже является въ нашей литературѣ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ драмы. Кромѣ пьесы г. Аверкіева — „Слобода-Неволя“, напечатанной во *Всемирномъ Трудѣ*, она должна была сдѣлаться героинею драмы покойнаго Л. А. Мея, который успѣлъ набросать только общій планъ ея и написать прологъ. Даровитый поэтъ, подарившій намъ другую прекрасную драму изъ временъ Іоанна Грознаго „Псковитянка“ — хотѣлъ, какъ намъ сообщилъ одинъ изъ близкихъ его пріятелей, слить во-едино довольно скудныя лѣтописныя сказанія о честолюбивой Василисѣ Мелентьевой, задумавшей выдти за царя, но сдѣлавшейся только *полу-женою* его, — съ народною легендою объ атаманшѣ разбойниковъ Василисѣ, бывшей во главѣ большой шайки, которая образовалась съ цѣлію грабить ненавистныхъ ей опричниковъ и жечь ихъ имущества. Легенда гласитъ, что царь велѣлъ схватить Василису во что бы ни стало и казнить четвертованіемъ, но, увидѣвъ эту красивую женщину на лобномъ мѣстѣ, положилъ гнѣвъ на милость, и отправилъ ее въ одну изъ своихъ слободъ. Не изъ чего не видно, чтобы эта энергическая по характеру Василиса и поименованная въ лѣтописяхъ Василиса Мелентьева была однимъ и тѣмъ же лицомъ, но покойный писатель, по праву поэта, сдѣлалъ женою Грознаго именно ту Василису, о которой говорится въ легендѣ. Въ новой же драмѣ г. Островскаго и сотрудника его, не выставившаго на афишѣ свое имя, главнымъ дѣйствующимъ лицомъ является хитрая и пронырливая вдова Василиса Мелентьева, поступающая сперва въ теремъ царицы Анны Васильчиковой, а потомъ едва не дѣлающаяся царицею.

Характеръ этой русской, до-петровской лэди Макбетъ,

обрисованъ въ пьесѣ весьма рельефно, и одинъ могъ бы доставить успѣхъ драмѣ, если бы былъ воспроизведенъ на сценѣ какою-нибудь первоклассною актрисою. Къ сожалѣнію, далеко неудовлетворительное исполненіе этой великолѣпной роли г-жею Владимировой, которая не столько говорила въ теченіе всей пьесы, сколько распѣвала речитативы, а съ другой стороны и то обстоятельство, что самая эпоха, выбранная авторами, нѣсколько пріѣлась ужъ нашей публикѣ, послѣ многократныхъ представленій трагедіи графа Толстого, къ которой присоединился еще „Опричникъ“ г. Лажечникова,—было виною того, что публика отнеслась къ новой драмѣ своего любимаго драматурга очень холодно и только по окончаніи ея, какъ бы спохватившись, стала вызывать и его и исполнителей. „Василиса Мелентьева“—пьеса во всякомъ случаѣ сценическая, а къ тому же написана весьма литературно, но страдаетъ важнымъ недостаткомъ—излишнею мелодраматичностью послѣднихъ двухъ актовъ, которые носятъ на себѣ несомнѣнные признаки вліянія французской школы, основанной на сильныхъ эффектахъ (*coups de théâtre*). Съ другой стороны, эта излишняя мелодраматичность въ концѣ пьесы представляетъ довольно рѣзкій контрастъ съ вялостью дѣйствія въ началѣ ея, и потому въ результатѣ выходитъ недостатокъ гармоніи, который охлаждаетъ зрителя. Многіе находятъ, что личность Іоанна обрисована въ новой драмѣ г. Островскаго вѣрнѣе, чѣмъ въ трагедіи графа Толстого; намъ кажется однако, что въ послѣдней изъ этихъ пьесъ она выступаетъ гораздо ярче и выпуклѣе, уже потому, что авторъ придалъ характеру болѣе широкое развитіе.

Впрочемъ, разрѣшеніе этого вопроса мы предоставляемъ лицамъ, болѣе насъ компетентнымъ въ исторіи. Г. Островскій выставилъ Іоанна счастливымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ же-стокимъ, какимъ онъ и былъ послѣ того, какъ вышелъ изъ подъ благотворнаго вліянія Сильвестра и Адашева,—и, съ этой стороны, обрисовка характера вполне удалась писателю, но главнымъ дѣйствующимъ лицомъ въ драмѣ все-таки является не онъ, а красавица Василиса Мелентьева,

сумѣвшая приворожить къ себѣ суроваго царя, и не пре-
небрегающая никакими средствами для того, чтобы осу-
ществить завѣтную мечту свою—сдѣлаться царицей. Во
второмъ актѣ есть прекрасная сцена, въ которой она ко-
кетничаетъ съ царемъ и заставляетъ его прямо высказать,
что отъ нея одной зависитъ, быть ли ей царицею или
нѣтъ. Сцена эта—настоящій капиталъ для хорошей актри-
сы—могла бы произвести фуроръ, но вслѣдствіе пѣвучести
г-жи Владимировой едва обратила на себя вниманіе...

Изъ „Русскаго Инвалида.“ Статья W.

* * *

*) Съ особеннымъ удовольствіемъ заносимъ мы въ те-
атральную хронику успѣхъ *Василисы Мелентьевой*. Мы ра-
дуемся вдвойнѣ появленію и успѣху этой драмы: во-первыхъ,
потому, что настоящій сезонъ не богатъ хорошими пьесами,
во-вторыхъ, потому, что это есть произведеніе г. Остров-
скаго, къ которому московская публика съ нѣкоторыхъ
поръ какъ будто нѣсколько охладѣла... Прежде чѣмъ го-
ворить о самой драмѣ, мы считаемъ нелишнимъ коснуться
въ нѣсколькихъ словахъ драматургической дѣятельности
г. Островскаго за послѣднее время.

Г. Островскій создалъ цѣлый репертуаръ. Рядъ прекрас-
ныхъ бытовыхъ пьесъ доставилъ ему блистательное и проч-
ное положеніе въ нашей литературѣ. Съ особенною яркостью
выказался его талантъ въ изображеніи купеческой среды.
Эта среда доставила ему между прочимъ матерьялъ для
самаго глубокаго и поэтическаго его произведенія, для *Грозы*,
показавшей, что г. Островскій способенъ создать русскую,
бытовую драму, въ настоящемъ значеніи этого слова. Мы
говоримъ въ настоящемъ значеніи потому, что оригиналь-
ныя пьесы, являвшіяся на нашей сценѣ до *Грозы* и теперь
еще продолжающія являться, порою даже не безъ успѣха,
не удовлетворяютъ ни одному изъ тѣхъ условій, которыхъ
разумная критика должна требовать отъ драмы. *Гроза*,

*) „Антрактъ“ 1868 г., № 2. (Драматическая дѣятельность Островскаго и
„Василиса Мелентьева“). Статья А. Плещеева.

обошедшая всю Россію, игравшаяся на всѣхъ провинціальныхъ сценахъ, повсюду встрѣчала необыкновенное сочувствіе. Поэтическая прелесть этого созданія неотразима и равно обаятельно дѣйствуетъ какъ на развитого, знакомаго съ геніальными произведеніями западныхъ драматурговъ зрителя, такъ и на простыя, непосредственныя натуры, которымъ внутреннее чутье подсказываетъ, что хорошо и гдѣ правда. Ни одно женское лицо, созданное г. Островскимъ (а на созданіе женскихъ лицъ онъ большой мастеръ) не возбуждало такой симпатіи, какъ Катерина. Не даромъ каждая дебютантка, чувствуя въ себѣ призваніе къ исполненію драматическихъ ролей, непременно пробуетъ себя въ *Грозы*. Дебютантки очень хорошо сознаютъ, что сыграть хорошо роль Катерины, въ высшей степени трудную, значитъ завоевать себѣ сразу дипломъ на талантливую артистку. Всѣ цѣнящіе талантъ г. Островскаго вправдѣ были надѣяться, что послѣ успѣха *Грозы* онъ посвятитъ талантъ свой исключительно бытовой драмѣ. Но надежды эти, къ несчастію, не сбылись. Хотя г. Островскій и написалъ потомъ еще *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*, пьесу, также исполненную весьма крупныхъ достоинствъ, но затѣмъ совершенно неожиданно повернулъ на иной путь. Онъ обратился къ исторической почвѣ и, за исключеніемъ *Воеводы*, пьесы, изобилующей мастерскими бытовыми чертами, но довольно мелкой по основному мотиву (борьба земства съ тогдашней администраціей является только въ прологѣ и дальнѣйшаго развитія мотиву этому не дано; вся пьеса вертится на любовной интригѣ довольно рутиннаго свойства), сталъ писать такъ называемыя историческія хроники. Явились *Мининъ*, *Дмитрій Самозванецъ*, *Тушино*... говорили, что за пьесой *Самозванецъ* послѣдуетъ царь *Василій Ивановичъ Шуйскій* и что г. Островскій намѣренъ создать цѣлый циклъ историческихъ хроникъ... Примѣръ г. Островскаго не замедлилъ найти подражателей. *Мамаево побоище* и проч. служатъ тому доказательствомъ. Но хроники г. Островскаго принимались далеко не такъ, какъ его прежнія пьесы. *Мининъ* и *Тушино* упали. *Дмитрій Самозванецъ* хотя и вы-

держалъ довольно много представленій, но едва ли надолго удержится въ репертуарѣ. Какая же тому причина? Въ талантѣ ли г. Островскаго замѣчается упадокъ, или публика несочувственно относится къ самому роду этихъ произведеній?..» (Далѣе идетъ рѣчь о германской драматической литературѣ).

„Возвращаясь къ дѣятельности г. Островскаго, мы скажемъ, что слабый (относительно) успѣхъ его послѣднихъ произведеній мы никакъ не позволимъ себѣ отнести къ упадку его таланта, чтобы ни говорили литературные противники его, которые доходятъ иногда до того, что отрицаютъ у него даже хорошій стихъ; мы думаемъ скорѣе, что виною этого слабаго успѣха самый родъ произведеній, избранный имъ въ послѣднее время. Историческія хроники, какъ бы онѣ талантливо ни были написаны, скучны на сценѣ. Г. Островскій уклонился отъ своего настоящаго призванія. Онъ писатель по преимуществу бытовой. А въ хроникахъ бытовой сторонѣ дается слишкомъ мало мѣста. Попадающіяся изрѣдка бытовья черты въ хроникахъ г. Островскаго составляютъ въ нихъ лучшее. Кромѣ того, г. Островскій мастеръ изображать женскіе типы; но всѣмъ извѣстно, какую ничтожную роль играютъ женщины въ русской исторіи; стало быть, и въ этомъ отношеніи хроника не даетъ простору г. Островскому. Нельзя, впрочемъ, сдѣлать ему упрека въ спѣшности работы, замѣчаемой въ нѣкоторыхъ его произведеніяхъ. Спѣшность эта и прежде проглядывала въ тѣхъ пьесахъ, которыя онъ писалъ, что называется между дѣломъ (напр., *Пучина*), и дала обильную пищу для нападокъ его противникамъ. Въ *Тушино* спѣшность эта въ особенности бросается въ глаза. Въ пьесѣ этой есть прекрасные драматическіе мотивы, которые остались совершенно неразработанными и заслонены внѣшними событіями, т. е. собственно исторіей. Такъ какъ *Тушино*—хроника, то авторъ ея пожертвовалъ въ ней драматической стороною, которая одна только и могла бы сообщить интересъ пьесѣ, будучи выдвинута на первый планъ.

Намъ приходилось иногда слышать мнѣніе, что всѣ эти

хроники не больше, какъ подготовительная работа къ русской исторической драмѣ. Но мы никакъ не можемъ допустить, чтобы г. Островскій, написавшій *Грозу* и *Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ*, выработавшій такой превосходный языкъ и до такой степени знакомый съ русскимъ историческимъ бытомъ, нуждался еще въ какой-то особенной подготовкѣ. Мы говорили себѣ: если ужъ г. Островскій совершенно отвернулся отъ современной дѣйствительности и погрузился въ изученіе прошедшаго, то нельзя не пожелать, чтобъ онъ, по крайней мѣрѣ, принялся за историческую драму и покончилъ съ этими хрониками. Теперь же ланія наши сбылись, и мы душевно порадовались, увидѣвъ, наконецъ, на афишѣ, что г. Островскій, хотя и въ сотрудничествѣ съ другимъ лицомъ, дѣйствительно написалъ драму.

О Василисѣ Мелентьевой, шестой женѣ Грознаго, въ исторіи не говорится почти ничего. Извѣстно только, что онъ не былъ вѣнчанъ съ ней, а просто взялъ молитву на сожительство. Стало быть, авторской фантазіи предстоялъ здѣсь полный просторъ, и дѣйствительно, хотя фонъ картины, на которомъ рисуются фигуры Грознаго, Малюты и др., историческій, но то, что составляетъ главную суть, т. е. дѣйствіе, интрига, характеры героини и любовника ея, принадлежать чисто вымыслу. Пьеса эта, исполненная движенія, интереса, не ослабѣвающего до конца, заключаетъ въ себѣ множество прелестныхъ, поэтическихъ подробностей, мѣткихъ типическихъ чертъ, характеризующихъ эпоху, вѣрныхъ психологическихъ движеній, но въ то же время не чужда и довольно значительныхъ недостатковъ. Василиса Мелентьева вдова, изъ прислужницъ царицы, путемъ разныхъ происковъ, интриги и преступленія, при пособничествѣ влюбленнаго въ нее бѣднаго дворянина Колычева, достигаетъ того, что становится подругой царя; но не успѣвъ еще вполнѣ насладиться всѣми почестями, сопряженными съ ея высокимъ положеніемъ и составлявшими завѣтную мечту ея, гибнетъ подъ ножомъ любовника, котораго она постоянно обманывала. Вотъ въ короткихъ словахъ содержаніе пьесы.

Драмою въ строгомъ, настоящемъ смыслѣ этого слова мы не назовемъ *Василисы Мелентьевой*. Въ основаніи каждой драмы, исторической или не исторической—все равно, должна непременно лежать борьба. Это составляетъ, какъ извѣстно каждому, существенное отличіе ея отъ всѣхъ другихъ родовъ литературныхъ произведеній, эпоса и лирики. Она можетъ быть или драмою внѣшнихъ отношеній, гдѣ личность вступаетъ въ борьбу съ объективной необходимостью, выражающейся въ неколебимомъ общественномъ строѣ, съ гнетомъ внѣшняго міра; или драмой страстей, гдѣ страсть борется съ страстью, человѣкъ съ человѣкомъ, и гдѣ герой, если гибнетъ, то не жертвой враждебной среды, а вслѣдствіе слабостей и недостатковъ своей природы, какъ, напр., Гамлетъ;—или, наконецъ, драмой идеи, гдѣ противоположности, составляющія трагическую коллизію, лежатъ въ законахъ развитія человѣчества, гдѣ дѣло идетъ уже не о борьбѣ страсти со страстью, но о борьбѣ міровыхъ принциповъ. Это высшій родъ драмы, потому что здѣсь долженъ уже исчезнуть всякій слѣдъ случайности и произвола. Не говоримъ уже о послѣднемъ родѣ, который и въ западной литературѣ не имѣетъ достойныхъ представителей, за исключеніемъ творцовъ *Юлія Цезаря* и *Фауста*, и образцомъ котораго можетъ служить *Антигона* Софокла; но и такія произведенія, которыя можно было бы причислить къ первымъ двумъ родамъ, появляются на русской сценѣ слишкомъ рѣдко (опять приходится упомянуть только *Грозу*, да *Грѣхъ да бѣда*). Намъ кажется, что и *Василису Мелентьеву* нельзя отнести вполне ни къ одному изъ трехъ родовъ, хотя въ ней есть много элементовъ для драмы страстей. Отношенія героини къ Колычеву не довольно выяснены и развиты. А эти то отношенія, на которыхъ все вертится въ пьесѣ, и могли бы дать матеріалъ для настоящей драмы. Борьба любви героини къ Колычеву съ властолюбіемъ—вотъ мотивъ, который какъ бы самъ напрашивался въ основаніе драмы. Въ этой неопредѣленности отношеній, по нашему мнѣнію, и заключается существенный недостатокъ пьесы. Въ продолженіе всей пьесы вы не можете себѣ

дать отчета, любить ли Василиса Колычева, или онъ только нуженъ ей, какъ орудіе ея честолюбивыхъ помысловъ; обращеніе ея съ нимъ становится ласково только тогда, когда ей нужно воспользоваться его услугами. Она знаетъ, что эти ласки способны подвинуть его на все, и не жалѣетъ ихъ въ тѣ рѣшительныя минуты, когда она видитъ, что нужно ловить удобный случай для достиженія цѣли. Борьбы мы рѣшительно въ ней не замѣчаемъ; о любви къ Колычеву, о счастья отдаться любимому человѣку, жить подлѣ него — нѣтъ ни единого слова во всѣхъ ея монологахъ, въ которыхъ должны разоблачаться ея душевные, сокровеннѣйшіе помыслы. Желаніе быть царицей поглощаетъ, кажется, все существо ея.

Она мечтаетъ о томъ, какъ величава будетъ ея поступь, какъ гордъ и презрителенъ ея взглядъ, какъ будутъ пресмыкаться у ногъ ея всѣ эти бояре, унижавшіе и оскорблявшіе ее своей спесью... Потому то насъ и поражаетъ странной неожиданностью то, что она говоритъ въ пятомъ актѣ во снѣ. (Замѣтимъ мимоходомъ, что мы никакъ не можемъ одобрить этотъ мелодраматическій приѣмъ: заставлятъ лицо во снѣ открывать свои тайны). Она высказываетъ въ бреду свою любовь къ Колычеву и проситъ у него прощенья. Она говоритъ, что ей захотѣлось быть царицей, и что только это заставило ее броситься въ объятія старика, нелюбимаго ею. Конечно, могло быть и такъ, что она прежде не любила Колычева вовсе, и приблизила его къ себѣ только для того, чтобы имѣть въ немъ пособника, не достигши же своихъ цѣлей, вдругъ почувствовала къ нему сожалѣніе, почувствовала раскаяніе въ томъ, что заставила его сдѣлать, изъ любви къ ней, не одно преступленіе, и обманула его... и любовь внезапно зародилась въ сердцѣ ея. Это даже могло бы быть тѣмъ естественнѣе, что, сдѣлавшись царицей, добившись власти, она увидѣла, что одна власть не можетъ наполнить всего существа человѣка, и въ молодой натурѣ ея проснулась потребность привязанности, потребность, которой не заглушишь ничѣмъ, никакими почестями. Но все это только предположеніе.

Авторы не показали намъ, каковы были прежнія отношенія ея къ Колычеву, когда она не проникла еще въ царскія палаты. Мы не знаемъ, таились ли въ ней уже и тогда честолюбивые замыслы, или они родились внезапно, подъ вліяніемъ брошеннаго на нее Грознымъ распаленнаго чувственностью взгляда.

Нѣсколькихъ словъ, сказанныхъ Василисой во снѣ, намъ недостаточно для того, чтобы высказанное выше предположеніе мы могли счесть за нѣчто достовѣрное. Въ продолженіе всей пьесы она является существомъ совершенно холоднымъ.

Ошибемся ли мы, если предположимъ, что и здѣсь нѣкоторая спѣшность работы помѣшала авторамъ вполне развить затронутые ими драматическіе мотивы? Мы сказали выше, что пьеса изобилуетъ прекрасными частностями. Въ особенности можно указать на разговоръ Василисы съ Грознымъ, во второмъ актѣ, на монологъ Василисы подъ окномъ, на сцену царицы съ Малютой и разговоръ ея съ Колычевымъ передъ отравленіемъ, когда она напоминаетъ ему о прошломъ, наконецъ, на сцену пятаго акта между Грознымъ и засыпающей Василисой. Все это такія мѣста, которыя носятъ на себѣ отпечатокъ сильнаго, художественнаго таланта. Въ изображеніи личности Василисы вообще виденъ необыкновенно смѣлый и широкій размахъ кисти. Грозный, являющійся здѣсь съ совершенно новой стороны, въ своихъ домашнихъ отношеніяхъ къ женѣ и приближеннымъ, также, по нашему мнѣнію, вышелъ лицомъ чрезвычайно жизненнымъ. Авторамъ предстояла большая трудность не опошлить этой, хотя и отталкивающей, но все таки грандіозной фигуры. Одна черта лишняя — и Грозный въ любовныхъ сценахъ съ Василисой могъ бы выйти тривіальнымъ, похожимъ на тѣхъ влюбленныхъ деспотовъ-стариковъ, которыми изобилуютъ всякія драмы, и пожалуй-бы даже возбудилъ смѣхъ (Грозный, возбуждающій смѣхъ!). Но авторы сумѣли мастерски выйти изъ затрудненія. Грозный въ ихъ пьесѣ не утратилъ ни исторической ни художественной правды. Нельзя не указать въ

особенности на нѣкоторыя черты, столько же вѣрныя въ психологическомъ отношеніи, сколько и характеристичныя. Такъ, напр., почувствовавъ влеченіе къ Василисѣ и упрямая себя въ томъ, что онъ опять поддается грѣху, тогда какъ думалъ, что совсѣмъ покончилъ съ плотью, онъ оканчиваетъ свой монологъ словами: „Вѣдь, не завтра еще страшный судъ. Будетъ время покаяться“. Потомъ эти слова, обращенныя къ Малютѣ—„Я не люблю кощунствовать трезвый“, и, наконецъ, его монологъ надъ спящей Василисой, гдѣ онъ вспоминаетъ свою жену Анастасію, еобщаетъ этому лицу необыкновенную жизненность. — Личность царицы Анны Васильчиковой весьма симпатична, что также дѣлаетъ честь таланту авторовъ; потому что этотъ пассивный характеръ могъ легко подъ перомъ менѣе даровитымъ напомнить тѣ ноющія и стонущія личности забытыхъ и покорныхъ героинь, которыя тоже слишкомъ часто встрѣчаются въ нашей литературѣ. Авторы придали ей нѣкоторыя вспышки возмущеннаго человѣческаго достоинства, проявляющагося въ сценахъ съ Малютой и Василисой, и въ то же время освѣтили ее какимъ-то поэтическимъ колоритомъ тихой задумчивости. Насъ невольно влечетъ къ себѣ эта женщина, когда-то мечтавшая о блаженствѣ тихой семейной жизни, о безграничной преданности любимаго человѣка, который бы нѣжилъ и холилъ ее, и пропавшая, благодаря счастливой, по мнѣнію вѣроятно всѣхъ ея подругъ и близкихъ, случайности и прихоти царской; эта голубка, бьющаяся и трепещущая въ когтяхъ коршуна... Намъ нравится эта женская вспыльчивость, эта неосторожность, съ которой Василиса раздражаетъ суроваго Малюту, „царскаго пса“, какъ онъ себя называетъ, не понимая, что въ его власти погубить ее. Все это черты какъ нельзя болѣе вѣрныя и чисто женскія. Слабѣ другихъ выпелъ Колычевъ. Одна только сильная, не знающая предѣловъ страсть можетъ сдѣлать человѣка до такой степени слѣпымъ и подвинуть его на всякое преступленіе, на ложный доносъ и на убійство. То, что ему рассказываетъ Василиса о своихъ планахъ во второмъ актѣ, слишкомъ несбыточно,

чтобъ человѣкъ здравомыслящій могъ тому поддаться и не замѣтилъ, что Василиса хитритъ: она говоритъ ему, что нравится царю и что развести его съ царицей, которая ему надоѣла, нужно для того, чтобы онъ поскорѣй женился на другой и пересталъ смотрѣть на Василису. Мы сказали, что только сильная, неодолимая, жгучая страсть можетъ побудить человѣка забыть совѣсть и заставить его вѣрить такимъ вещамъ въ надеждѣ получить за это въ награду обладаніе любимой женщиной; а между тѣмъ — страстности — то именно и лишенъ Колычевъ, являющійся въ драмѣ скорѣй какимъ-то простачкомъ, безпрестанно впадающимъ въ чувствительность. На одно только мѣсто въ этой роли, психологически вѣрное, можемъ мы указать — это именно, когда Колычевъ, согласившись отравить царицу, говоритъ Василисѣ, что ужъ послѣ этого она будетъ его рабой и что онъ заставитъ ее дѣлать все, что ему угодно. Эта черта мастерская. Еще забыли мы упомянуть объ одномъ прекрасномъ моментѣ въ пьесѣ, когда Василиса ждетъ Колычева. Это единственное мѣсто, гдѣ въ Василисѣ пробуждается человѣческое чувство, гдѣ она борется съ собою. Промедли Колычевъ еще минуту, и она бросилась бы къ ногамъ царицы и покаялась бы ей въ своемъ злодѣйскомъ умыслѣ.

Мы сказали уже, что драма ведена очень умно и живо. Сценарій, начиная со второго акта, обдуманъ превосходно. Но первый актъ, вовсе не ведущій къ дѣлу, крайне длиненъ и утомителенъ. Намъ кажется, что авторы лучше бы поступили, нѣсколько подробнѣе познакомивъ зрителя съ отношеніями Василисы къ Колычеву. Вся эта рѣчь Грознаго о политикѣ могла бы быть выпущена, и пьеса бы только выиграла отъ этого. То же можно сказать о разговорахъ бояръ и выходкахъ шута. Очевидно, что авторамъ нужна была вся сцена въ думѣ лишь для того, чтобы вывести царицу и Василису, и чтобы послѣдними словами Грознаго, которыми заканчивается та сцена, заинтересовать зрителя къ дальнѣйшему ходу пьесы. Но мы считаемъ эту экспозицію не совсѣмъ удачною, потому что тутъ глав-

ную роль играютъ лица, не имѣющія никакого дальнѣйшаго отношенія къ драмѣ. И къ характеристикѣ Грознаго эта сцена прибавляетъ мало. Просмотрѣвъ первый актъ и услышавъ со всѣхъ сторонъ въ залѣ восклицанія: „скучно! опять эти историческія пьесы“, мы было убоялись за успѣхъ *Василисы Мелентьевой*. Но, къ счастью, наши опасенія не оправдались. Успѣхъ былъ полный и — скажемъ не обинуясь — каковы бы ни были недостатки пьесы, вполне заслуженный. Не часто приходится намъ видѣть на нашей сценѣ пьесы, столь богатые поэтическими красотами, написанныя такимъ, поистинѣ мастерскимъ языкомъ. Намъ очень жаль, что мы не имѣемъ подъ рукой этой драмы, и не можемъ подкрѣпить наше мнѣніе выписками. Мы привели бы, напримѣръ, хоть то мѣсто, когда Василиса назначаетъ Колычеву придти на свиданіе, обѣщая сама провести его въ теремъ. Желательно, чтобы противники г. Островскаго указали намъ, у кого изъ современныхъ нашихъ писателей, воспроизводящихъ нашъ историческій бытъ, можно найти стихъ — болѣе поэтическій, оборотъ рѣчи — болѣе русскій...

А. Плещеевъ.

„Свои люди — сочтемся“. Комедія въ четырехъ дѣйствіяхъ.

Въ публичной лекціи профессора Селина, читанной въ 1868 году, комедія Островскаго „Свои люди — сочтемся“ разбирается въ связи съ комедіей Фонъ-Визина „Бригадиръ“. Вотъ что, между прочимъ, Селинъ говоритъ:

*) „Рядомъ съ первой комедіей Фонъ-Визина мы ставимъ первую комедію Островскаго, потому что она — *Бригадиръ* XIX столѣтія, только изъ другой среды, гдѣ *бригадиръ* является опять передъ нами, но уже въ другомъ лицѣ.

Въ 1850 году въ мартовской книжкѣ журнала „*Москвитянинъ*“ появилась оригинальная комедія (такъ обозначилъ ее самъ авторъ): „Свои люди — сочтемся“. Мы будемъ дер-

*) Профессоръ Селинъ. „Университетскія (Кіевскія) Извѣстія“ 1868 г., № 8.

жаться этого перваго изданія, потому что въ немъ фантазія художника свободнѣе; въ комедіи втораго изданія есть пропуски, измѣненія, не большія, но важныя, такъ что строгій критикъ, пожалуй, назоветъ ихъ искаженіемъ прежняго текста; съ другой стороны, есть прибавленія, ограждающія автора отъ критики. А конецъ комедіи измѣненъ до такой степени, что первоначальная идея автора совсѣмъ исчезла, хотя и въ первомъ изданіи эта идея высказана не съ совершенною ясностью и выражена не вполне художественно. Она весьма легко можетъ ускользнуть отъ вниманія читателей, и потому на нее не только необходимо указать, но придется и объяснить ее. Глубоко сочувствуете вы блестяще-гражданской мысли автора и искренне сожалеете, что ему не удалось выразить ее во всей силѣ и полнотѣ. Невольно подумаете, что авторъ какъ будто рассчитывалъ и на тонкій вкусъ читателей и на глубокое пониманіе актера, на искусство его — въ одушевленномъ представленіи выразить эту мысль съ большею ясностью. Разстояніе по времени между комедіями почти сто лѣтъ; насколько же подвинулось впередъ русское общество отъ 1764 года до 1850 года? При сравненіи комедіи мы должны показать, что сфера средняя, купеческая, представленная въ комедіи Островскаго, въ наше время стала тѣмъ, чѣмъ была въ XVIII вѣкѣ высшая общественная среда, сословіе дворянское, изображенное въ комедіи Фонъ-Визина. Во второмъ нашемъ положеніи было сказано: чѣмъ были иноземцы, особенно французы, для лицъ „Бригадира“, для высшей общественной среды XVIII вѣка, тѣмъ стали наши подражатели дворяне для средняго сословія XIX столѣтія. Какъ эти, такъ и послѣднія два положенія — о тождествѣ идей обоихъ авторовъ и о новомъ началѣ въ комедіи Островскаго — выяснены будутъ въ самомъ изложеніи сравнительно-критическаго разбора.

Стремленіе автора комедіи: „Свои люди — сочтемся“ то же самое, что и у Фонъ-Визина; касается оно только другаго сословнаго круга — *отвлечь и освободить среднее русское общество отъ предразсудковъ до-Петровской Руси, и*

точно также двумя путями: осмѣяніемъ тѣхъ, которые, при старыхъ предразсудкахъ, остаются въ отжившихъ, мертвыхъ формахъ, и тѣхъ, которые переняли дурное иностранное изъ другихъ рукъ или, лучше, у русскихъ—французовъ, и стараются походить на дворянъ наружно, съ виду, но не усвоили сущности, внутренняго образовательнаго начала. Мы видѣли, какъ непонятно для бригадирши, что сынъ ея отваживается братья не за свое дѣло, самъ выбираетъ себѣ невѣсту; въ высшей средѣ эти воззрѣнія уже вымерли; но они не потеряли еще силы въ среднемъ словіи. Такъ смотритъ на свою дочь купецъ Большовъ: за кого велитъ онъ, за того она и должна пойти. И стряпчій Сысой Псоичъ узаконяетъ этотъ до-Петровскій обычай: „не нами заведено, не нами и кончится; а ужъ это первый долгъ, чтобы дѣти слушались родителей“, разумѣется, чтобы не сами выбирали жениха или невѣсту, а чтобы принимали ихъ изъ отцовскихъ рукъ. Нововоспитанная Олимпіада Самсоновна въ глаза бранитъ свою мать за отвратительныя понятія и объявляетъ ей наотрѣзъ, что вовсе не намѣрена потакать ея глупостямъ. Эта образованная купеческая дочь, рѣшаясь выйти за приказчика, хочетъ, по крайней мѣрѣ, что-нибудь сдѣлать *по-благородному*, предлагаетъ жениху увезти ее потихоньку, потому что *такъ дѣлаютъ*. Отца ея посадили въ яму; мать плачетъ, что на старости лѣтъ мужъ оставилъ ее сиротою; а современная дочь упрекаетъ ее, съ чего-де мать взяла плакать точно по покойникѣ, и, вѣдь, не Богъ знаетъ что случилось; и павшему, убитому отцу, котораго прежде такъ боялась, съ невозмутимымъ безсердечіемъ говоритъ: „что-жъ, тятенька, сидятъ и получше насъ съ вами!“ Другіе, представители старой Руси, живо переносятъ читателя къ *совѣтнику* въ „Бригадирѣ“: они не ѣдятъ по постамъ скоромнаго, и въ то же самое время эти постники - сухоядцы, по замѣчанію Большова, и Богу-то угодить на чужой счетъ норовятъ, одной рукой крестятся, а другой въ чужую пазуху лѣзутъ.

Обѣ комедіи точно также родственны и по основной идеѣ, но различіе ихъ состоитъ, во-первыхъ, въ самомъ духѣ

изображенія: у Фонъ-Визина замѣчаете стремленіе представить нелѣпости въ возможно смѣшномъ видѣ; комедія Островскаго начинается тоже смѣхомъ, но этотъ смѣхъ переходитъ въ голосъ грознаго суда, возстающій во всеоружіи искусства на пораженіе беззаконія. Другая разница комедій—та, что у Фонъ-Визина раскрыта больше одна сторона, и притомъ смѣшная, а на другую, болѣе серьезную, только указано; у Островскаго исчерпаны двѣ задачи: ложнопонятое, привратное воспитаніе, т. е. неразумное, слѣпое подражаніе русскимъ французамъ, дворянамъ, то же презрѣніе къ національному, къ своему родному, и другая задача—злоупотребленіе закономъ, на которое Островскій, вопреки Фонъ-Визину, не указываетъ, а избираетъ его главнымъ дѣйствіемъ произведенія. Преступный замыселъ и беззаконное дѣло превращаютъ комедію въ трагедію; изреченіе Наполеона: „отъ величественнаго до смѣшного одинъ только шагъ“ принимаетъ здѣсь обратный смыслъ.

Въ „Бригадирѣ“ какъ произведеніи многими уже позабытомъ, я имѣлъ честь излагать содержаніе, критически разсматривать ходъ дѣйствія, которое такъ не полно и такъ неорганически развито; указывалъ на неестественность и на преувеличенія, доходящія до карикатуры. Современная комедія Островскаго всѣмъ намъ совершенно знакома, и для насъ всего важнѣе обозначенное сравненіе произведеній.

Замѣтимъ, что у Островскаго нѣтъ тѣхъ недостатковъ, которые мы видѣли въ „Бригадирѣ“; въ комедіи: „Свои люди—сочтемся“ дѣйствіе совершенно полное и развивается стройно и до такой степени органически, что вы видите самое зарожденіе страсти; эта страсть какъ зерно дуба: при васъ оно разлагается, зрѣетъ, вырастаетъ въ могучее дерево, и падаетъ съ такимъ грохотомъ, что оглушаетъ васъ. А когда начнете вникать въ созданіе характеровъ, безъ преувеличенія можете употребить сравненіе Гёте, когда онъ говоритъ о лицахъ драмъ Шекспира. И лица комедіи Островскаго, въ особенности характеръ Подхалюзина, можно сравнить съ часами: видишь, какое время показываетъ стрѣлка, и можешь смотрѣть на дѣйствіе пружинъ, которыя приводятъ все въ дѣйствіе.

Мало будетъ, если мы скажемъ, что всѣ характеры созданы истинно художественно; болѣе всего они поражаютъ тѣмъ, что кажутся самымъ вѣрнымъ воспроизведеніемъ дѣйствительныхъ лицъ. Поэтическій вымыселъ превращается въ совершенную дѣйствительность и производитъ полное очарованіе особенно потому, что дѣйствующія лица говорятъ языкомъ не бывалымъ въ русской литературѣ до появленія комедіи „Свои люди—сочтемся“. Этотъ языкъ совсѣмъ не то, что у многихъ нашихъ современныхъ писателей, желающихъ выражаться какъ можно ближе къ народной рѣчи; вы и замѣчаете, что они не просто подслушивали, а въ областной словарь заглядывали, а потому и выходитъ, что такая народная рѣчь представляется нанизанною съ бѣльшимъ или меньшимъ искусствомъ подобранными словами. Въ комедіи Островскаго, именно въ нашей, въ ней особенно, такой языкъ и стиль, и такъ органически, такъ кровно связанъ съ характеромъ, что *дѣйствительныя лица изображаемой среды*, каждое изъ нихъ сказало бы: „это—кость отъ костей моихъ и плоть отъ плоти моей“.

Мы до сихъ поръ шли впередъ, рѣшая вопросъ, насколько подвинулось русское общество въ эти почти столѣтъ; если пойдемъ назадъ, то увидимъ, какъ бѣденъ, жалокъ, безличенъ этотъ классъ людей въ литературѣ XVIII вѣка. Писатели наши коснулись средняго общества довольно рано, но какъ-то вскользь, съ видимою небрежностію; тѣмъ интереснѣе видѣть, въ какомъ отношеніи будетъ стоять ко всему прошедшему нашъ авторъ. Сначала о купцахъ заговорили сатирики, а потомъ писатели комедій, только не Княжнинъ; потому что купецъ *Волдыревъ* въ комической оперѣ *Сбитенщикъ* — лицо не наше, ничего въ немъ нѣтъ русскаго. Кантемиръ представляетъ купца, который никогда не пропускалъ ни заутрени, ни часовъ, ни обѣдни, ни вечерни, и въ то же время разбавлялъ вино водою, только подливалъ воду въ праздникъ послѣ обѣдни, а продавалъ не иначе, какъ въ будни. Лукинъ, нѣсколько намъ уже знакомый, точно также издали, и притомъ въ литератур-

номъ загонѣ представляетъ лицо того же сословія, среди азартныхъ игроковъ Екатерининскаго времени. Эта картина тѣмъ любопытнѣе, что снята очевидцемъ съ натуры:

„Вообрази толпу людей, не рѣдко больше ста человѣкъ составляющую. Обычайно собираются оныя художники въ большую палату. Иные сидятъ за столомъ, иные ходятъ по комнатѣ, но всѣ приходятъ съ одними мыслями, дабы каждому у прочихъ отнять до послѣдней полушки и лишить не только пропитанія, но и самую чести. Изъ сотни обыкновенно одинъ или двое, подобно Крезу и Мидасу, имѣютъ передъ собой золотыя горы, возвышенныя изъ иждивенія несчастныхъ ихъ противоборниковъ, или, лучше сказать, изъ крови и жизни ихъ. Выигрывающіе богачи сидятъ кичливо, о столѣ облокотятся, и, имѣя видъ веселый, изъясняютъ неописанное удовольствіе, грабя звѣрски свою братію. А несчастные игроки, истощающіе послѣднія силы, разные имѣютъ виды. Иные блѣдностію лицъ подобны мертвецамъ, изъ гробовъ встающимъ; иные кровавыми очами—ужаснымъ фуріямъ; иные уныlostію духа—преступникамъ, на казнь ведущимся; иные необычайнымъ румянцемъ—ягодѣ нашей клюквенной; а съ иныхъ течетъ потъ ручьями, будто-бы они претрудное и полезное дѣлаютъ дѣло. Большая часть оныхъ мотовъ, пришедъ въ изступленіе, клянутъ день своего рожденія и родителей, бьютъ по столу, терзаютъ волосы, дерутъ карты, какъ орудіе своего несчастія. Тутъ увидишь тѣхъ прегордыхъ богачей, которые за нѣсколько минутъ ругались надъ безчестными игроками, бѣднѣйшими людьми въ мірѣ, и тутъ покажется тебѣ, будто бы души ихъ изъ тѣла въ тѣло переселились. Они начнутъ клясть свою судьбу, грызть пальцы и бить о столѣ руками; а тѣ, которые за часъ или менѣе оное дѣлали, взявши въ свою власть золотыя горы, заступятъ мѣсто прегордыхъ своихъ соперниковъ: станутъ на нихъ кичливо поглядывать и улыбаясь вразумлять ихъ, что они уже отмщеніе получили. Все сіе такъ скоро, или, удобнѣе сказать, такъ мгновенно случается, что, конечно, бы ты, читатель, переселенію душъ повѣрилъ, если бы не увидѣлъ, что деньги отъ счастли-

выхъ переселяются къ несчастнымъ; и такъ бываетъ переселеніе не душъ, а денегъ. Вотъ живое описаніе сего общества и въ немъ бываемыхъ упражненій. Надлежитъ къ тому еще увѣдомить тебя, что въ этихъ сходбищахъ бываютъ самые безбожные ростовщики и безсовѣстные купцы, продающіе вдесятеро дороже“.

Лукинъ даже не удостоилъ ихъ и описанія, а указалъ, какъ на постороннюю вещь, не стоящую особеннаго вниманія. Правда, въ одной комедіи своей („Мотъ, любовью исправленный“) онъ вывелъ осташковскаго купца Докукина, торгующаго сукнами и парчами; но и тутъ купецъ остается внѣ сферы общественной, онъ заглядываетъ только въ этотъ міръ, и то изъ передней; навязываетъ неопытнымъ свои товары, даетъ въ долгъ, съ клятвою ждать, а тутъ же сводитъ знакомство съ кварталомъ, ибо онъ будетъ нуженъ ему при взысканіи денегъ, часть которыхъ пойдетъ въ благодарность. Знакомится и со слугами, и ихъ подкупаетъ, торча каждое утро въ прихожей и неотступно слѣдя за своей жертвой - должникомъ. Итакъ, сатира и комедія XVIII вѣка если и представляли лицъ средняго сословія, то изображали ихъ съ самой грубой, матеріальной стороны, какъ рабочую машину, не допуская въ кругъ *человѣческихъ* отношеній. Сдѣлавши этотъ шагъ назадъ, мы становимся на ту точку, съ которой талантъ Островскаго получаетъ самое яркое освѣщеніе: онъ не приводитъ купца въ переднюю барина, не оттуда выставляетъ его на показъ публикѣ, а насъ ведетъ къ нему, въ его собственный кругъ, и открываетъ намъ цѣлый міръ, куда не проникалъ не одинъ изъ писателей всего XVIII столѣтія. И мы готовы допустить, что Островскій въ литературѣ нашей можетъ быть названъ Христофоромъ Колумбомъ этого особаго міра: никто не изображалъ его въ такой полнотѣ, въ такомъ разнообразіи и съ такою художественною правдою. Авторъ отворяетъ читателю всѣ двери, и онъ можетъ слѣдить за этими лицами на всѣхъ путяхъ: за ихъ дѣйствіями въ средѣ общественной, за ихъ жизнію въ кругу семейномъ, наконецъ, можетъ свободно входить въ ихъ личный, внут-

ренній міръ, полный разнообразныхъ интересовъ, желаній, стремленій и плановъ. Прежде мы войдемъ въ семейный міръ людей этого сословнаго круга, а потомъ познакомимся съ ними какъ съ дѣятелями общественными. Бригадиру соответствуетъ *Большовъ*; бригадиршѣ — *Аграфена Кондратьевна*; Иванушкѣ — *Липочка*. У представителей старой Руси, при сходствѣ въ понятіяхъ, стремленіяхъ, образѣ дѣйствій, то различіе, что мать больше до-Петровская женщина, а въ Большовѣ замѣтно уже раздвоеніе; онъ уже разъ обрилъ себѣ бороду, не взирая ни на просьбы, ни на мольбы, ни даже на слезы жены; дочь не имѣетъ уже ничего общаго съ родителями. Члены этого семейства преслѣдуютъ различные идеалы, каждый ищетъ своего: для *отца* можетъ быть кто угодно, хотъ Оедотъ, какъ выражается онъ, отъ проходныхъ воротъ, лишь-бы денежки водились да приданаго по меньше ломилъ. *Дочь* объявляетъ, что не пойдетъ за купца, не за тѣмъ она такъ воспитана, не для того училась и по-французски, и на фортепьянахъ, и танцовать. „Что мнѣ въ купцѣ? Какой онъ можетъ имѣть вѣсъ? Гдѣ у него амбиція? Мочалка-то его что ли мнѣ нужна? Достань благороднаго!“ И вотъ старая Русь, въ лицѣ ключницы Ооминишны, возстаетъ противъ такого соблазна: „не мочалка, а Божій волосъ, сударыня, такъ-то-съ!“ И *матери* подай непременно купца, да чтобы онъ и лобъ крестилъ по-старинному. Ооминишна дорисовываетъ этотъ старинный идеалъ жениха: „что тебѣ дались эти благородные? Голый на голомъ, да и христіанства то никакого нѣтъ: ни въ баню не ходитъ ни пироговъ по праздникамъ не печетъ“...

Познакомимся ближе съ членами этого разногласнаго, неблагоустроеннаго семейства.

Какъ въ крови бригадира живетъ понятіе чина, такъ и у Самсона Силыча есть свой чинъ — капиталъ. Большовъ весь проникнутъ сознаніемъ его силы, важности и значенія: объявляя свою волю отдать дочь въ замужество, онъ говоритъ; „и въ разсужденіи приданаго, тоже можемъ надѣяться, что *она не острамитъ нашего капитала*“; ясно, что

въ глазахъ Большова денежная сила имѣетъ значеніе важнаго званія и чина. Только поэтому Самсонъ Силычъ обращается съ подавляющимъ презрѣніемъ съ бѣднымъ чиновникомъ, даже тогда, когда нуждается въ немъ: „а что, Сысой Псойчъ, чай, ты съ этимъ крючкотворствомъ на своемъ вѣку много чернилъ извелъ“? Стряпчій замѣчаетъ, что онъ пришелъ *понавѣдаться*. „То то вотъ, вы, подлый народъ такой, кровопійцы какіе-то: только бѣ вамъ пронюхать что-нибудь эдакое, такъ ужъ вы и вьетесь тутъ съ вашимъ дьявольскимъ наущеніемъ“. Устинья Наумовна, неподражаемый типъ московской свахи, женщина бывалая, бойкая, разбитная, сама сидитъ на четырнадцатомъ классѣ, а и та преклоняется передъ Самсономъ Силычемъ: „съ богатымъ мужикомъ, что съ чертомъ, не сообразишь“. Она соблазняется приманкою золота и соболей за то, чтобы только разстроить свадьбу, но страхъ какъ боится Большова: „ну ты самъ разсуди, съ какимъ я рыломъ покажусь самому-то? Вѣдь, ты знаешь, каково у насъ чадочко Самсонъ-то Силычъ: вѣдь, онъ, не ровень часъ, и чепчикъ помнетъ“. Большовъ устроилъ помолвку дочери съ приказчикомъ, но и къ будущему зятю обращается съ недостигаемой высоты; онъ хочетъ соединить ихъ руки, но и въ эту торжественную минуту не измѣняетъ своего высомѣрнаго тона: „ну теперь ты, Лазарь, *ползи*“! Какъ бригадиръ и сыну замѣчаетъ о своемъ чинѣ и заслугахъ, такъ и Большовъ говоритъ о дочери своей, не какъ отецъ, а какъ денежный вельможа: „понимаемъ, что отецъ, что пристали, отстаньте, гусь свиньѣ не товарищъ“. Потонувшій въ довольствѣ и богатствѣ, Большовъ запомнилъ и о Богѣ; если и вспомнить Его, то приѣмлетъ имя Его всеу, обращается къ Нему съ видомъ кощунства; сбудется за то на немъ пословица: „громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится“. Рѣшаясь на дѣло безчестное—не платитъ довѣрителямъ, онъ не убоился закончить свой замыселъ неподобными словами: „тамъ послѣ суди Владыка на второмъ пришествіи“. Большовъ, омраченный страстію, забывается до нечестія, призываетъ Бога на помощь въ дѣлѣ

нечистомъ, въ грабительствѣ: „черта ли тамъ по грошамъ-то наживать! Махнулъ съ разу, да и шабашъ. Только напусти Богъ смѣлость“. Въ немъ даже проглядываетъ какой-то грубый матеріализмъ, правда, темный; но вы видите, что у этого зазнавшагося богача и религіозные помыслы потемнѣли отъ жира: „вотъ она жизнь-то; истинно сказано: суета суеть и всяческая суета. Чертъ знаетъ, и самъ не разберешь, чего хочется. Вотъ бы и закусилъ что-нибудь, да обѣдъ испортишь; а и такъ-то сидѣть, одурь возьметъ. Али, чайкомъ бы что-ли побаловать. Вотъ такъ то и все: жилъ, жилъ человѣкъ, да вдругъ и померъ — такъ *все прахомъ и поидетъ*“. И больше машинально, по памяти и привычкѣ прибавляетъ: „Охъ, Господи, Господи“!

Вторая сила Большова — власть отца, и она далеко выше потрясенной власти бригадира. Но родительская власть древней патріархальной Руси у Большова выродилась въ тотъ грубый деспотизмъ, который такъ мѣтко названъ самодурствомъ. Жена не смѣетъ передъ нимъ пикнуть; заплачетъ она, онъ ей скажетъ: „сама не знаешь, о чемъ разрюмилась“, и она плачетъ и подтверждаетъ: „не знаю, батюшка, охъ, не знаю“. — „То-то вотъ сдуру. Слезы у васъ дешевы“. — „Охъ, дешевы, батюшка, дешевы“. Дочь боится его, хотя тайно въ душѣ презираетъ; мать она презираетъ открыто и нагло грубитъ ей, и та грозитъ ей только отцомъ: „пойду къ отцу, такъ въ ноги и брякнусь, житья, скажу, нѣтъ отъ дочери, Самсонушка“. На дочь и на будущность ея онъ смотритъ, какъ на вещь, которую можетъ помѣстить куда заблагоразсудитъ, гдѣ для него лучше и удобнѣе, и жениха ей выбираетъ не по ней, а по себѣ. Онъ, пожалуй, не противъ благороднаго, но когда это ему мѣшаетъ, такъ онъ прямо говоритъ: „а ну его! По *моимъ дѣламъ* теперь не такого нужно“. Когда дочь, воспользовавшись тѣмъ, что онъ былъ въ духѣ, рѣшилась высказать передъ нимъ завѣтное желаніе свое — выдти за мужъ за военнаго, мать чуть не пришла въ ужасъ: „акстись, безумная, Христосъ съ тобою!“. Но Большовъ даже не разсердился, а посмотрѣлъ на это какъ на извинитель-

ное ребячество, какъ на игру въ мыльные пузыри, и скорѣе снисходительно разсмѣялся: „Экъ, вѣдь, что вывезла“! Приказчикъ глубоко понялъ, какъ важенъ для него этотъ грубый видъ родительскаго авторитета; онъ очень хорошо знаетъ, какъ и когда надо пользоваться такимъ самодурствомъ, и потому съ большимъ искусствомъ ударяетъ въ эту слабую струну и ударяетъ съ тѣмъ, чтобы Самсонъ Силычъ самъ взялъ его въ зятя: „Алимпіада - то Самсоновна, можетъ быть, и глядѣть-то на меня не захотятъ-съ“?

— Важное дѣло! Не плясать же мнѣ по ея дудочкѣ на старости лѣтъ: за кого велю, за того и пойдетъ! Мое дѣтище: хочу съ кашей ѣмъ, хочу масло пахтаю“. Онъ обѣщалъ Лазарю подшутить надъ семьей шутку и, дѣйствительно, собравши всѣхъ, и своихъ и чужихъ, совершенно неожиданно объявляетъ Лазаря и Липочку женихомъ и невѣстой. Всѣ до одинаго остолбенѣли: и жена, и дочь, и ключница, и сваха; никто ничего понять не можетъ: мать затмилась, словно чуланъ какой: „Господи, да что же это такое“?—Дочь и въ испугѣ и въ негодованіи вскрикиваетъ, какъ могли выдумать подобный вздоръ, не пойдетъ она за такого противнаго. Ошеломленная Ооминишна восклицаетъ: „съ нами крестная сила“! И сваха стала въ тупикъ: „вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день“! Этой минутой всеобщаго возбужденія какъ нельзя лучше пользуется Подхалюзинъ, и еще сильнѣе ударяетъ въ слабую струну самодура: „тятенька! Видно, не бывать-съ по вашему желанію“!

— Какъ же не бывать, коли я *того хочу*? На что жъ я и отецъ, коли не приказывать? Даромъ что ли я ее кормилъ?

— Гдѣ это видано, чтобы воспитанныя барышни выходили за своихъ работниковъ?

— Молчи лучше. Велю, такъ и за дворника выдешь“.

Наконецъ, мать не вытерпѣла, кровь заговорила: „Да за что жъ вы это, душегубцы, дѣвку-то опозорили?“

— Да очень мнѣ нужно слушать вашу фанаберію. Захотѣлъ выдать дочь за приказчика, и поставлю на своемъ, и разговаривать не смѣй; я и знать никого не хочу“. Та-

ковъ Самсонъ Силычъ Большовъ, какъ денежная власть и какъ домовладыка.

Мы еще встрѣтимся съ нимъ на другомъ поприщѣ.

Аграфена Кондратьевна—женщина до-Петровской Руси, и столько же какъ и бригадирша, если не болѣе. Въ старину русская нація по понятіямъ и воззрѣнію на міръ точно такъ же, какъ и по языку, была какъ одинъ человекъ; поэтому и ключница Ооминишна можетъ быть названа продолженіемъ Аграфены Кондратьевны; обѣ онѣ—какъ бы одно тѣло, одинъ духъ; съ дочерью у Большой несравненно менѣе родственнаго, нежели съ ключницей; вся разница въ томъ, что одна приказываетъ, а другая слушаетъ, исполняетъ. Вопреки мужу, Аграфена Кондратьевна отличается набожностію, даже не ѣстъ мясного по понедѣльникамъ; вотъ отчего она вышла изъ себя, когда увидала, что дочь, ни свѣтъ, ни заря, не поѣвши хлѣба божьяго, грѣховодничаетъ, принялась за пляску. Богатство не измѣнило ея прежнихъ привычекъ и обычаевъ; занятыхъ у русскихъ французовъ она не знаетъ. Женихъ проситъ позволенія поцѣловать у ней руку, она со всѣмъ патріархальнымъ простодушіемъ подаетъ ему обѣ: „цѣлуй, батюшка, обѣ чистыя“. Очень естественно поэтому ея смущеніе и безпокойство въ ожиданіи благороднаго жениха: „сама ты, мать, посуди, что я буду съ благороднымъ-то зятемъ дѣлать? Я и слова то сказать съ нимъ не умѣю, точно въ лѣсу“. Она буквально послушна слову апостола: „Жена да боится своего мужа“; особенно она боится его тогда, когда онъ въ гнѣвѣ или не трезвъ; „развоюется такъ, страсти, да и только! Посуду колотить: у! говоритъ, такія вы и эдакія, убью сразу“! Только за дочь не смолчитъ она, и подчасъ возвыситъ голосъ передъ мужемъ. Большовъ не велитъ приставать съ дочерью; по его мнѣнію, нечего ей хотѣть, когда она обута, одѣта, накормлена. Совершенно справедливо возстаетъ мать противъ такого грубаго понятія о чадолюбіи, и очень рѣзко, чуть не съ бранью, выговариваетъ мужу: „Да ты, Самсонъ Силычъ, очумѣлъ что-ли? По христіанскому закону всякаго

накормить слѣдствуетъ... а, вѣдь, это родная дѣтище... Разставаться скоро приходится, а ты и слова добраго не вымолвишь... долженъ бы на пользу посовѣтывать что-нибудь такое житейское". Но когда преступникъ Большовъ, несчастный отецъ, сидитъ между двухъ коршуновъ, между зятемъ и дочерью, тогда эта ограниченная женщина дѣйствуетъ на васъ, какъ теплое дыханіе любви въ ледяной атмосферѣ эгоизма. Безсердечіе дочери, возмутительная неблагодарность зятя въ этой кроткой душѣ подняли страшную бурю. Тутъ только она высказала, что давно уже у ней лежало камнемъ на сердцѣ: одну дочь Богъ далъ, и ту послалъ въ наказаніе! За кровную обиду мужа, безжалостно наносимую неблагодарными дѣтьми, она снимаетъ материнское благословеніе съ зятя, и дочь, свою кровь, готова проклясть на всѣхъ соборахъ: „умрешь, не сгніешь"! восклицаетъ она въ изступленіи, отрекаясь отъ своего рожденія. Самая простая, обыденная женщина внезапно передъ вами преображается горемъ, какъ ударомъ молніи, и васъ уже невольно поражаетъ величавый образъ матери, одушевленной праведнымъ гнѣвомъ и вооруженной проклятіемъ на дѣтей за нечестіе къ родителямъ! Въ художественномъ отношеніи жена Большова если не лучше, то счастливѣе бригадирши, именно отъ положенія, въ которое поставилъ ее авторъ. Совершенно чуждая вамъ по своимъ понятіямъ и интересамъ, она становится близкимъ, родственнымъ вамъ существомъ, какъ человѣкъ, какъ женщина, облагороженная состраданіемъ, любовію и праведнымъ негодованіемъ за поруганіе святѣйшихъ правъ человѣческихъ.

У Фонъ-Визина уродливое чадо европейскаго образованія—сынъ, у Островскаго—дочь, уродливая копія подражателей—дворянъ. *Иванушка* смѣшонъ, жалокъ и только возбуждаетъ презрѣніе; *Липочка*, кромѣ всего этого, отвратительна и глубоко возмущаетъ нравственное чувство. Подхалюзину, какъ приказчику и какъ влюбленному, она представляется совершенствомъ недосыгаемымъ; онъ такъ ее опредѣляетъ: „Алимпіада Самсоновна—барышня образованная, какихъ въ свѣтѣ нѣтъ"; прозаичнѣе и вѣрнѣе смо-

трить на нее сваха: „воспитанія не Богъ знаетъ какого; пишетъ, какъ слонъ брюхомъ ползетъ; по французскому, али на фортепьянахъ, тоже сямъ, тямъ, да и нѣтъ ничего“. Но главное сдѣлано: учили всему сказанному и танцовать. Какъ же поэтому она, такая образованная барышня, можетъ жить съ подобными родителями? Такъ точно горюетъ и Иванушка: ему уже двадцать пять лѣтъ, а родители его еще живы, и онъ осужденъ оставаться съ такими животными. Липочка въ глаза говоритъ матери, что она сама для нея не очень значительна; что отъ словъ матери ей даже краснѣть приходится. Правда, родили ее, она была дитя безъ понятія; а какъ выросла, да *посмотрѣла на свѣтскій тонъ*, такъ и увидѣла, что она образованнѣе другихъ, и потому на-прямикъ говоритъ своей родительницѣ, что не намѣрена потакать ея глупостямъ: „вамъ съ тятенькой только кляузы строить да тиранничать..... Ужъ молчали бы лучше, когда не такъ воспитаны“. И такъ, повторимъ, какъ Иванушка, Липочка питаетъ такое же полное презрѣніе къ отцу и къ матери—къ этой открытое, но отца и презираетъ и боится.—Припомнимъ, что въ XVIII столѣтіи идеалъ общества, особенно для женщинъ, былъ *военный*; довольно долго онъ господствовалъ и въ XIX вѣкѣ, даже при Александрѣ.

Кричали женщины: ура!

И въ воздухъ чепчики бросали.

Позволимъ себѣ мимоходомъ замѣтить—было *для кого* бросать. Уже послѣ фракъ начинаетъ заслонять мундиръ, который, въ замѣнъ этого, въ наше время обращается въ кумиръ для дѣвицъ средняго сословія. Такимъ образомъ, идеалъ Олимпіады Самсоновны долженъ быть не какой-нибудь приказный, и даже не студентъ; штатскій въ глазахъ ея—такъ, какой-то неодушевленный. Ее плѣняютъ усы, и эполеты, и мундиръ, а у иныхъ даже шпоры съ колокольчиками; ей даже досадно, что они въ танцахъ отвязываютъ саблю, не понимаютъ, какъ блеснуть очаровательнѣе. Если уже не это, такъ женихъ ея долженъ быть по крайней

мѣръ благородный, а не купчишка какой-нибудь, и притомъ чтобы непременно былъ брюнетъ и одѣтъ по журнальному.... И вдругъ она падаетъ, какъ съ облаковъ: отецъ, вмѣсто взлелѣяннаго ею идеала, подводитъ къ ней приказчика, работника!—Обругавши своего жениха дуракомъ необразованнымъ, образованная Олимпіада Самсоновна слышитъ отъ него вещи странныя, неимовѣрныя: у этого дурака и денегъ то больше, чѣмъ у иного благороднаго; домъ и лавки уже не отцовскія, а *его* собственность; наконецъ, узнаетъ, что ея отецъ несостоятельный должникъ, банкротъ. Пораженная окончательно, дочь, вмѣсто жалости къ родителямъ, имъ же въ лицо бросаетъ несчастіемъ и позоромъ: „что же это такое со мною дѣлаютъ? Воспитывали, воспитывали, и потомъ обанкрутились“!—По этой страшной нотѣ, вы чувствуете, что въ этой дѣвушкѣ спитъ и уже пробуждается чудовище. Въ душѣ она уже рѣшила выйти за этого, какъ она говоритъ, работника; ей теперь надо только сохранить приличіе, не показать сразу, что она продаетъ себя за деньги. Она раздумываетъ, а Подхалюзинъ въ это время рисуетъ ей купеческій эдемъ: дома она будетъ ходить въ шелковыхъ платьяхъ, въ гости и въ театръ, окромя бархатныхъ, и надѣвать не станетъ. „Шляпы, салоны, прочъ всѣ дворянскія приличія, надѣнемъ какую чуднѣй.... нешто въ этомъ домѣ будемъ жить? На потолкахъ райскихъ птицъ нарисуемъ, сиреновъ, капидоновъ разныхъ....

— Нынче ужъ капидоновъ-то не рисуютъ.

— Ну такъ мы пукетами пустимъ.

И Олимпіада тонко, съ бездушнымъ расчетомъ, спускается съ тона на тонъ, сходится съ высоты своего идеала осторожно, какъ съ крутой лѣстницы, все ниже и ниже, чтобы сгладить по возможности рѣзкость перехода. Прежде она возражаетъ какъ будто общимъ мѣстомъ: „да вы всѣ передъ свадьбой такъ говорите, а тамъ и обманете“; потомъ обращается, и уже гораздо мягче, къ нему лично: „для чего вы, Лазарь Елизарычъ (замѣтьте, уже не дуракъ необразованный), для чего вы по-французски не говорите?—

Жилетка у васъ скверная. Дайте подумать.—Увезите меня потихоньку“.—Перебравши столько ноть, чтобы не сразу, не краснѣя спуститься до уровня съ приказчикомъ, она нашла, наконецъ, приличнымъ изъявить свое согласіе: „ну, а коли не хотите увезти—такъ ужъ, пожалуй, и такъ“. Тотъ было опрометью бросился къ родителямъ—объявить имъ радость; но невѣстѣ, благовидно сторговавшейся, нечему особенно радоваться; она удерживаетъ жениха не ради сердечныхъ изліяній, а для того, чтобы повѣрить ему всѣ свои чувства къ отцу и матери; „ахъ, если бъ вы знали, Лазарь Елизарычъ, какое мнѣ житье здѣсь! У маменьки семь пятницъ на недѣлѣ; тятенька, какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а какъ пьянъ, такъ прибѣтъ того и гляди. Какое это терпѣть образованной барышнѣ! Вотъ какъ-бы я вышла за благороднаго, такъ я бы и уѣхала изъ дому и забыла-бы обо всемъ этомъ“.—И они уже въ заговорѣ.... перейдутъ въ свой домъ, будутъ жить сами по себѣ, заведутъ все по модѣ, а *тѣ* какъ хотятъ.

Лазарь больше походить на человѣка, нежели эта противоестественная дочь; и въ немъ при видѣ тестя, убитаго горемъ и стыдомъ, даже въ немъ, забрезжаетъ лучъ человѣческаго чувства. Но дочь униженному, опозоренному, темничнику-отцу отказываетъ въ выкупѣ его же собственного добра; изъ захваченныхъ ея мужемъ денегъ она не можетъ дать своему родителю больше десяти копеекъ за рубль.... съ чѣмъ же они сами останутся, вѣдь, они не мѣщане какіе-нибудь; до двадцати лѣтъ она свѣта не видѣла; неужели ей отдать за отца деньги, а самой въ ситцевыхъ платьяхъ ходить?...

Лазарю, и тому стало жаль отца своей жены: „эхъ, Алимпіада Самсоновна-съ, не ловко-съ“! Онъ хочетъ самъ ѣхать къ кредиторамъ, спрашиваетъ ея совѣта... а она молчитъ, молчитъ тогда, когда бездушная статуя поднялась-бы, кажется, съ своего пьедестала и пошла-бы человѣческими шагами! Не выдержалъ Лазарь, самъ, наконецъ, сказалъ: „*пду*“. Скажетъ ли она хоть какое доброе слово.... поощренія, одобренія, хоть бы согласія?—Она поднялась и уходя

проговорила: „какъ хотите, такъ и дѣлайте,—ваше дѣло“. „И гнусныя твари, говоритъ король Лиръ, кажутся сносными, когда другіе еще гнуснѣе: *не быть подлѣйшимъ уже есть заслуга*.—Не благодарный злодѣй, ограбившій своего благодѣтеля, безчестный Подхалюзинъ, и тотъ лучше Олимпіады, этого не женоподобнаго творенія!

Вызовемъ теперь эти лица, какъ общественныхъ дѣятелей, а это связано съ замысломъ траги-комедіи и съ развитіемъ дѣйствія.

Прочитавши „Свои люди—сочтемся“, съ перваго раза вы придете въ большое недоумѣніе, и невольно спросите: чего ради почтенный купецъ, которому сорокъ лѣтъ всѣ кланялись въ поясъ, на старости лѣтъ задумалъ дѣло преступное—злостное банкротство? Еще въ большее недоумѣніе повергаетъ васъ то, что онъ не самъ воспользовался чужою собственностію, а отдалъ ее вмѣстѣ со всѣмъ своимъ имуществомъ другимъ, зятю и дочери, и себѣ ничего не оставилъ. И при самомъ чтеніи рождается въ васъ и не разъ возникаетъ это возраженіе, такъ что отъ него трудно отвязаться, и вы готовы повторить слова Подхалюзина: „Самсонъ Силычъ—купецъ богатѣйшій, и теперича все это дѣло, можно сказать, такъ, для препровожденія времени затѣялъ“. Специалистамъ очень хорошо извѣстны подобныя явленія въ исторіи поэзіи, этотъ камень претыканія для эстетической критики. Почти такимъ же образомъ, только въ дѣлѣ правомъ и совершенно чистомъ, у Шекспира поступилъ король Лиръ, въ сценѣ раздѣла царства, которую Гёте не убоился назвать нелѣпою. Но лучшая современная критика старается оправдать Шекспира и если не уничтожить совсѣмъ, то по крайней мѣрѣ какъ можно болѣе ослабить строгій приговоръ нѣмецкаго поэта. Въ оправданіе она говоритъ, что такъ рассказываетъ преданіе, потомъ указываетъ и на психическія причины: бремя величія, постоянное зрѣлище раболѣпства, пышныя торжества и шумныя пиршества утомили царственного старца; а закоренѣлая привычка повелѣвать заставила его *такъ, а не иначе* раздѣлить королевство. Лиръ хочетъ потѣшить старческое

сердце, слушая покорныя признанія дочерей; наконецъ, можно думать, что старецъ—король, ожидавшій отъ Корделии самыхъ нѣжныхъ изліяній, хотѣлъ оправдать себя передъ старшими дочерьми, отдавая ей бѣольшую и лучшую часть, и, безъ сомнѣнія, хотѣлъ у ней провести послѣдніе дни жизни и умереть на рукахъ любимѣйшей изъ дочерей. По мнѣнію нашему, этимъ далеко не все сказано; самое главное оправданіе такихъ видимыхъ несообразностей—а ихъ не мало у Шекспира—состоитъ въ томъ, что у этого геніальнаго драматурга *событія, характеры лицъ, ихъ мысли и дѣйствія*, несмотря ни на преданія ни на исторію, создались въ мірѣ воображаемаго, т. е. возможнаго порядка вещей. Но Островскій взялъ содержаніе своей траги-комедіи изъ современнаго дѣйствительнаго міра, изъ извѣстной дѣйствительной среды, и потому величайшая, повидимому, несообразность поражаетъ еще болѣе: похищеніе чужого и въ то же время отреченіе не только отъ похищеннаго, но и отъ своего собственнаго. Человѣкъ въ одно и то же время поступаетъ грабительски и самоотверженно! Признаёмся, и мы желали бы лучшей, болѣе прочной закладки въ художественномъ зданіи Островскаго, но вмѣстѣ съ тѣмъ беремся и оправдывать автора. Во-первыхъ, въ самой комедіи есть оправданіе противъ этого обвиненія: на кого же Большовъ записалъ бы имущество, готовясь объявить себя несостоятельнымъ должникомъ? И не естественнѣе ли всего ввѣриться Лазарю, облагодѣтельствованному имъ съ дѣтства! Увѣренность свою Большовъ думалъ несокрушимо утвердить родственнымъ союзомъ; а что онъ положился на совѣсть и на благодарность приказчика, имъ обогащеннаго и возвеличеннаго до зятя, такъ это не только возможно, но и говоритъ весьма сильно въ пользу Большова, не совсѣмъ еще испорченнаго нравственно. Во-вторыхъ, этотъ человѣкъ съ неимовѣрно упорнымъ характеромъ, а Подхалюзинъ глубоко изучилъ его, и съ этой стороны знаетъ его вдоль и поперекъ: „у нихъ такое заведеніе, коли имъ что попало въ голову, ужъ ни чѣмъ не выбьешь оттедова. Все равно какъ въ четвертомъ году захотѣли

бороду обрить: сколько ни просили Аграфена Кондратьевна, сколько ни плакали,—нѣтъ, говоритъ, послѣ опять отпущу, а теперь поставлю на своемъ: взяли да и обрили“. Въ-третьихъ, есть и психическія причины: Большовъ зараженъ болѣзнію стяжанія, его томить жажда золота; онъ чувствуетъ страхъ и боль, при одной мысли, что долженъ своими руками отдать это золото кредиторамъ: „вотъ теперь придется много денегъ платить, говоритъ онъ стряпчему, и не то, чтобы у меня ихъ не было, а признаться тебѣ сказать, не хочется. Пожалуй, расплатиться можно, да себѣ то, глядишь, ничего и не останется. Вотъ какъ теперь деньги-то всѣ въ рукахъ, такъ отдавать-то и жалко. Ты этого и понять-то не можешь, потому что ты такихъ денегъ сроду не видывалъ. Какъ вспомню, что отдавать надобно, такъ вотъ за сердце схватить,—инда нездоровъ сдѣлался. Тьфу, вы окаянные! (съ волненіемъ въ голосѣ). Кажется вотъ... ну вотъ... задушилъ бы кого-нибудь“. Въ силу этого опаснаго недуга, въ глазахъ Большова замужество дочери, нераздѣльное съ приданымъ, становится весьма важною побудительною причиною—не покидать замысла, не останавливаться на половинѣ дороги. Итакъ, въ-четвертыхъ, еще причина—замужество дочери: „тамъ, что хошь говори, а у меня дочь невѣста, хотъ сейчасъ изъ полы въ полу, да съ двора долой“. Въ пятыхъ, есть побужденія, въ немъ самомъ лежащія: и его утомила тяжелая, неутомонная торговая дѣятельность; отяжелѣлъ Большовъ, какъ маршалы Наполеона, и захотѣлъ погрузиться въ покойное довольство; „да и самому отдохнуть пора, проклажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту къ черту“. А можетъ быть, его устыдитъ окружающая среда? Не поддержитъ ли кто падающаго человѣка? Не отведетъ ли благодѣтельная, невидимая рука тучу искушеній, повисшую надъ головой еще не преступнаго Большова? Хотъ бы самъ онъ крикнулъ, какъ богатырь русской сказки: „есть ли въ полѣ живъ человѣкъ?“ Но кругомъ его пусто и глухо, даже напротивъ, все наталкиваетъ на соблазнъ и преступленіе, и Большовъ, къ несчастію, видитъ это

очень ясно: „и другіе дѣлаютъ. Да еще какъ дѣлаютъ-то: безъ стыда, безъ совѣсти! На лежащихъ лесорахъ ѣздятъ, въ трехъэтажныхъ домахъ живутъ; другой такой бельведеръ съ колоннами выведетъ, что ему съ своей образиной и войти-то туда совѣстно; а тамъ и капутъ, и взять съ него нечего. Коляски эти разѣдутся неизвѣстно куда, домъ всѣ заложены, останется ль кредиторамъ-то старыхъ сапоговъ пары три. Вотъ тебѣ вся недолга. Да еще и обманетъ-то кого: такъ бѣдняковъ какихъ-нибудь пустить въ одной рубашкѣ по міру. А у меня кредиторы всѣ люди богатые, что имъ сдѣлается!“ И такъ, еще причина, и притомъ одна изъ самыхъ важныхъ: въ самомъ обществѣ, вмѣсто поддержки отъ паденія, Большовъ нашелъ не только извиненіе, но и оправданіе беззаконнаго дѣла, почти поощреніе къ нему. Лазарь доказываетъ хозяину, что сидѣльцы *знаютъ* сноровку: „покупатель что ли тумакъ подвернулъ, али цвѣтъ съ узоромъ какой барышнѣ понравился, взялъ, говорю, да и накинулъ рубль или два на аршинъ“. Большовъ, при этомъ случаѣ, не преминулъ указать и на нѣмцевъ: „чай, братъ, знаешь, какъ нѣмцы въ магазинахъ нашихъ баръ обираютъ. Положимъ, что мы не нѣмцы, а христіане православные, да тоже пироги-то съ начинкой ѣдимъ“. Лазарь насквозь видитъ своего хозяина, и очень хорошо понимаетъ, къ чему клонятся эти рѣчи; онъ втайнѣ радуется такому настроенію, и въ отвѣтахъ даетъ понять, что онъ ничуть не прочь отъ участія въ мошенничествѣ, и потому продолжаетъ: „и мѣрятъ-то, говорю, надо поестественнѣе.... а зазѣваются, такъ кто виноватъ, можно и просто черезъ руку лишній аршинъ пмыгнуть“. Большовъ снова обращается къ примѣру: „все единственно: вѣдь, портной украдетъ же. А? Украдетъ, вѣдь“? И Рисположенскій, пришедшій, какъ онъ выразился, *понавѣдаться*, поспѣшилъ также подтвердить: „украдетъ, Самсонъ Силычъ, безпремѣнно, мошенникъ, украдетъ: ужъ я этихъ портныхъ знаю“. Стряпчій, для залога дома, совѣтуетъ искать такого человѣка, чтобы совѣсть зналъ. „А гдѣ ты его найдешь нынче, возражаетъ Большовъ, нынче всякой норовитъ, какъ тебя за воротъ

схватить, а ты совѣсти захотѣлъ"! Какая же нравственная опора можетъ быть въ такой средѣ для совѣсти шаткой, и гдѣ же тутъ искать поддержки человѣку, настроенному и готовому на преступленіе? Ко всему этому присоединяется новое обстоятельство, еще болѣе подстрекающее Большова и наносящее новый сильный ударъ его совѣсти: приказчикъ принесъ газеты, а въ нихъ цѣлый рядъ знакомыхъ, купцы первой и второй гильдіи, и ихъ такъ много, что Большову не перечитать и до завтрашняго дня; всѣ они объявляются несостоятельными должниками.

Наконецъ, Большовъ самъ себѣ накликалъ двухъ демоновъ-искусителей, которые съ радостью готовы увлечь его на путь беззаконія. Одинъ — демонъ бѣдности, стряпчій Рисположенскій; онъ ищетъ поживы, готовъ изъ-за нея на всяческія услуги, и, хлопоча собственно для себя, соблазняетъ Большова своимъ мастерствомъ устраивать подобныя дѣла, и ему обѣщаетъ такую механику подсмолить, что оглядокъ уже не будетъ. Другой искуситель еще обаятельнѣе, и потому еще болѣе опасный — приказчикъ Лазарь. Онъ давно проникъ въ умыселъ хозяина, издалека совершенно незамѣтно увлекаетъ его, но дѣлаетъ видъ, что ничего не знаетъ. Глухо ведутъ они разговоръ, какъ будто боятся еще произнести или обнаружить, что замышляютъ злостное банкротство. Эта сцена замѣчательна, какъ по художественности своей, такъ и по психической вѣрности... (Далѣе приводится самая сцена). „И вслѣдъ за этимъ разговоромъ, начинается рядъ обмановъ, вѣроломствъ и предательствъ. Большовъ обѣщалъ стряпчему за всю механику тысячу рублей и енотовую шубу. Подхалюзинъ тайкомъ отъ хозяина обѣщаетъ тому же Рисположенскому двѣ тысячи, чтобы укрѣпить за собой домъ и лавки; свахѣ тоже двѣ тысячи и соболью шубу только за то, чтобы разстроить свадьбу, и все это обѣщано съ тѣмъ, чтобы воспользо-ваться всѣмъ и вѣроломно обмануть и хозяина и стряпчаго и сваху.

Несмотря на то, что Лазарь достаточно уже опуталъ свою жертву, получилъ закладную на домъ и лавки, ему

все еще кажется, что онъ только расшаталъ Большова. Чтобы добить его окончательно, онъ ловкой рукой ударяетъ снова въ двѣ чувствительныя струны, раздражаетъ корыстолюбіе и упорство своего хозяина; приступаетъ къ нему съ видомъ жалобы на стряпчаго, какъ будто съ негодованіемъ говорить, что эта чернильная душа даетъ дурной совѣтъ—объявиться несостоятельнымъ.

— Что жъ, объявиться, такъ объявиться—одинъ конецъ.

— Ахъ, Самсонъ Силычъ, что это вы изволите говорить!

— Что жъ, деньги заплатить? Да съ чего же ты это взялъ? Да я лучше все огнемъ сожгу, а ужъ имъ ни копейки не дамъ. Перевози товаръ, продавай векселя, пусть тащутъ, воруютъ кто хочетъ, а ужъ я имъ не плательщикъ“.

Мы старались въ самомъ произведеніи отыскать все, что только можетъ служить оправданіемъ автора, и указали на всѣ, кажется, причины, которыя можно привести на возраженія критики противъ возможности замысла, какъ главной основы драматическаго дѣйствія; тѣмъ не менѣе, не можемъ не повторить, что желали бы болѣе прочной, непоколебимой закладки для этого великолѣпнаго литературнаго зданія.

Подхалюзинъ, съ неподражаемымъ искусствомъ играющій на душѣ Большова, перебралъ на всѣ лады этотъ послушный ему инструментъ, и теперь приступаетъ къ самой отдаленной, послѣдней своей цѣли. Для этого онъ подходитъ къ Большову съ противоположной стороны, начинаетъ его пугать несчастнымъ исходомъ дѣла; если, напримѣръ, придерутся, потянутъ въ судъ, да отнимутъ имѣніе; Аграфена Кондратьевна, а въ особенности Олимпіада Самсоновна, барышня образованная, останутся ни при чемъ, должны будутъ терпѣть голодъ и холодъ?... И онъ до того увлекся созданной имъ картиной бѣдствія, что какъ будто самъ ея испугался, такъ, что ударился въ слезы: Лазарь плачетъ отъ жалости къ птенцамъ беззащитнымъ! Что жъ дѣлать? Надобно, по крайней мѣрѣ, образованную барышню заранѣе пристроить за *хорошаго* человѣка, да чтобы она была за нимъ, какъ за каменной стѣной; а вонъ тотъ женихъ,

что сватался изъ благородныхъ-то, и оглобли назадъ поворотилъ; и ужъ мы знаемъ, что за этотъ поворотъ самъ же Подхалюзинъ обѣщаль свахѣ двѣ тысячи рублей и соболю пубу!

И бѣдная жертва до того заслушалась поющей сирены, что сама бросается въ объятія чудовища! Этимъ послѣднимъ маневромъ, который сдѣлалъ бы честь любому іезуиту, Лазарь довелъ Большова до того, что тотъ собственными руками отдаетъ ему и дочь и все добро свое: самъ будетъ за него сватомъ и на него же переводить все свое имущество. До сихъ поръ дѣйствіе, какъ и нужно, шло медленно, ровнымъ, тяжелымъ шагомъ; теперь ходъ его видимо ускоряется. И съ внутренней стороны драма рѣзко измѣняется: изъ комедіи быстро переходитъ въ трагедію; въ трехъ первыхъ дѣйствіяхъ смѣхъ смѣнялся иногда весьма серьезнымъ лицомъ, въ послѣднемъ онъ уже переходитъ въ жалость, состраданіе и ужасъ. Прежде всего авторъ поражаетъ васъ художественнымъ созданіемъ противоположностей: счастливые супруги блаженствуютъ въ богатомъ домѣ, а отецъ, отдавшій имъ эти палаты со всѣмъ имѣніемъ, и своимъ и чужимъ, сидитъ въ ямѣ. Онъ пресыщается стыдомъ, и дочь его, теперь уже Подхалюзина, украшенная шелковою блузою послѣдняго фасона, покоится въ роскошномъ положеніи; супругъ ея въ модномъ сюртукѣ охорашивается передъ зеркаломъ; къ полному его удовольствію, Тишка подтверждаетъ, что онъ похожъ на француза, какъ двѣ капли воды. Супруги строятъ планы: онъ выучится танцовать; зимой будутъ ѣздить въ купеческое собраніе, будутъ полькировать. Коляска сторгована за тысячу рублей, столько же стоятъ лошади, серебряная сбруя; поѣдутъ они въ паркъ, въ Сокольники, а публика пускай смотритъ!

„Что это вы меня не поцѣлуете, Лазарь Елизарычъ?“

Онъ проситъ сказать ему что-нибудь на французскомъ діалектѣ, „такъ-съ, самую малость“, и узнавши, что сказанная фраза значитъ по-русски: какъ вы милы, въ совершенномъ упоеніи. Они наслаждаются на лаврахъ, безчестно

пожатыхъ, и ни единого слова о бѣдномъ отцѣ, ни дочь ни зять, поднятый изъ праха.

Но карающая Немезида уже давно подстерегаетъ эти минуты самозабвенія; грозной тучей виситъ она надъ преступными головами и скоро разразится громомъ: надъ дѣтьми за неблагодарность и нечестіе къ родителямъ, надъ отцомъ—за тайное беззаконіе. Вся эта сцена, какъ истинное подобіе грознаго судилища, поражаетъ зрителя ужасомъ и состраданіемъ. Первый фіаль Божьяго гнѣва преступный, несчастный отецъ долженъ принять изъ рукъ дочери и зятя, котораго онъ возвысилъ изъ ничтожества и осыпалъ благодѣяніями. Лазарь еще въ сидѣльцахъ былъ не чистъ на руку; Большовъ это замѣчалъ, и не разъ, но не ослабилъ его, не прогналъ отъ себя, а сдѣлалъ главнымъ приказчикомъ, отдалъ ему все состояніе и, наконецъ, свою дочь, на которую тотъ и глядѣть едва ли бы осмѣлился. И вотъ теперь, вмѣсто того, чтобы всѣмъ пожертвовать для спасенія своего благодѣтеля и отца отъ несчастія и позора, онъ едва не издѣвается надъ нимъ, когда старикъ, убитый горемъ и безсердечіемъ, потерялъ человѣческое терпѣніе, и назвалъ ихъ змѣями подколотыми: „*тятенька захмѣлѣлъ маненько*“. Дочь убиваетъ его окончательно, когда на-отрѣзъ сказала, что больше десяти копеекъ за рубль не дадутъ ему, и нагло дала понять, чтобы отецъ отвязался, наконецъ. Кромѣ чудовищной неблагодарности дѣтей, Большовъ обреченъ на другое тяжкое наказаніе: онъ преданъ общественному позору; точно грѣшную душу дьяволы по мытарствамъ тащатъ, когда ведутъ его на поруганіе по Ильинкѣ, и эта улица кажется ему за сто верстъ! Этого мало, и совѣсть возстаетъ на виновнаго, пугая его призраками кары небесной. Какъ онъ взглянетъ на ликъ Пречистой Дѣвы, когда пойдетъ мимо Иверской? Отрезвленный полнымъ сознаніемъ преступленія, Большовъ видитъ въ себѣ Іуду: этотъ за деньги продалъ Іисуса Христа, а онъ—совѣсть свою! Наконецъ, предстаютъ передъ нимъ и земныя страшила—присутственные мѣста, уголовная палата, Сибирь... Вотъ когда онъ начинаетъ уже не

требовать отъ дѣтей своей собственности, а *со слезами проситъ у нихъ Христа ради!* Никакъ не можете вы отказать Большову въ чувствѣ жалости, и не только какъ къ несчастному отцу, но и какъ къ преступнику. Правда, онъ погралъ нравственный и гражданскій законъ, но и возмездіе понесъ несоразмѣрно тяжкое; со всѣхъ сторонъ, градомъ посыпались на него удары: неблагодарность дѣтей, общественный позоръ, угрызенія совѣсти, страхъ передъ закономъ божественнымъ и гражданскимъ, — предчувствія суда Божія и наказанія человѣческаго.

Профессоръ Селинъ.

„Доходное мѣсто“. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

*) Нынѣшняя осень богата спектаклями любителей; въ непродолжительное время успѣли сыграть нѣсколько пьесъ самаго разнообразнаго характера; но изъ всѣхъ этихъ спектаклей самымъ выдающимся, какъ по достоинствамъ пьесы, такъ и по выполненію ея, былъ спектакль 4-го ноября. Играли „Доходное мѣсто“ Островскаго—и играли отлично. Тутъ выборъ пьесы и ея исполненіе соединились, чтобы произвести неотразимое впечатлѣніе. Несомнѣнно, что „Доходное мѣсто“—одна изъ лучшихъ комедій Островскаго; это одно изъ тѣхъ произведеній, которыя не могутъ не произвести болѣе или менѣе сильнаго впечатлѣнія на публику, не подѣйствовать на ея сознаніе, потому что они затрогиваютъ самые животрепещущіе вопросы общественной и семейной жизни. Тутъ выводится на сцену борьба между узкимъ, своекорыстнымъ, съ одной стороны, и честнымъ, хотя нѣсколько дѣтски экзальтированнымъ взглядомъ, съ другой, на гражданскія обязанности человѣка и на жизнь вообще. Нельзя, впрочемъ, не замѣтить, что для этой борьбы авторъ снабдилъ обѣ стороны далеко не равными силами. Дрянной и узко эгоистическій взглядъ на жизнь

*) „Херсонскія Губернскія Вѣдомости“ 1868 г., № 86.

защищается людьми сильными, „пошлымъ опытомъ—умомъ глупцовъ“, по словамъ поэта; взглядъ этихъ людей и узокъ и парадоксаленъ, но онъ ясенъ, опредѣленъ; они стоятъ на твердой почвѣ; въ ихъ убѣжденіяхъ и дѣйствіяхъ нѣтъ никакого раздвоенія; словомъ, они сильны въ сравненіи съ дѣтски-наивнымъ Жадовымъ, у котораго никакъ нельзя предположить твердыхъ, выработанныхъ жизнію убѣжденій, рѣчь котораго отзывается книжностью и дидактизмомъ — и потому пасуетъ предъ пошлыми, но вполне прочувственными рѣчами его противниковъ... Невольно досадуешь на автора за то, что онъ, вмѣсто Жадова, не вывелъ на сцену человѣка, который строго-логической и разумной аргументаціею торжественно опровергалъ бы—положеніе за положеніемъ—ложную теорію Вишневскихъ и Юсовыхъ; словомъ, человѣка, который явился бы не проповѣдникомъ отвлеченной добродѣтели и гражданскихъ доблестей, а защитникомъ широкаго и разумнаго взгляда на жизнь. Такое требованіе оправдывается еще претензіей автора на созданіе современнаго типа молодого человѣка, что ему далеко не удалось. Типъ, созданный имъ не принадлежитъ къ новому поколѣнію; онъ имѣетъ гораздо болѣе общаго съ отживающимъ типомъ идеалистовъ. Эти недостатки въ созданіи типа дѣлаютъ роль Жадова особенно трудною: нуженъ несомнѣнный талантъ, чтобы исполнить ее такъ, какъ она была исполнена въ спектаклѣ 4-го ноября; благодаря этому вполне артистическому исполненію, всѣ фальшивыя ноты этой роли были какъ-то незамѣтны, и Жадовъ вышелъ живымъ лицомъ даже въ первомъ актѣ, гдѣ ему приходится болѣе декламировать, нежели дѣйствовать; такому удачному выполненію много способствовала необыкновенная простота игры: ни лишняго жеста ни лишняго повышенія голоса, — словомъ, никакого намека на аффектацію. Но лучше всего былъ Жадовъ въ четвертомъ дѣйствіи, гдѣ мастерски очерчено паденіе его. Это дѣйствіе особенно хорошо удалось автору потому, что положеніе героя тутъ самое естественное, неизбѣжно вытекающее изъ его характера. Человѣкъ, который могъ увлечься такою дурочкою, какъ По-

линька, не могъ устоять противъ подводныхъ камней дѣйствительной жизни. Предположимъ даже, что увлеченіе Полинькою достаточно объясняется ея невинностью и неиспорченностью, надеждою перевоспитать ее (за что, при крайней ограниченности матерьяльныхъ средствъ, не совсѣмъ кстати было браться); допустимъ, что увлеченіе Полинькой простиительно человѣку развитому... Но какъ объяснить то обстоятельство, что онъ, послѣ годового неудачнаго опыта, убѣдившись въ невозможности для себя выработать что-либо порядочное изъ характера своей жены, не охладѣлъ къ ней, а продолжалъ любить—и съ такою горячностью, что, когда ему пришлось выбирать между женою и своими честными убѣжденіями, онъ пожертвовалъ послѣдними первой? И такая жертва была принесена послѣ сцены, въ которой Полинька не могла не произвести отталкивающаго впечатлѣнія своею пошлостію. Самому Жадову становилось гадко отъ ея рѣчей, и, однако, онъ не остановился передъ такою жертвою. Такое положеніе, неестественное для молодого человѣка, вполне удовлетворяющаго современному идеалу, неизбежно для Жадова. Оттого эта сцена вышла лучше другихъ, и выказала всю изящность игры любителя.

Изъ „Херсонскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ за 1868 г.

„На всякаго мудреца довольно простоты“. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

*) 6-го ноября, въ бенефисъ Вильде, въ первый разъ шла новая комедія г. Островскаго: *На всякаго мудреца довольно простоты*. Піеса эта, еще до появленія своего на сценѣ возбуждая много толковъ, съ нетерпѣніемъ ожидаема была публикой. Театръ былъ полонъ. Первой піесой въ этотъ бенефисъ шла маленькая одноактная комедія, *Три косточки*, до того лишенная малѣйшаго достоинства, какъ литературнаго, такъ и сценическаго, до

*) „Современная Лѣтопись“ 1868 г., № 39.

того пустая по содержанію, что положительно отнимаетъ всякую охоту не только разбирать ее, но даже и говорить о ней. Занавѣсъ упалъ при непродолжительномъ, но единодушномъ шиканьи публики... оцѣнка совершенно безпристрастная и вѣрная. За нею шла капитальная пьеса бенефиса, пяти-актная комедія г. Островскаго. Егоръ Дмитріевичъ Глумовъ, молодой человѣкъ безъ всякаго состоянія и общественнаго положенія, но одаренный не дюженнымъ умомъ и безграничнымъ честолюбіемъ, рѣшается во что бы то ни стало выйти въ люди. Онъ пристально оглядывается вокругъ себя и рѣшаетъ въ душѣ, что единственный путь къ какому бы то ни было успѣху—путь интриги, обмана и лести; единственное средство выйти изъ гнетущей его среды—хитрость и униженіе. Принимая это за основное правило своихъ дѣйствій, онъ начинаетъ съ того, что научаетъ и принуждаетъ мать свою, женщину недалнюю, хотя тоже хитрую и пронырливую, посредствомъ анонимныхъ писемъ разбить свадьбу гусара Курчаева, помолвленнаго съ племянницей Турусиной, богатой барыни, купческаго происхожденія, которая за воспитанною ею племянницей, Машенькой, даетъ 200 тысячъ приданого. Послѣ этого онъ посредствомъ хитрости знакомится со своимъ богатымъ родственникомъ, Мамаевымъ, величайшимъ оригиналомъ, который избралъ себѣ спеціальностью ѣздить смотрѣть квартиры (не имѣя въ нихъ никакой надобности) и давать всѣмъ и каждому не прошенные совѣты. Заманивъ, съ помощью подкупленнаго лакея, чудака Мамаева къ себѣ, подъ предлогомъ отдающейя квартиры, онъ сначала прикидывается простячкомъ, какъ будто нечаянно узнаетъ, что Мамаевъ ему дядя, отдается весь въ его распоряженіе, и проситъ только одного въ награду за свою полную преданность,—совѣтовъ и руководства. Мамаевъ, который только тѣмъ и бредитъ, чтобы кѣмъ-нибудь управлять и изливать на кого-нибудь свою страсть къ совѣтамъ и нравоученіямъ, безъ ума отъ новаго родственника, который тутъ же, *s'en se tenant*, какъ-бы совершенно нечаянно, окончательно роняетъ въ глазахъ Мамаева того же самаго Курчаева, ко-

торый старику тоже приходится племянникомъ, и котораго тотъ прочилъ было себѣ въ наслѣдники. Овладевъ дядей, Глумовъ начинаетъ дѣйствовать на жену его, барыню еще молодую, чрезвычайно экзальтированную, и придающую большую цѣну и значеніе мужской красотѣ, въ которой она знаетъ толкъ. Мамаевъ знакомитъ племянника съ Крутицкимъ, очень важнымъ господиномъ, отставнымъ генераломъ изъ военныхъ, человѣкомъ чрезвычайно напыщеннымъ, пустымъ, бесполезнымъ и себѣ и другимъ, и между тѣмъ старающимся увѣрить всѣхъ, и прежде всѣхъ себя самого, что онъ много думаетъ, много работаетъ головой, и что различные прожектъ, плоды его глубокихъ соображеній, какъ нельзя болѣе полезны обществу. Между тѣмъ, все придуманное имъ такъ неловко, такъ безсвязно слагается въ его умѣ, и такъ нескладно выражается имъ, что онъ самъ чувствуетъ это, и, познакомившись съ Глумовымъ, поручаетъ молодому человѣку редижировать и письменно изложить его мысли, дать его прожектъ тотъ литературный лоскъ, то значеніе, которыхъ онъ не умѣетъ придать самъ. Другого важнаго господина изъ штатскихъ, Городулина, постоянно старающагося молодиться и корчащаго изъ себя либерала, съ которымъ знакомитъ его тетка, жена Мамаева, онъ закидываетъ фразами, ослѣпляетъ идеями либерализма, такъ красиво выраженными, такъ свѣтски красно-рѣчиво проведенными, что Городулинъ, внѣ себя отъ восторга, обѣщаетъ ему и видное мѣсто и свою протекцію, и поручаетъ ему написать рѣчь, которую ему необходимо произнести въ тотъ день на какомъ-то важномъ обѣдѣ. Забравъ, такимъ образомъ, въ руки семейство дяди и обоихъ старичковъ, и обезпечивъ себя какъ въ матеріальномъ, такъ и въ служебномъ отношеніяхъ, Глумовъ, посредствомъ подкупленныхъ имъ предсказательницъ и приживалокъ, передъ которыми благоговѣтъ Турусина, вѣрная своимъ купеческимъ преданіямъ, втирается въ домъ богатой вдовы, которая, убѣжденная видѣніями и прорицаніями окружающихъ ее юродивыхъ, даетъ свое согласіе на бракъ его съ своею племянницей, отказавъ предварительно бывшему жениху,

гусару Курчаеву, вслѣдствіе полученныхъ о немъ анонимныхъ писемъ. Кажется, все удалось нашему герою, всѣ его условія, всѣ ухищренія его предприимчиваго ума удались какъ нельзя лучше, остается только покоиться на лаврахъ; но вотъ тутъ-то и камень преткновенія, тутъ-то и доказательство, что „на всякаго мудреца довольно простоты“. Глумовъ, постоянно со всѣми притворствующій, никогда не произносящій ни одного честнаго прямого слова, чувствуетъ потребность высказаться хоть предъ самимъ собой, и заводитъ дневникъ, въ который заноситъ всѣ свои мысли, всѣ свои впечатлѣнія, такъ какъ они есть, называя вещи своими именами, давая всему его окружающему вѣрную и нелицемѣрную оцѣнку. Этотъ-то дневникъ, разоблачающій всего Глумова, открывающій предъ всѣми окружающими всю душу, весь внутренній міръ этого человѣка, попадаетъ въ руки Мамаевой, которая, уже возстановленная противъ Глумова, ненавистнаго для нея женитьбой молодого человѣка, которую онъ тщательно старался скрывать отъ нея, показываетъ этотъ дневникъ всѣмъ окружающимъ, изъ которыхъ всякій встрѣчаетъ въ немъ и себя, въ самыхъ нелестныхъ отзывахъ, съ самою неумолимою, недоброжелательною оцѣнкой. Тутъ же, рядомъ съ рѣзко выраженными мнѣніями обо всемъ окружающемъ, стоятъ и записки дневнаго расхода Глумова, перечень его приношеній гадалщицамъ и юродивымъ, съ которыми онъ въ глазахъ всѣхъ никогда не встрѣчался. Въ ту минуту какъ общество, въ полномъ сборѣ, читаетъ свою нелестную оцѣнку, входитъ Глумовъ, и осажденный со всѣхъ сторонъ упреками, какъ истый герой, не колеблясь ни минуты, прямо сознается въ своемъ обманѣ, самъ съ презрѣніемъ отзывается о своей лжи какъ о единственномъ средствѣ добиться до чего-нибудь хорошаго въ жизни, и съ полнымъ пренебреженіемъ ко всему его окружающему, сознается, что былъ благороденъ только въ тѣ минуты, когда писалъ этотъ дневникъ, который служитъ выраженіемъ его искренняго убѣжденія. Съ сильнымъ вызывающимъ и краснорѣчивымъ словомъ обращается онъ порознь къ каждому изъ окружающихъ его

лицъ, и въ заключеніе говоритъ имъ, что не онъ въ нихъ, а они въ немъ всегда нуждались и будутъ нуждаться, и что трудно каждому изъ нихъ отдѣльно и всѣмъ вмѣстѣ вновь найти себѣ то, что они въ немъ теряютъ. Бросивъ имъ въ лицо этотъ смѣлый вызовъ, съ неожиданнымъ, поражающимъ апломбомъ выдержавъ всю неловкость своего положенія, Глумовъ гордо уходитъ и оставляетъ всѣхъ пораженными и глубоко недоумѣвающими. Наконецъ, мало-по-малу всѣ приходятъ въ себя, и единодушно рѣшаютъ, что имъ все таки пренебрегать не слѣдуетъ, а, напротивъ, надо утѣшить и ободрить, по всей вѣроятности, сильно сконфуженнаго молодого человѣка. Этимъ рѣшеніемъ кончается пьеса.

Публика приняла новую пьесу чрезвычайно благосклонно, неоднократно вызывая какъ автора, такъ и исполнителей. Успѣхъ этой комедіи упроченъ на нашей сценѣ, какъ успѣхъ всего вышедшаго изъ-подъ даровитаго пера г. Островскаго. Но именно это-то глубоко-уважаемое въ драматической литературѣ имя и заставляетъ насъ съ бѣльшею внимательностію, съ бѣльшею требовательностію отнестись къ этому новому его произведенію.

Піеса эта, совершенно выходя изъ круга обыкновенной литературной дѣятельности нашего драматурга, переноситъ насъ совершенно въ другую среду, нежели та, которую до сей минуты такъ неутомимо рисовало намъ его художественное перо, не даетъ намъ на этой новой почвѣ той полноты впечатлѣнія, къ которой привыкли мы въ піесахъ г. Островскаго; это, по мнѣнію нашему, почти не комедія, это скорѣе сцены современной жизни, сцены художественно вѣрныя, написанныя мастерскою, опытною рукою, но сцены отрывочныя, наскоро связанныя между собой, и связанныя мѣстами не настолько крѣпко, чтобы составить одно стройное цѣлое. Въ произведеніяхъ г. Островскаго мы привыкли къ тому, что, по русскому выраженію, ни слова не прибавишь ни выкинешь, а въ новой піесѣ, о которой идетъ рѣчь, есть порой и недосказанное, а порой и черезчуръ растяннутое. Къ числу послѣдняго безспорно принадлежитъ

1-я сцена 4-го акта между генераломъ и Глумовымъ, гдѣ хотя и съ поразительною, но тѣмъ не менѣе и съ утомительною вѣрностью, переданы и глупая самоувѣренность выжившаго изъ ума старика и рабская лесть хитраго Глумова, дѣлающаго себѣ изъ напыщенной самовадѣянности Крутицкаго ступень къ достиженію своихъ честолюбивыхъ цѣлей.

Личность Манефы, стоящей во главѣ всѣхъ юродивыхъ и гадальщицъ, которыми наполненъ домъ Турусиной, хотя и взята изъ жизни, но, по мнѣнію нашему, сильно страдаетъ преувеличеніемъ.

Не менѣе утрировано и почти совершенно лишнее въ піесѣ лицо журналиста Голутвина, коему чуждо все его окружающее. Страдаетъ также шаржировкой и одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, старикъ Мамаевъ, представляющій намъ несомнѣнно рѣдко встрѣчающійся типъ человѣка, проводящаго всю жизнь въ смотрѣніи ненужныхъ ему квартиръ, и, при недовѣрчивости свойственной и его характеру и его лѣтамъ, довѣряющаго свою жену первому едва знакомому ему человѣку, котораго самъ же добродушнѣйшимъ образомъ учитъ и проситъ за нею ухаживать, и являющаго намъ множество другихъ, подчасъ ничѣмъ не объяснимыхъ странностей. Гусаръ Курчаевъ, типъ настолько пустой и ничтожный, что противъ него и бороться не стѣитъ; такому сильному характеру какъ Глумовъ, по мнѣнію нашему, можно бы было противопоставить личность, рѣзче и глубже очерченную, нежели этотъ полудурачокъ гусаръ.

Да проститъ намъ авторъ это, можетъ-быть, нѣсколько черезчуръ разборчивое сужденіе. Мы скажемъ о немъ какъ Montaigne: „voilà mon opinion, je ne la donne pas comme bonne, je la donne comme mienne“, притомъ же наше извиненіе въ томъ именно уваженіи, которое питаемъ мы къ таланту автора, приучившаго насъ къ полному и художественно-вѣрному изображенію выводимыхъ имъ типовъ и лицъ.

Изъ „Современной Лѣтописи“.

*) Живетъ въ Москвѣ Глафира Климовна Глумова съ молодымъ сыномъ своимъ, Егоромъ Дмитриевичемъ, который и есть герой пьесы. Молодой человѣкъ учился плохо, много кутилъ и отличался въ пьяномъ видѣ мужествомъ, которое выражалось, даже на глазахъ полиціи, въ разбитіи извѣстныхъ заведеній. Зритель застаётъ его въ то время, когда онъ уже образумился и взялъ твердую рѣшимость составить себѣ карьеру. „Я уменъ, золъ и завистливъ“ — такъ рекомендуетъ онъ себя въ разговорѣ съ матерью, которая, съ своей стороны, готова всѣмъ материнскимъ сердцемъ помогать ему. Они понимаютъ другъ друга, и другъ друга достойны; но мать, какъ женщина слабая и неразвитая, на инициативу неспособна, и эту сторону всю сполна беретъ на себя сынъ, составляющій подробный планъ дѣйствія, разсмотрѣть который мы должны подробно для того, чтобъ по комбинаціи судить о комбинаторѣ.

Есть у Глумова богатый дядюшка, статскій совѣтникъ Мамаевъ, человѣкъ не далекій, не злой, но любящій говорить обширныя проповѣди всѣмъ тѣмъ, которые къ нему близки. Во время крѣпостного права онъ удовлетворялъ этой особенности своего характера, бесѣдуя съ дворовыми, за что и цѣнитъ особенно то блаженное время, вспоминая о немъ съ трепетомъ сердечнымъ.

„Я не строгій человѣкъ, а только словами донимать люблю, до чувства доводить, часа по два давать наставленія и совѣты“, говоритъ онъ.

Такъ какъ въ настоящее время охотниковъ слушать его наставленія стало мало, то Мамаевъ пропалъ бы со скуки, если бъ не развлекался отчасти осмотромъ квартиръ, что также сдѣлалось нѣкоторой его пассіей. Кромѣ того, Мамаевъ обладалъ еще одной особенностью: онъ не любилъ родственниковъ, держалъ себя въ сторонѣ отъ нихъ, приближая то одного, то другого, смотря по тому, кто умѣлъ снискать его благорасположеніе. Въ пользу любимца онъ составлялъ обыкновенно завѣщаніе, потомъ уничтожалъ его,

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1868 г., № 301. („На всякаго мудреца довольно простоты“). Статья Незнакомца (А. Суворина).

какъ скоро любимецъ имѣлъ несчастіе чѣмъ-нибудь про-
штрафиться. Замѣтимъ, что черты эти, при своей исклю-
чительности, слишкомъ мелки, чтобъ можно было класть
ихъ въ основу характера одного изъ главныхъ лицъ ко-
медіи, на простотѣ котораго основались планы героя пьесы.

Глумову приходилось воспользоваться слабыми сторонами
характера своего дядюшки, котораго онъ изучилъ по слу-
хамъ и рассказамъ. Задача весьма посредственная, не тре-
бующая никакихъ комбинаторскихъ способностей. Онъ под-
кунаетъ дядюшкина лакея, чтобъ тотъ указалъ своему ба-
рину на квартиру Глумова. Дядюшка придетъ ее осматривать,
и тогда можно съ нимъ познакомиться и даже очаровать
его. Но у дядюшки есть любимецъ, другой племянникъ,
гусаръ Курчаевъ, считающійся женихомъ весьма богатой
невѣсты Машеньки, живущей съ теткой своей, вдовой Софь-
ей Игнатьевой Турусиной, родомъ изъ купчихъ, весьма
богомольной и окруженной странниками, странницами, га-
дальщицами и блаженными, между которыми, по дару про-
рочества, первенствующее мѣсто занимаетъ нѣкая Манеѳа—
второе изданіе знаменитаго Ивана Яковлевича, подражаю-
щая ему въ грубости и загадочности своего разговора и
поступковъ.

Надо устранить дядюшкина любимца и отъ дядюшки и
отъ Турусиной. Комбинатору, претендующему на умъ и на
сообразительность, помогаетъ, во-первыхъ, случай, во-вто-
рыхъ, продажная Манеѳа. Случай заключается въ томъ, что
Курчаевъ, будучи знакомъ съ Глумовымъ, приходитъ къ
нему съ Голутвинымъ, „человѣкомъ, не имѣющимъ заня-
тій“, пускавшимся въ литературу, но всѣми отвергнутымъ
и рѣшившимся, въ концѣ концовъ, попробовать свои силы
надъ сочиненіемъ скандаловъ, которые въ такомъ ходу въ
московской печати. Во время разговора Курчаевъ чертитъ
на бумагѣ портретъ своего дядюшки и уходитъ. Глумовъ,
какъ комбинаторъ, долженъ, конечно, спрятать этотъ порт-
ретъ, который послужитъ ему источникомъ благъ. Онъ такъ
и дѣлаетъ, сообщая свои намѣренія матушкѣ. Приходитъ
осматривать квартиру Мамаевъ; Глумовъ увлекаетъ его
въ разговоръ.

— Вы зачѣмъ же хотите перемѣнить квартиру?

— Она мнѣ не по средствамъ.

— Гмъ! Значить поменьше взять хотите?

— Нѣтъ, я побольше хочу взять?

— Побольше? Какъ же это такъ? Говорите, что и эта вамъ не по средствамъ, а побольше еще больше будетъ не по средствамъ.

— Что дѣлать! Я глупъ.

— Глупъ?

— Да, я глупъ.

— Вотъ странный человѣкъ. Самъ о себѣ говоритъ, что онъ глупъ.

— Отчего же не говорить, если ума у меня нѣтъ, и если некому меня наставить. Вотъ если бѣ былъ возлѣ меня человѣкъ, который могъ бы руководить мной, указывать мнѣ,—о, какъ я былъ бы ему благодаренъ, какъ любилъ бы его.

— Да неужели родныхъ у васъ нѣтъ?

— Есть дядя, да онъ не интересуется мной, а я не хочу къ нему идти первый и заискивать въ немъ. Я бѣденъ, онъ богатъ; пожалуй, подумаетъ, что я изъ-за денегъ хлопочу, а я на этотъ счетъ гордъ.

Зритель ждетъ и видитъ, что все кончается преблагополучно, что сейчасъ Мамаевъ спроситъ объ имени дядюшки, узнаетъ, что этотъ дядюшка онъ самъ, и что передъ нимъ—племянникъ, готовый выслушивать по цѣлымъ часамъ наставленія и безпрекословно подчиняться руководству. Находка такъ пріятна водевильному дядюшкѣ, что онъ приглашаетъ племянника къ себѣ, и обнаруживаетъ желаніе познакомиться съ его матерью. Глафира Климовна влетаетъ и, послѣ первыхъ привѣтствій, вдругъ говоритъ.

— Да онъ не похожъ, совсѣмъ не похожъ.

— Тсъ! Что вы, маменька?

— Да ей-богу же не похожъ.

— Что вы тамъ шепчетесь? На кого я не похожъ?

— Да на портретъ свой не похожъ.

— Какой портретъ?

— А вотъ Курчаевъ тутъ вашъ портретъ нарисовалъ. Совсѣмъ не похожъ.

— Какой портретъ? Покажи его, сейчасъ покажи!

Племянникъ притворился сконфуженнымъ; ищетъ портрета, и съ упрекомъ обращается къ матери, которая поглупости выдала шалость молодого человѣка. Дядя, разумѣется, въ бѣшенствѣ и, пригласивъ племянника къ себѣ, уходитъ. Является Манеѣа. Мать и сынъ встрѣчаютъ ее съ подобострастіемъ и подъ руки ведутъ на сѣдалище.

— Была сейчасъ въ нѣкоемъ благочестивомъ домѣ—десять рублей дали, говоритъ она.

— Вотъ вамъ пятнадцать рублей, поспѣшаетъ Глумовъ: поминайте почаще въ своихъ молитвахъ раба божія Егора.

Такимъ образомъ, сѣти закинуты: къ дядюшкѣ—непосредственно, къ Турусиной—съ помощью Манеѣы. Еще въ первомъ же актѣ является Курчаевъ и объявляетъ, что дядюшка прогналъ его. Глумовъ торжествуетъ. Во второмъ дѣйствіи мы находимъ его среди міра знакомыхъ Мамаева. Онъ умѣлъ совершенно очаровать дядюшку и, посредствомъ маменьки, закинуть удочку въ сердце тетушки, особы еще не совсѣмъ старой и великой кокетки. Глафира Климовна исполняетъ возложенную на нее роль, и тетушка таетъ, выражая ту мысль, что красивый молодой человѣкъ не долженъ пропадать, что красивый молодой человѣкъ невольно возбуждаетъ симпатіи женщинъ:

— Мы выведемъ его въ люди, говоритъ она. Мы поднимемъ на ноги мужей, знакомыхъ, всѣ власти, и опредѣлимъ его.

— А ужъ какой онъ почтительный, говоритъ мать. Еще ребенкомъ видѣлъ онъ сонъ: явились къ нему ангелы и говорятъ: люби папашеньку и мамашеньку, а вырастешь—люби начальниковъ. Повѣрите ли—съ тѣхъ самыхъ поръ онъ исполняетъ это. Порокуководствуйте, порокуководствуйте имъ.

— Будемъ, будемъ руководить.

Удача во всемъ, какъ въ сказкѣ, по щучьему велѣнію, преслѣдуетъ молодого человѣка. Покровители, какъ снѣгъ,

валятся къ нему на голову: кромѣ дядюшки и тетюшки, пособниками въ его карьерѣ являются: „старый, очень важный господинъ“, Крутицкій, и „молодой, важный господинъ“, Городулинъ. Крутицкій—консерваторъ, въ лучшемъ, то есть въ самомъ откровенномъ значеніи этого слова. Онъ не любилъ реформъ, потому что они нарушили старый, прочный порядокъ и выдвинули впередъ молодая силы, молокососовъ. Онъ сравниваетъ реформы съ солиднымъ, прямо стоящимъ столомъ, который перевернули вверхъ ногами. Что можетъ быть хуже этого? Понятно, что столъ долженъ принять свое нормальное положеніе, иначе онъ не столъ, а чертъ знаетъ что. Крутицкій—человѣкъ не далекій, ухитрившійся, по выраженію Глумова, въ шестьдесятъ лѣтъ сохранить умъ пятилѣтняго ребенка. Голова его занята прожеками „о вредѣ реформъ вообще“. Реформа, по его мнѣнію, вредна по своей сущности, потому что она реформа, потому что она заключаетъ въ себѣ два дѣйствія, оба одинаково бесполезныя: одно—отметающее старое, другое — поставляющее вмѣсто стараго — новое. Реформа есть уступка такъ-называемому духу времени; но духъ времени есть измышленіе праздныхъ умовъ, а потому съ нимъ церемониться нечего. Онъ считаетъ весьма полезнымъ—исправлять молодое поколѣніе трагедіями Озерова и Сумарокова, изъ которыхъ онъ постоянно цитируетъ стихи. „Для дворянъ надо давать трагедіи, давать черезъ день, потому что трагедіи возбуждаютъ въ душѣ высокіе помыслы, повиновеніе начальству, уваженіе къ старшимъ; для разночинцевъ можно давать комедію и фарсы. Кромѣ того, намъ самимъ писать надо, непременно писать, писать и писать. Коль хочешь приносить отечеству пользу—умѣй владѣть перомъ. А мы что дѣлаемъ? Мы только молчимъ, да тихонько жалуемся. Я пишу, но, къ сожалѣнію, излагаю мысли стилемъ, близкимъ къ стилю Ломоносова“. Для исправленія такого стиля ему понадобился Глумовъ, который и берется исправить его прожектъ въ литературномъ отношеніи и называетъ его „трактатомъ о вредѣ реформъ вообще“.

— Отчего же вы назвали „трактатъ, а не прожектъ?“

— Оттого, ваше превосходительство, что прожектомъ называется также сочиненіе, которое что-нибудь представляетъ, а вы отвергаете всѣ реформы вообще.

— Вообще... Это слово, я думаю, слишкомъ сильно.

— Помилуйте, ваше превосходительство, вы излагаете святыя, неоспоримыя истины.

— Неоспоримыя, то-есть, которыя отвергнуть нельзя?

— Нельзя, ваше превосходительство.

О, если бѣ консерваторы были такъ откровенны и такъ глухи, то не съ кѣмъ было бы бороться, и нечего было бы опасаться. Эти развалины возбуждаютъ только смѣхъ и жалость; онѣ не способны ни на инициативу ни на дѣятельную интригу, которая ползкомъ, темными путями, подъ видомъ благонамѣренности и патріотизма, пробивается во всѣ углы и свиваетъ паутину столь густую, что она закрываетъ свѣтъ солнца и грозитъ мракомъ. Крутицкіе и въ средѣ консерваторовъ, кромѣ презрѣнія и смѣха, ничего не увидятъ, и ни одна редакція не рѣшится напечатать ихъ измышленій, столь же тупоумныхъ, сколько откровенныхъ. Настоящіе консерваторы гораздо ехиднѣе и гораздо искуснѣе. Они говорятъ, напротивъ: „Мы не отвергаемъ реформъ, но и не отрицаемъ недовольства ими многихъ и многихъ. Но недовольство наше вызывается отнюдь не самыми преобразованіями. Въ людяхъ, преданныхъ основнымъ началамъ общественнаго благоустройства, это недовольство вызывается не самыми преобразованіями, а тѣми уклоненіями, которыя часто видоизмѣняютъ основную мысль преобразованія. Оно вызывается тѣми способами, коими великія—по своимъ основаніямъ—преобразованія приведены въ исполненіе. Послѣдствія объясняютъ это недовольство: въ области экономической — упадокъ сельскаго хозяйства, въ области политической—явленіе такихъ принциповъ, которые всѣми — какъ авторитетами науки, такъ и государственными людьми всѣхъ странъ—признаны за существенно - демократическіе. Отчего это произошло? Гдѣ причины такого противорѣчія между великодушными, искрен-

но-либеральными и духу и времени соответствующими коренными основами преобразований нынѣшняго времени, которымъ всѣ сочувствуютъ и всѣ рукоплещутъ, — и уже теперь достаточно выяснившимися результатами? Причины эти заключаются въ свойствахъ людей и въ направленіи общественной мысли, которая въ силу исключительныхъ обстоятельствъ господствовала въ періодъ выработки проектовъ преобразований. Эти проекты вырабатывали радикалы, и радикалы приводили ихъ въ исполненіе. Призовите насъ, дайте намъ силу и власть — Россія процвѣтетъ и укрѣпится“.

Только въ минуты отчаянія, въ минуты безсильнаго гнѣва они проговариваются всѣми похотями, всѣми вождѣльніями стараго порядка, но проговариваются опять-таки умнѣе, чѣмъ Крутицкій. Если-бъ г. Островскій выставилъ такого консерватора, если-бъ онъ показалъ его на словахъ и на дѣлѣ, если-бъ онъ заставилъ зрителя прослѣдить за его тайною интригой, за его подземною работою, работою крота, которому тьма такъ свойственна, — то произведеніе его много бы выиграло; но Крутицкаго консерваторы не могутъ признать своимъ, и тѣмъ менѣе могутъ дозволить ему фигурировать съ „трактатомъ о вредѣ реформъ вообще“.

Городулинъ—либераль, но при этомъ совершеннѣйшая ничтожность, довольно откровенно сознающая въ томъ. Онъ ловитъ фразы, онъ преклоняется передъ тѣми, кто блещетъ краснорѣчіемъ и нанизываетъ въ своей памяти благородныя изреченія. Глумовъ понимаетъ этого господина, который, являясь къ Мамаевой, за которой онъ ухаживаетъ, отвѣчаетъ на вопросъ ея: какимъ вѣтромъ и какою бурей его принесло: „тѣмъ вѣтромъ, который у меня въ головѣ, и тою бурей, которая бушуетъ въ моей груди.“ Глумовъ разсыпается передъ нимъ либеральными фразами о томъ, что теперь требуется отъ чиновника: отъ него требуется лакейство, прикрытое граціозностью, холопство, соединенное съ благородствомъ, „легкое порханіе“ по всѣмъ предметамъ и передъ всѣми людьми. Глумовъ это ненавидитъ; онъ хочетъ служить дѣлу, а не лицамъ, онъ хо-

четь прямо стать передъ меньшею братіей и благодѣтельствовать ей. „Все бумага и формы, говоритъ онъ: цѣлая крѣпость бумаги и формъ, и изъ этой крѣпости летятъ пріятно порхающіе циркуляры“.

— Напишите мнѣ это, напишите мнѣ все — я завтра опять буду говорить. О, такіе люди какъ вы, намъ нужны... Знаете что? напишите-ка мнѣ весь спичъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ.

— Теперь, отвѣчаетъ Городулинъ съ откровенностью, съ отличными способностями некуда дѣваться. Всѣ мѣста заняты... Одно мѣсто занято Бисмаркомъ, другое — Бейстомъ.

Городулинъ, очарованный Глумовымъ, обѣщаетъ ему хорошее мѣсто, при помощи, впрочемъ, Мамаевой, которая проситъ о томъ своего обожателя, рекомендуя ему Глумова, какъ человѣка съ отличными способностями. Самъ Мамаевъ совѣтуетъ племяннику ухаживать за тетушкой, внушая ему, что женщины, во-первыхъ, не прощаютъ тѣмъ, кто не замѣчаетъ ихъ красоты, во-вторыхъ, что тетушка можетъ быть ему полезна; кромѣ того, это ухаживаніе полезно и самому Мамаеву, ибо спасаетъ его жену отъ такого обожателя, который, пожалуй, можетъ быть опасенъ; между тѣмъ, какъ ухаживаніе племянника за тетушкой не можетъ идти дальше простого амурничанья ужъ по самой родственности ихъ.

Третій актъ переноситъ насъ къ Турусиной, въ сферу приживалокъ, блаженныхъ, странныхъ и гадальщицъ, сферу, столь хорошо извѣстную г. Островскому. Турусина недовольна Курчаевымъ, женихомъ Машеньки. Она получила на его счетъ анонимныя письма, которыя, какъ въ послѣдствіи оказалось, писаны были Глумовымъ. Курчаевъ, кромѣ того, слишкомъ откровененъ насчетъ гадальщицъ. Такъ разъ Турусина сказала:

— У моей Матрены отъ святости начинается лицо свѣтиться.

— Оно свѣтится вовсе не отъ святости, а отъ жиру, отвѣчалъ гусарь. Машенькѣ не хочется разстаться съ Курчаевымъ, потому что она хочетъ пожить, повеселиться.

— Я, тетушка, говоритъ она, во всемъ съ васъ примѣръ буду брать. Я знаю, что вы пожили, повеселились, а потомъ раскаялись. Я тоже погрѣшу и раскаюсь. Мнѣ жалко Курчаева, но если вы непременно хотите—я разстанусь съ нимъ. Я, милая тетушка, барышня московская, и не пойду замужъ безъ денегъ и благословенія.

— Надо ждать указанія, замѣчаетъ тетушка. Безъ особаго указанія я никакъ не рѣшусь.

Это „особое указаніе“ уготовано Глумовымъ, котораго рекомендуютъ Турусиной и Крутицкій, и Мамаевъ, и Городулинъ, о которомъ предсказываетъ, наконецъ, Манеѳа, являющаяся какъ разъ въ-время.

— Придетъ Егоръ съ высокихъ горъ, говоритъ она, и затѣмъ, въ столь же фигуральныхъ выраженіяхъ, предсказываетъ, что женихъ — брюнетъ и ужъ ждетъ у воротъ. Человѣкъ докладываетъ о Мамаевѣ и Егорѣ Глумовѣ. Особое указаніе дано, чудо совершилось; Турусина велитъ своимъ приживалкамъ отвести Манеѳу подъ руки и дать ей чаю.

— Кто пьетъ чай — тотъ отчаянный, мудро замѣчаетъ гадальщица.

— Ну, дайте ей, чего она хочетъ.

Я подробно изложилъ три акта, такъ какъ это лучшіе акты въ пьесѣ. Въ нихъ есть сцены, очень хорошо написанныя, діалоги блестящіе, часто дышащіе остроуміемъ, которое вызывало общее одобреніе; дѣйствіе идетъ довольно живо и естественно и, кажется, обѣщаетъ впереди хорошую развязку, несмотря на нѣкоторыя водевильныя подробности въ завязкѣ, на которыя я указалъ въ началѣ разбора. Но, увы, эти водевильныя подробности снова явились въ четвертомъ и пятомъ дѣйствіяхъ, и ослабили хорошее впечатлѣніе, которое производится вторымъ и третьимъ актомъ.

Еще первая картина четвертаго дѣйствія—хороша. Это свиданіе Крутицкаго съ Глумовымъ и Мамаевой. Глумовъ такъ униженно подличаетъ передъ Крутицкимъ, что тотъ, несмотря на то, что такое поведеніе молодого человѣка ему вообще нравится, замѣчаетъ послѣ его ухода:

Льстивъ, очень льстивъ, и, кажется, подленекъ. Но это ничего. Подлость тогда не хороша, если она въ душѣ; а если въ манерахъ, въ обращеніи со старшими, то подлость съ деньгами и чинами постепенно исчезаетъ.

Это, можетъ быть, справедливо относительно; но чловѣкъ, выросшій на подлости, если и избавится отъ нея съ деньгами и чинами, то станетъ требовать ее отъ всѣхъ тѣхъ, которые ниже его стоятъ, снисходительно смотря на ту подлую пролазливость, которая столь многими считается за чувство уваженія и почтительности.

Отъ Крутицкаго Мамаева узнаетъ, что Глумовъ женится; добыча ея исчезаетъ изъ рукъ. Разстроенная, она приѣзжаетъ къ Глумову и застаетъ его одного. „Знаетъ она или не знаетъ, что я женюсь?“ спрашиваетъ онъ себя и выказываетъ большую несообразительность, ибо рѣшаетъ, что она не знаетъ, хотя по нѣсколькимъ словамъ ея легко можно было вывести противное заключеніе. Видя, что намековъ ея возлюбленный не понимаетъ, она прямо говоритъ, отъ кого она слышала о его женитьбѣ. Глумовъ старается выйти изъ борьбы побѣдителемъ, старается ее увѣрить, что женится на деньгахъ, по приказанію дядюшки, невѣсты же совсѣмъ не любитъ:—Я предлагаю руку невѣстѣ, карманъ—для денегъ, а сердце—ваше.

Мамаева и вѣритъ и не вѣритъ. Вдругъ звонокъ. Глумовъ проситъ тетюшку въ другую комнату, а самъ остается съ Голутвинымъ, не удавшимся литераторомъ, который предлагаетъ ему купить у него пасквиль, въ которомъ изображена вся жизнь и всѣ продѣлки его, Глумова. За пасквиль онъ проситъ всего 25 р., но Глумовъ не даетъ.—Такъ я напечатаю.—Печатайте.—Будете раскаиваться, да поздно. Голутвинъ уходитъ, но черезъ минуту возвращается и проситъ Глумова въ переднюю. Глумовъ уходитъ собственно для того, чтобъ въ передней дать требуемыя съ него деньги за пасквиль, а Мамаевой дать возможность снова явиться на сценѣ, прочитать дневникъ Глумова, лежавшій на столѣ, и похитить его. Въ этомъ дневникѣ Глумовъ былъ откровененъ и изливалъ свою злость безпощадно на всѣхъ. Спра-

вившись, какъ бы мелькомъ, кто былъ у него и гдѣ живетъ Голутвинъ, Мамаева уѣзжаетъ, твердо рѣшившись отмстить измѣннику. Глумовъ замѣчаетъ пропажу дневника, проклинаетъ себя за то, что велъ его, теряется въ предположеніяхъ о ворѣ, и съ отчаяніемъ въ душѣ уѣзжаетъ къ невѣстѣ, то есть къ Турусиной.

Сюда собираются всѣ дѣйствующія лица, чтобъ поздравить Машеньку. Слѣдуетъ сцена, сильно напоминающая собою извѣстную сцену изъ „Ревизора“. Какъ тамъ является обличителемъ городскихъ властей письмо Хлестакова къ Тряпичкину, такъ здѣсь является обличителемъ Глумова статья юмористической газеты, съ приложеніемъ его портрета, принадлежащая перу Голутвина, а также извѣстный дневникъ. Неожиданный пассажъ этотъ устроила Мамаева, и радостно ждетъ пораженія измѣнника. Измѣнникъ ничего не знаетъ и ходитъ по саду. Начинается чтеніе дневника, въ которомъ начертаны портреты дѣйствующихъ лицъ рукою, надо сказать, гораздо менѣе опытною, чѣмъ въ произведеніи Гоголя. Всѣ въ негодованіи, Турусина выдаетъ Машеньку за гусара, который, при всей своей незначительности, оказывается самымъ добродѣтельнымъ человѣкомъ.

— Въ немъ ты, по крайней мѣрѣ, не ошибешься, потому что онъ ничего хорошаго не обѣщаетъ, замѣчаетъ она племянницѣ, намекая на то, что Глумовъ обѣщалъ много хорошаго.

Комедія, однакожъ, еще не кончилась. Герой ея является изъ сада и застаётъ окончаніе чтенія своего дневника. Все кончено. За то, что велъ онъ дневникъ, онъ потерялъ невѣсту и съ нею двѣсти тысячъ; но способности при немъ остались, и онъ, не безъ основанія, думаетъ, что еще можетъ пригодиться такимъ господамъ, какъ Мамаевы, Городулины, Крутицкіе, и такимъ господамъ, какъ Мамаева. Въ этомъ смыслѣ онъ начинаетъ довольно пространнѣйшій монологъ, убѣдительно доказывая, что хотя онъ и подлѣ, но всѣ предстоящіе нисколько не лучше его; мало того: безъ такихъ людей, какъ онъ, они существовать не могутъ, и рано или поздно призовутъ его и примирятся съ

нимъ. Городулинъ и Мамаева тутъ же съ нимъ соглашаются, остальные соглашаются съ этимъ послѣ его ухода, торжественно, такимъ образомъ, признавая всю свою ничтожность и безпомощность. Мамаева кончаетъ комедію тѣмъ, что вызывается устроить примиреніе.

Пусть читатель разсудить, насколько это естественно. Оставляя въ сторонѣ сценическіе эффе́кты, заимствованные для этого акта г. Островскимъ то у Гоголя, то у Грибоѣдова (монологъ Глума и монологъ Чацкаго), я желалъ бы только спросить: могутъ ли люди, каковы бы они ни были, потерять настолько чувство своего достоинства и наружнаго приличія, что станутъ выслушивать свою язвительную характеристику то изъ дневника, то изъ устъ человѣка, который всѣхъ провелъ, какъ пошлыхъ дураковъ? Что въ послѣдствіи, когда раны уязвленнаго самолюбія зажили, эти люди могли бы примириться съ Глумовымъ и употреблять его на подлые дѣлишки—этого я не отрицаю, хотя не думаю, чтобъ они дали Глумову слишкомъ шибкій ходъ впередъ; но противно всѣмъ человѣческимъ инстинктамъ, чтобъ эти люди, одураченные явнымъ негодяемъ, поступили такъ, какъ это угодно было представить г. Островскому. Начавъ водевилемъ, онъ написалъ два съ половиною акта комедіи, потомъ снова заключилъ водевилемъ.

И какую мораль представляетъ пьеса? Ту, что негодяю, который рѣшился составить себѣ карьеру, не должно писать дневника? Да и самый герой — что это за личность? Сильный ли это человѣкъ, „умный, злой и завистливый“, какъ онъ рекомендуетъ себя, который, силою злой воли и ума, побораетъ всѣ препятствія къ достиженію цѣли, и возлетаетъ орломъ? Это было бы поучительно. Но Глумовъ вовсе не уменъ, вовсе не сильный комбинаторъ; авторъ словно инстинктомъ это чувствовалъ, поставивъ его въ среду дураковъ и пошляковъ, которыхъ оплестъ было не трудно, даже не прибѣгая къ водевильнымъ приемамъ или фокусамъ случая, котораго не должно быть въ серьезной комедіи, гдѣ слѣдствія вытекаютъ изъ причинъ, гдѣ предыдущее объясняется послѣдующимъ, гдѣ все стройно и гармонично.

Прекраснѣйшій образецъ подобной комедіи — „Ревизоръ“. Тамъ даже распечатанное письмо Хлестакова — не случай, а необходимость, обусловливаемая всѣмъ строемъ изображенной среды; принятіе Хлестакова за ревизора — не случай, а также необходимость, легко объясняемая тѣмъ же строемъ. У г. же Островскаго, въ новой комедіи, случай, и притомъ самый глупый случай, играетъ чуть не первенствующую роль. Самъ герой подчиняется случаю и отъ случая погибаетъ; самый герой этотъ — вовсе не типъ, а случайность, положеніе его — не типическое, а случайное, зависящее отъ глупаго дяди, страдающаго порывомъ къ проповѣдямъ и къ осмотру ненужныхъ ему квартиръ. Мы могутъ замѣтить, что въ нашей жизни случай дѣйствительно играетъ важную роль. Справедливо, но случай является не съ облаковъ; онъ обусловленъ причинами, которыя мы не усматриваемъ въ комедіи г. Островскаго, гдѣ, если можно такъ выразиться, самый случай случаенъ. Для того, чтобъ вознестись Глумову до той высоты, на которую онъ поднялся, сколько надо было искусственныхъ пружинъ: оригинальный дядюшка, влюбчивая тетюшка, дуракъ Городулинъ, дуракъ Крутицкій, дура Турусина, цѣлый сонмъ дураковъ. Если среди такой многообѣщающей обстановки Глумовъ долженъ былъ сказать, что „на всякаго мудреца довольно простоты“, то такой же плохой мудрецъ онъ былъ, и стоило ли имъ заниматься.

Во всякомъ случаѣ, новая комедія г. Островскаго, которая стоитъ ниже его прежнихъ комедій „Свои люди — сочтемся“, „Бѣдная невѣста“, „Гроза“, выше, по моему мнѣнію, его историческихъ хроникъ. Г. Островскій не потерялъ еще чутья дѣйствительности, еще умѣетъ подмѣчать типическія ея черты, и прежнимъ мастеромъ явился въ нѣкоторыхъ діалогахъ. Комедія его имѣла успѣхъ заслуженный, и оставляетъ далеко позади себя толпу драматическихъ издѣлій другихъ російскихъ авторовъ.

Незнакомецъ (А. Суворинъ).

*) Новая пьеса Островскаго поставлена на Одесскомъ театрѣ 12 февраля. Общее впечатлѣніе отъ пьесы — то, что пьеса съ честнымъ (совѣстно сказать, а, вѣдь, это у насъ теперь въ большую рѣдкость) направленіемъ; общее впечатлѣніе отъ игры гг. артистовъ — то, что выполненіе ролей толковое. Новая пьеса, по сюжету современно-обличительная и даже съ тенденціозными поползновеніями, какъ и всѣ вообще произведенія Островскаго, составляетъ пріятное исключеніе въ цѣлой фалангѣ пьесъ съ подобнымъ же направленіемъ, начиная отъ „Говоруновъ“ Манна до „Перемелется мука будетъ“ включительно. Содержаніе ея — великолѣпная сатира на московское общество среднихъ слоевъ. Въ этомъ она рѣзко отличается отъ прежнихъ драматическихъ произведеній Островскаго, какъ извѣстно, затрогивавшихъ быть купечества. Такимъ дебютированіемъ въ новомъ направленіи объясняются всѣ недостатки пьесы и неизбежное несовершенство въ игрѣ гг. артистовъ. Обрисовавъ содержаніе пьесы и выведенные въ ней характеры, показавъ слабыя стороны новой комедіи, я тѣмъ самымъ разграничу недостатки въ игрѣ артистовъ отъ недостатковъ самой комедіи, которые неизбежно вносятъ фальшь въ самую прекрасную игру и которые никакъ нельзя ставить въ укоръ исполнителямъ пьесы.

Главный герой комедіи — Егоръ Дмитріевичъ Глумовъ — молодой человѣкъ, умный, энергическій и бѣдный, но безъ всякихъ нравственныхъ правилъ; понятно, что онъ не удовлетворяется своимъ положеніемъ и желаетъ выйдти въ люди. Особенныхъ средствъ для этого даже и не нужно пріискивать; издавна въ различныхъ „кодексахъ житейской мудрости“ всероссійскихъ философовъ (въ родѣ Ефима Дашмана) признаны за надежнѣйшія слѣдующія два: добиться протекціи вліятельныхъ особъ и найти себѣ богатую невѣсту. Въ стараніяхъ Глумова приложить эту теорію къ практикѣ заключается все содержаніе комедіи, и вотъ здѣсь-то великолѣпно очерчена та обстановка и люди, среди кото-

*) „Одесскій Вѣстникъ“ 1869 г., № 39. Статья М. („На всякаго мудреца довольно простоты“).

рыхъ дѣйствуетъ Глумовъ, „молодой и подающій надежды человѣкъ“. Характеризуя эту среду, я вмѣстѣ съ тѣмъ охарактеризую и самого Глумова.

Глумовъ, я уже сказалъ, человѣкъ умный, злой и завистливый; притомъ онъ хорошо знаетъ себѣ цѣну. До сихъ поръ онъ упражнялся въ злословіи, писалъ эпиграммы на всю Москву, и такимъ образомъ съ успѣхомъ переливалъ изъ пустого въ порожнее. Но злиться и насмѣхаться надъ другими ему уже надоѣло; его настоящее положеніе въ свѣтѣ ему противно; онъ хочетъ составить себѣ карьеру. Два универсальныхъ для этого средства ему хорошо извѣстны, и онъ твердо рѣшается, насколько возможно основательно, поэксплоатировать въ свою пользу людскія слабости. Какъ примѣнить къ дѣлу универсальныя средства,—это ему также извѣстно изъ „кодекса“. Добиться покровительства тузовъ онъ надѣется посредствомъ подлаживанія къ нимъ („глупо ихъ раздражать, имъ надо *лѣстить* грубо, безпардонно, вотъ и весь секретъ успѣха“); для женитьбы на богатой невѣстѣ, намѣченной уже его орлинымъ взоромъ, онъ пустилъ въ ходъ туземныя средства—ворожей, Ивановъ Яковлевичей въ юбкѣ, приживалокъ, завоеванную уже протекцію „особъ“. Наконецъ, у него есть испытанный и преданный помощникъ—его мать, которой онъ самъ сообщаетъ, что весь въ нее. Мнѣ кажется, что сыновняя любовь отчасти ослѣпляетъ его. Что М-ме Глумова умна и дѣятельна—съ этимъ я согласенъ, но что у нея нѣтъ широты замысловъ, той Наполеоновской рѣшительности дѣйствія, какъ говорится, съ нахрапу, на проломъ,—наконецъ, той энергіи, которая дѣлаетъ ея сына, хотя и естественнаго подлеца, недюжиннымъ человѣкомъ. Она болѣе похожа на старую московскую салонницу, что, впрочемъ, какъ нельзя лучше способствуетъ ей быть хорошей помощницей сына. И притомъ, у послѣдняго, какъ и слѣдуетъ настоящему полководцу—преимущество современнаго (т. е. мишурнаго) образованія, внѣшняго лоска и завидной способности кстати пофразерствовать. Наконецъ, еще одно качество Глумова, дѣлающее его вполне практи-

ческимъ человѣкомъ, безъ котораго онъ не былъ-бы тѣмъ, что есть (тогда какъ, обладая имъ, *il est ce qu'il est, et c'est assez*)—умѣнье извлекать выгоду изъ самомельчайшихъ обстоятельствъ, хотя-бы и самымъ неблаговиднымъ манеромъ. Последнее, впрочемъ, вполне естественно: девизъ Глумова—цѣль оправдываетъ средства, что совершенно явствуетъ изъ вышеприведенной характеристики. Перехожу къ тактикѣ Глумова. Сдѣлавъ рекогносцировку мѣстности, опытный полководецъ Глумовъ рѣшается сосредоточить свою атаку на своемъ дядѣ Мамаевѣ—тѣмъ болѣе, что онъ развѣдалъ о слабыхъ сторонахъ непріятеля. Мамаевъ—богатый баринъ, въ своемъ родѣ самодуръ. Для Глумова, о существованіи котораго Мамаевъ и не подозрѣвалъ, интересны слѣдующія особенности дражайшаго его родственника. Во-первыхъ, Мамаевъ не любитъ родственниковъ, у него куча племянниковъ, изъ которыхъ онъ выбираетъ одного, и въ пользу его пишетъ завѣщаніе, а другіе ужъ не показывайся. Надоѣстъ любимецъ, онъ его прогонитъ и возьметъ другого, и сейчасъ-же перепишетъ завѣщаніе. Во-вторыхъ, онъ имѣетъ весьма простительную въ каждомъ человѣкѣ слабость: считаетъ себя очень умнымъ и опытнымъ человѣкомъ; вслѣдствіе этого, онъ ужасно любитъ читать другимъ наставленія, „его хлѣбомъ не корми, только приди совѣта попроси“, говоритъ о немъ его племянникъ—временщикъ Курчаевъ. Во время оно, онъ читалъ эти наставленія своимъ людямъ *de jure* и *de facto*, и, какъ самъ говоритъ, забирался при этомъ въ самыя высшія сферы мышленія (тѣлесныя наказанія этотъ любопытный образчикъ оригинальнаго самодурства рѣшительно отрицаетъ); продежуривалъ такимъ образомъ на ногахъ какого-нибудь благодѣтельствуемаго имъ Ваньку или Фильку и доводилъ ихъ постоянно до чувства („одними вздохами, *бывало*, онъ у меня истомится; ему на пользу, и мнѣ благородное занятіе“). Но время оно прошло, наступило время сіе... Въ третьихъ и въ послѣднихъ, онъ уже три года (изъ этого я заключаю, что дѣйствіе происходитъ приблизительно въ 1864 и 65 годахъ) ищетъ себѣ квартиру, обративъ это занятіе въ спеціальное свое время-

препровожденіе, и только при случаѣ тряхнетъ стариною, поучая словами какого-нибудь безотвѣтнаго субъекта. Глумовъ распорядился этими данными самымъ блистательнымъ образомъ. Мамаевъ богатъ; наслѣдство и протекція его могутъ достаться только одному изъ тридцати его племянниковъ; Глумовъ его племянникъ, ему нужны деньги и протекція,—отчего-же ему не попытаться сдѣлаться счастливымъ? Для этого нужно удалить теперешняго фаворита и самому стать на его мѣсто. Чтобы подгадить Курчаеву, онъ самымъ невиннымъ (въ сущности, весьма подленькимъ) образомъ показываетъ Мамаеву карикатуру, въ шутку нарисованную Курчаевымъ на своего дядю; невинный маневръ удается какъ нельзя лучше: открывается вакансія въ сердцѣ дяди и въ его завѣщаніи. Но не буду забѣгать впередъ. Глумову нужно познакомиться съ дядей и открыть свое родство,—онъ пользуется для этого страстью дяди искать квартиры, подкупаетъ челоуѣка Мамаева привести его къ нему, подъ предлогомъ осмотра квартиры, и тутъ уже очень естественно, само собою, раскрывается родство. Пользуясь вышеуказанною слабостью Мамаева, онъ льститъ ему, прикидывается глушенькимъ и наивнымъ юнцомъ, проситъ у него совѣтовъ, кстати показываетъ и произведеніе руки Курчаева—и, въ концѣ концовъ, такъ очаровываетъ дядю, что тотъ проситъ почтительнаго племянника придти къ нему какъ можно въ скорѣйшемъ времени, въ душѣ порѣшивъ замѣнить имъ негоднаго Курчаева,—въ сущности очень добраго, безшабашнаго малаго, словомъ гусара, какими ихъ представляютъ обыкновенно въ російскихъ комедіяхъ. И такъ, первый шагъ сдѣланъ. Глумовъ дѣлается вѣроятнымъ наслѣдникомъ дяди, его protégé, да и не только его, но и жены Мамаева. Мамаева—барыня очень обыкновенная въ провинціи: дама не первой молодости, пожуровавшая на своемъ вѣку всласть, страстная, пустая съ ногъ до головы. Она съ величайшей охотой беретъ подъ свое покровительство красиваго, статнаго и робкаго юношу. Глумовъ пускаетъ въ авангардъ свою матушку, которая дѣйствуетъ очень ловко и почти пробалтывается, что ея

сынокъ въ нее влюбленъ. Мамаевой—я на ней не останавливаюсь, ибо такія барыни у насъ кишмя кишать—очень льститъ, что въ нее еще могутъ влюбляться молодые люди, да и сама она, по страстности своей барской натуры, не прочь завести интрижку. Притомъ-же Глумовъ при ней ведетъ себя такъ робко, такъ почтительно и такъ влюбленно, что окончательно вскруживаетъ ей голову. Самъ Мамаевъ учитъ своего невиннаго племянника ухаживать за женою: „характера она сангвиническаго, а Богъ еще знаетъ, съ какимъ вертопрахомъ шашни заведетъ“, откровенно объявляетъ онъ племяннику, и хочетъ его пустить въ дѣло въ качествѣ громоотвода. Словомъ, ловкій полководецъ Глумовъ одерживаетъ и здѣсь побѣду, и скоро между нимъ и Мамаевой возникаютъ очень интимныя отношенія. Мамаева протектируетъ его Городулину, довольно молодому господину, служащему по новымъ учрежденіямъ. Универсальный Глумовъ и съ нимъ умѣетъ взять надлежащую нотку; почтительный племянникъ—съ Мамаевымъ, робкій, страстный юноша—съ дебелой супругой послѣдняго, Глумовъ съ Городулинымъ ведетъ себя совершенно иначе: держится независимо, говоритъ какъ чистокровный *красный*, громитъ все направо и налево... Городулина онъ очаровываетъ, да и какъ завязтому фразеру не очаровать заклятаго фразера! Городулинъ—это новый типъ, выросшій какъ грибокъ вмѣстѣ съ новыми учрежденіями—не у насъ въ провинціи, а въ столицахъ (у насъ еще, къ счастью, провинціалы предпочитаютъ честно и добросовѣстно заниматься новымъ, подчасъ головоломнымъ для нихъ дѣломъ, нежели рисоваться въ какой нибудь мантии предсѣдателя окружнаго суда или губернской управы). Специалистъ по части галантерейныхъ разговоровъ съ дамами и рысистыхъ лошадей, болтунъ, фатъ—онъ вдругъ становится либераломъ (съ поступленіемъ на новую должность) и, смѣшно сказать, дѣловымъ человѣкомъ. Новыя занятія состоятъ въ томъ, чтобы безпрестанно порываться впередъ, не трогаясь съ мѣста, и всюду трещать о кучѣ занятій, дѣлъ, говорить на обѣдахъ спичи, составленные молодыми дѣтелями Глумовыми

и доставлять имъ за это мѣста экономовъ въ богоугодныхъ заведеніяхъ и т. п. Типъ—весьма жизненный и интересный; но для насъ, провинціаловъ, еще интереснѣе и жизненнѣе типъ другого очень значительнаго лица, старца Крутицкаго. Крутицкій—администраторъ стариннаго покроя, ненавистникъ всевозможныхъ реформъ и большой любитель различныхъ „прожекторовъ, напр., о вредѣ реформъ вообще, или объ исправленіи народной нравственности дозволеніемъ продажи на улицахъ сбитня. Крутицкій обладаетъ интересною особенностью: онъ страхъ какъ любитъ писать (т. е. заставлятъ излагать свои мысли угодливыхъ и исполнительныхъ Глумовыхъ),—почти такъ-же, какъ Мамаевъ читать наставленія. Надо отстаивать старое посредствомъ печатнаго слова, толкуетъ онъ, а то „мальчишки насъ заѣдаютъ“ и вѣжливымъ манеромъ отодвигаютъ на задній планъ. Вредность реформъ и превосходство всего стараго онъ доказываетъ наглядно: „вотъ стоитъ столъ на четырехъ ножкахъ, и стоитъ крѣпко, солидно; а переверни его вверхъ ногами—что выйдетъ“? Уморительнѣе всего въ этомъ аргументѣ то, что, какъ извѣстно, столъ будетъ на доскѣ стоять еще прочнѣе. Впрочемъ, Крутицкій допускаетъ необходимость мелкихъ, неважныхъ улучшеній (напр., если столъ шатается, подложить подъ болѣе короткую ножку свертокъ бумаги), изъ чего я заключаю, что въ молодости онъ былъ волтеріанцемъ. Мое смѣлое предположеніе подтверждается тѣмъ, что онъ смѣется надъ ханжествомъ Турусиной (тетки богатой невѣсты), его прежней „пріятельницы“, и даже теперь съ удовольствіемъ воспоминаетъ ихъ общіе грѣшки. На новыя учрежденія онъ смотритъ очень косо; Городулинъ въ его кружкѣ считается опаснымъ человѣкомъ. Глумову онъ зловѣщимъ, пророческимъ голосомъ говоритъ: „ты ищи прочнаго мѣста; а эти всѣ городулинскія-то мѣста скоро опять закроются“. Такого гуся Глумову было не трудно очаровать своимъ подобострастіемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ умомъ; тутъ уже было вполне примѣнено указаніе „кодекса“, гласящее: „нужно льстить грубо, безпардонно“. Такимъ образомъ, Глумовъ втирается въ довѣріе тѣхъ

людей, протекція которыхъ ему нужна; но этимъ онъ не можетъ удовлетвориться. Зависимость, вѣчное униженіе и таканье (по безсмертному выраженію кн. Дашковой) невыносимы для его гордаго характера, сознающаго свое умственное превосходство надъ всѣми сіятельными и высокопревосходительными его патронами; ему надоѣло быть милымъ юношею, онъ хочетъ быть милымъ мужчиною. Поэтому, онъ, едва вступивъ въ кругъ своихъ высокихъ покровителей, уже домогается ихъ содѣйствія для полученія руки и кармана богатой невѣсты; а вмѣстѣ съ оными и положенія въ обществѣ. Невѣста эта живетъ у своей тетки - ханжи, богатой старухи Турусиной. Турусина—типъ московской барыни, весело, даже очень весело проведенной свою молодость и ударившейся на старость въ ханжество, выражающееся тоже туземно: покровительствомъ всевозможнымъ *страннымъ* людямъ (юродивымъ, блаженнымъ и вообще бродягамъ), подобострастіемъ передъ Иванами Яковлевичами и преемницею его Манефою. Островскій намекаетъ даже, что подобные характеры наследственны, чему я не прочь повѣрить. Глумовъ извлекаетъ пользу изъ этого обстоятельства: подкупленные имъ приживалки видятъ его въ картахъ и во снѣ (когда его еще совсѣмъ не знала Турусина); неподкупная Манефа до точности указываетъ его примѣты и даже часъ прихода его къ нимъ въ домъ; Городулинъ, Мамаевъ и Крутицкій, точно сговорясь, рекомендуютъ его Турусиной, какъ выгоднаго жениха и добродѣтельнаго человека. Турусина повинуется чуду, и, смиряясь передъ неисповѣдимыми путями Провидѣнія, принимаетъ предложеніе Глумова; назначенъ уже день формальнаго сговора. Вдругъ все тщательно возведенное зданіе (и не на пескѣ, а на прочномъ фундаментѣ эксплуатаціи человѣческихъ знаній)—рушится. Мамаева, узнавъ о сватаніи Глумова, мучится ревностью, и пріѣзжаетъ къ нему на квартиру для рѣшительнаго объясненія. Здѣсь ей случайно попадаетъ дневникъ Глумова, въ который онъ записывалъ всѣ свои маневры и не особенно любезно характеризовалъ всѣхъ своихъ покровителей, въ томъ числѣ и ее. Мамаева жестоко мститъ ему;

она уноситъ съ собою дневникъ и обращается, какъ я подозреваю, къ автору романа „Некуда“ съ просьбою порекомендовать ей какого-нибудь пасквилиста, подешевле. Гроза разражается въ самый день сговора у Турусивой, Глумовъ при этомъ очень рѣзко и пространно обругиваетъ своихъ принципаловъ, неосновательно упрекая ихъ, что они украли у него деньги и невѣсту, и разбили его репутацію.

Пьеса г. Островскаго, какъ видно изъ всего предыдущаго, полна превосходно очерченными (правда, иногда и утрированными) характерами; но, какъ пьеса, она не выдерживаетъ критики. Развязка ея, по моему, рѣшительно неправдоподобна. Какимъ образомъ могла у Глумова явиться дикая мысль вести „записки подлеца, имъ самимъ составленные“, если бъ ему не шепнулъ объ этомъ самъ авторъ. Не буду распространяться о томъ, что Глумовъ слишкомъ практиченъ, чтобы завести такую опасную, хотя и соблазнительную штуку, какъ его дневникъ. Да, полно, соблазнительную-ли? Мнѣ кажется психологически невѣрнымъ, чтобы Глумовъ, въ теоріи понимающій значеніе подлыхъ поступковъ, находилъ удовольствіе въ воспоминаніи, да еще обстоятельномъ, сдѣланной гадости. Мерзкій поступокъ всегда мерзокъ, и не рѣдко такимъ же онъ кажется и для самихъ мерзавцевъ; съ какой-же стати напоминать себѣ письменно,—какая, молъ, я скотина великая! Допуская, что Глумовъ могъ не признавать свой образъ дѣйствій не честнымъ, или оправдывалъ себя тѣмъ, что это до-поры, до времени, что пока живешь съ волками, и вой по-волчьи. Но эта пора и время могли наступить тогда, когда онъ обогатится женитьбою, займетъ солидное положеніе въ обществѣ,—и тогда-то навѣрное онъ не сталъ бы болѣе льстить, раболѣпствовать и подличать на обѣ стороны. Спрашивается, пріятенъ-ли ему будетъ въ то время дневникъ, напоминающій ему о томъ, что онъ выскочка, что на немъ темнымъ пятномъ лежитъ его прошлое униженіе и вообще поведеніе? Пріятенъ-ли ему дневникъ въ настоящемъ? Врядъ-ли. Онъ золъ, ѣдокъ,—согласенъ; но, вѣдь, не на

себя-же ему писать эпиграммы; а онъ это дѣлаетъ въ дневникѣ, признавая его записками подлеца. Выходить, что дневникъ является какимъ-то *deus ex machina*, разрушающій злокозненные ухищренія Глумова. Теперь для меня ясно и заглавіе пьесы. Островскій очень нравственный писатель; онъ ужасно любитъ добродѣтель (занятіе не менѣе похвальное) и еще ужаснѣе преслѣдуетъ порокъ (занятіе для автора обыкновенно неблагодарное), что ему, какъ автору очень легко. Вспомните придѣланный имъ въ послѣдствіи нравственный конецъ къ „Своимъ людямъ“; подумайте также надъ идеей, проглядывающей въ „Не такъ живи, какъ хочется“, въ „Не свои сани не садись“ и др. Его возмущаетъ Глумовъ; онъ забываетъ естественность побѣды умнаго, энергическаго и сильнаго, даже въ своей безнравственности, человѣка — надъ мягкомозглыми, вялыми и простодушными москвичами, притомъ потерявшими окончательно голову при видѣ коренного переустройства нашей общественной жизни. Островскій, движимый нравственнымъ чувствомъ, подобралъ подходящую поговорку (это слабость автора — мислить часто дикими поговорками): „На всякаго мудреца довольно простоты“, и подогналъ насильственно подъ нее и завязку и развязку. Повторяю, новую комедію Островскаго я не могу признать цѣльною пьесою, но въ ней все выкупаетъ жизненность и современность выведенныхъ въ ней типовъ. Комедія г. Островскаго — поучительный примѣръ для различныхъ *дѣлателей* современныхъ комедій, въ родѣ Манна, Сабиновой, Чернявскаго съ братіею; сатиру, даже самую язвительную (а пьеса Островскаго не отличается мягкостью въ этомъ отношеніи), мы съ благодарностью примемъ, и первые будемъ аплодировать на пасквиль — *à bas* борзописцевъ и пасквилистовъ!

Кстати, укажу здѣсь и на нѣкоторыя утрировки въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ. Какъ примѣръ незначительной, но бьющей въ глаза невѣрности, можно привести ту невозможную сцену, гдѣ Глумовъ распространяется о своей глупости, и Мамаевъ уже черезчуръ наивно удивляется этому. Но есть и крупныя ошибки, извращающія основныя черты

характера. Напр., Глумовъ, при первомъ свиданіи совершенно очаровываетъ простяка фразера Городулина рѣзкостью своего образа мыслей и бойкостью рѣчи. Глумовъ отпускаетъ горячую тираду о сочувствіи къ страдающему люду, а Городулинъ, въ отвѣтъ на это предлагаетъ ему тепленькое мѣстечко. Послѣ нѣсколькихъ фразъ Глумова, проникнутыхъ „высокими идеями“, простякъ Городулинъ, дальше своего носа ничего не видящій, рѣшительно не могъ таки разгадать его, и вслѣдствіе этого отложить всѣ церемоніи въ сторону. Быть можетъ, онъ и дошелъ въ послѣдствіи своимъ умомъ до того, что онъ и Глумовъ—птицы одного полета, но приписывать Городулину такую проницательность *на первыхъ порахъ*—просто обидная насмѣшка автора надъ новымъ дѣятелемъ.

Изъ „Одесскаго Вѣстника“ за 1869 г. Статья М.

*
* *

*) „Нѣтъ пророка въ своемъ отечествѣ“—и очень немногимъ истиннымъ талантамъ посчастливилось найти себѣ справедливую оцѣнку при жизни, во время самой дѣятельности. Нельзя, конечно, сказать, чтобы г. Островскій вовсе не былъ оцѣненъ въ русскомъ обществѣ; нѣтъ, на его долю выпало встрѣтить въ Добролюбовѣ достойнаго себѣ критика, который указалъ, какое важное мѣсто долженъ занять авторъ „Грозы“ въ русской литературѣ. Но за то рядомъ сколько выступало другихъ голосовъ, которые всячески желали умалить значеніе г. Островскаго, и не хотятъ допустить его выйти изъ того цикла купеческой жизни, которой нашъ драматургъ посвятилъ всѣ первые годы своей дѣятельности. Мнѣніе, что Островскій хорошъ только тамъ, гдѣ онъ рисуетъ купцовъ-самодуровъ да ихъ загнанныхъ жертвъ, — сдѣлалось общимъ. Но такое мнѣніе намъ кажется рѣшительно несправедливымъ и недостойнымъ по отношенію столь крупнаго таланта, какимъ обладаетъ г. Островскій. Вмѣсто того, чтобы удерживать и останавли-

*) „Вѣстникъ Европы“ 1869 г., № 1. Статья Е. Утина. („На всякаго мудреца довольно простоты“).

вать его на одномъ только общественномъ слоѣ, намъ слѣдовало бы, напротивъ, желать и, если можно, стараться привлечь его и къ другимъ частямъ общества, потому что, по русской пословицѣ, „большому кораблю должно быть большое и плаваніе“. Задача художника-драматурга — захватывать по возможности всѣ слои; и чѣмъ глубже, чѣмъ шире обнимаемый имъ горизонтъ, тѣмъ больше заслуги и тѣмъ больше пользы для общества. До сихъ поръ, изображая преимущественно одинъ классъ, ограничивая себя главнымъ образомъ одною семейною стороною купеческаго быта, г. Островскій былъ болѣе счастливъ, представилъ болѣе сильные, болѣе цѣльные типы, чѣмъ въ комедіяхъ, посвященныхъ иному классу общества и иной сторонѣ русской жизни. Но кто же сказалъ, что при бѣльшемъ изученіи, при бѣльшемъ знакомствѣ съ другими общественными слоями, г. Островскій не сдѣлаетъ для такъ-называемой образованной части нашего общества и для общественной, публичной стороны жизни того же, что онъ сдѣлалъ такими произведеніями, какъ „Гроза“ и „Свои люди — сочтемся“, для купеческаго быта и для семейныхъ отношеній русскаго народа? Вотъ почему мы съ особенною внимательностію и съ особеннымъ любопытствомъ относимся къ каждой попыткѣ г. Островскаго расширить свой кругъ дѣйствующихъ лицъ и перенести свою наблюдательность съ того купеческаго слоя общества, на которомъ онъ остановился съ самой первой минуты своей дѣятельности, на другой или даже другіе слои, которые заслуживаютъ не меньшаго изученія и могутъ дать не меньшую пищу талантливому драматургу.

Но подобныхъ произведеній еще очень немного въ театрѣ Островскаго, и если къ послѣдней его комедіи: „На всякаго мудреца довольно простоты“ мы прибавимъ еще одну изъ прежнихъ, именно „Доходное мѣсто“, то едва ли это и не все, что построено на общественныхъ отношеніяхъ, и куда введенъ тотъ элементъ, который играетъ въ обществѣ видную роль. Эти двѣ комедіи, написанныя на разстояніи нѣсколькихъ лѣтъ, составляютъ, если можно такъ

выразиться, вторую манеру Островскаго, въ которой мы желали бы автору достигнуть такого же совершенства, какъ и въ первой, посвященной главнымъ образомъ купеческому быту. Островскій значительно уже исчерпалъ матеріалъ, заключающійся въ купеческомъ бытѣ, и создалъ изъ него такую полную картину, къ которой едва ли онъ что-нибудь въ состояніи прибавить существеннаго, а между тѣмъ почва, изъ которой выросли „Доходное мѣсто“ и „На всякаго мудреца довольно простоты“, такъ дѣвственна и непочата, что она способна освѣжить и обновить талантъ, если бы онъ только нуждался въ обновленіи.

Какъ ни ясна изображенная г. Островскимъ картина русской жизни, какъ ни рѣзко обрисованы семейныя отношенія, въ основаніи которыхъ лежитъ „самодурство“, но какой новый, ослѣпительный свѣтъ прольется на эту картину, когда рядомъ съ ней, въ pendant къ ней, будетъ представлена другая картина, изображающая общественную жизнь, тѣсно переплетенную съ семейною. Трудно допустить, чтобы такой талантливый писатель, какъ г. Островскій, добровольно отказался отъ изображенія общественныхъ отношеній людей, если бы не было никакихъ постороннихъ, стѣсняющихъ его дѣятельность обстоятельствъ. Обстоятельства эти существовали, и особенно сильно тогда, когда онъ началъ свою драматическую дѣятельность. Это было въ концѣ сороковыхъ годовъ. Въ ту эпоху русскій писатель былъ еще гораздо менѣе свободенъ, чѣмъ въ настоящую минуту, и, разумѣется, ему не могла прійти даже въ голову мысль изображать все, что есть или было дикаго въ нашихъ общественныхъ отношеніяхъ. Не былъ онъ даже свободенъ рисовать семейныя отношенія безразлично всѣхъ классовъ, потому что жизнь высшихъ или находившихся на виду слоевъ была строго ограждена отъ всякаго истиннаго наблюденія, перенесеннаго въ литературу или на сцену, если только это наблюденіе не клонилось къ ихъ выгодѣ. Чѣмъ дальше удалялся писатель отъ всего, находившагося на поверхности общества, тѣмъ болѣе былъ онъ свободенъ въ своихъ изображеніяхъ, тѣмъ вѣрнѣе могъ онъ рисовать жизнь

безъ всякихъ прикрасъ, безъ всякихъ ретушей. Въ этихъ далекихъ углахъ народной жизни онъ только и могъ свободно, вѣрно, съ правдою, —этимъ необходимымъ условіемъ искусства, изображать грубость, дикость однихъ и загнанность другихъ, которые и представляли собою итогъ всѣхъ наблюденій. Островскій и сосредоточился на этомъ отдаленномъ отъ глазъ столицы горизонтѣ, къ счастью для художника, не взятомъ подъ особое покровительство, а представленнымъ, можетъ быть, и нѣсколько легкомысленно, свободному творчеству писателя. Островскій уцѣпился за этотъ отверженный слой общества, потому что, изображая только его, ему не нужно было жертвовать тѣмъ, безъ чего невозможно никакое истинно художественное произведеніе, т. е. правдою.

Мастерскою кистью изобразилъ онъ русское самодурство въ купеческомъ быту, и изображеніе это было такъ сильно, что каждому, который захотѣлъ бы только вдуматься въ выведенные типы, стало бы ясно, что самодурство такое рѣзкое, такое удушающее, не можетъ быть достояніемъ одного класса безъ того, чтобы оно было чуждо другому, безъ того, однимъ словомъ, чтобы оно не коренилось въ цѣломъ строѣ нашей и частной и политической жизни. Какая тьма, какой мракъ становится кругомъ васъ, когда передъ вами проходятъ постепенно всѣ дѣйствующія лица комедій и драмъ Островскаго! Трудно сказать, что производитъ на васъ болѣе тяжелое дѣйствіе, смѣхъ и веселье первыхъ или слезы и грусть послѣднихъ. Какъ тутъ, такъ и тамъ каждое лицо ложится вамъ тяжелымъ камнемъ на сердце. Невозможно было бы ожидать, и Островскій понималъ это, можетъ быть, и инстинктивно, что если въ одномъ углу залы господствуетъ полная мгла, чтобы могло быть въ другомъ въ то же самое время свѣтло и весело. Если одинъ слой народной массы можетъ дать только самодуровъ, въ видѣ Большовыхъ, Торцовыхъ, Брусковыхъ, Кабановыхъ и всякихъ Титовъ Титовичей съ одной стороны, а съ другой несчастныхъ, безсловесныхъ и подчиненныхъ первымъ существъ, въ видѣ Любви Гордѣевны, Авдотьи Семеновны, и даже глубоко симпатичной, съ возвышенными

чувствами и сильною душою Катерины, не находящей нигдѣ себѣ выхода какъ только въ смерти,—такъ чего же ждать въ другомъ слѣдѣ, какъ не такихъ же, съ одной стороны, самодуровъ, а съ другой, такихъ же беззащитныхъ существъ; развѣ съ тѣмъ исключеніемъ, что здѣсь мы не отыщемъ въ выведенныхъ лицахъ, мужскихъ или женскихъ, души Катерины, и не отыщемъ не потому, чтобы ее нельзя было вовсе встрѣтить, а оттого, что изобразить протестъ такихъ лицъ противъ жизни не такъ удобно, какъ протестъ необразованной Катерины.

Мрачный взглядъ на весь строй русской жизни, который по волѣ или безъ воли Островскаго, таится во всѣхъ его произведеніяхъ, во всѣхъ созданныхъ имъ типахъ, относящихся къ изображенію купеческаго быта, одинаково существуетъ и въ комедіяхъ, рисующихъ ту же семейную каторжную жизнь, но только, вмѣсто купеческаго, въ чиновничьемъ или помѣщичьемъ слояхъ, которые онъ сталъ затрогивать, когда представилась только возможность. Кто въ состояніи указать разницу между типомъ какой-нибудь Уланбековой въ „Воспитанницѣ“ и типомъ старухи Кабановой въ „Грозѣ?“ Развѣ не та же это дикость, не то же безобразіе, не то же самодурство! Въ чемъ особенное различіе между Авдотьей Семеновной въ комедіи „Не въ свои сани не садись“ и Марьей Андреевной въ „Бѣдной невѣстѣ“, развѣ не то же безвыходное положеніе, не та же загнанность, не то же преслѣдованіе отъ любящихъ „своею любовью“ людей, не та же горькая, беззащитная жизнь! Да собственно говоря, не отчего и существовать особенной разницы между тѣми и другими, повязка на головѣ или модная шляпка не измѣняютъ внутри ея ровно ничего. Цивилизація, какъ бы долетѣвшая до нихъ по слуху, коснулась ихъ настолько, чтобы невѣжество ихъ и дикость поражала васъ въ нихъ больше, чѣмъ въ первобытныхъ натурахъ, выводимыхъ Островскимъ въ купеческомъ быту, но никакъ не больше. Въ сущности вездѣ одна и та же дикость, одно и то же безобразіе, одна и та же скорбь вызывается всѣми фигурами Островскаго. Поневолѣ является

вопросъ—какая же жизнь, какіе люди живутъ, да и люди ли это, когда въ этой массѣ выведенныхъ талантливымъ драматургомъ лицъ, нѣтъ ни одного, на которомъ можно было бы отдохнуть, успокоиться, на которомъ ваша мысль могла бы остановиться? Такого лица нѣтъ, и, что самое ужасное, вы чувствуете, что не можете винить въ этомъ автора: онъ вовсе не съ умысломъ рисуетъ вамъ только мрачныя да мрачныя картины; его чувство, его чутье русской жизни, его наблюдательность подсказываютъ ему эти контуры, онъ не повиненъ въ окружающей тьмѣ, ему хочется, онъ пробуетъ рисовать свѣтлые образы, но помимо своей воли, по тому чувству правды, которая живетъ въ немъ, онъ обрывается, останавливается на половинѣ и быстро увлекаетъ проложенный свѣтлый образъ въ ту крошечную тьму, гдѣ не видно ни одной зги, куда никогда, ни на одну минуту не проглянетъ солнышко. Вамъ становится холодно, дрожь пробѣгаетъ по вашему существу. Тутъ нельзя себѣ дѣлать никакихъ утѣшеній, нельзя успокоивать себя, говоря, что авторъ, рисующій русскую жизнь, пессимистъ, что онъ все видитъ въ черномъ цвѣтѣ, потому что среда эта душитъ его, она ему невыносима. Ничего подобнаго невозможно замѣтить въ Островскомъ. Если изъ его произведеній нельзя вывести, чтобъ онъ былъ совершенно доволенъ тою средою, которую онъ описываетъ, то точно также нельзя нигдѣ подмѣтить, чтобы она его особенно тяготила; онъ свыкъся съ нею, онъ живетъ въ ней, и подчасъ намъ кажется, что онъ вовсе не отдаетъ себѣ отчета, какую грустную картину своего времени, своего общества рисуетъ онъ мастерскимъ перомъ.

Разбирать отдѣльно каждое лицо, выведенное Островскимъ, объяснять его такъ, какъ мы понимаемъ его, подставить полный анализъ всей дѣятельности талантливаго драматурга, было бы и не по нашимъ силамъ, да и вышло бы изъ предѣловъ принятой нами задачи. Мы хотимъ только, набрасывая то общее впечатлѣніе, которое оставляетъ по себѣ театръ Островскаго, уловить ту связь, которая существуетъ между всѣми его произведеніями, указать на то

единство мысли, которая проходит насквозь всѣ его комедіи, къ какому бы слою они ни относились. Какъ въ купеческомъ быту мы находимъ у него всегда стоящіе другъ противъ друга два враждебные лагеря, далеко не одинаково сильные, лагерь угнетающихъ и лагерь угнетенныхъ, изъ которыхъ одному принадлежитъ грубая, надменная сила, другому рабское подчиненіе, съ одною общею имъ стороною, заключающеюся въ полномъ невѣжествѣ, отсутствіи яснаго представленія о какихъ бы ни было человѣческихъ отношеніяхъ, да еще въ толстомъ слоѣ всевозможныхъ предрассудковъ и суевѣрій; какъ у нихъ нѣтъ никакого другого болѣе человѣческаго достоянія, нѣтъ понятія ни о какихъ болѣе разумныхъ и справедливыхъ основаніяхъ для жизни, кромѣ одной силы;—такъ точно такъ же эти два самые лагеря и эти самыя понятія мы встрѣчаемъ и въ другихъ общественныхъ слояхъ, можетъ быть, съ нѣкоторою разницею во внѣшней формѣ, но въ сущности съ тѣми же атрибутами. Все это различныя звенья одной и той же цѣпи. Во всѣхъ его драмахъ и комедіяхъ, рисующихъ семейный бытъ купческаго, мелкочиновничьяго и мелкопомѣщичьяго слоевъ, вездѣ мы видимъ это основное начало вражды; съ одной стороны, тайная борьба угнетенныхъ, чтобы высвободиться изъ-подъ гнета самодурщины и стать, можетъ быть, самодурами въ свою очередь, съ другой — буйствующая сила, дикая власть угнетающихъ, неспособныхъ ни къ какому добровольному и сознательному ограниченію своихъ „широкихъ натуръ“.

Стоитъ только припомнить главныя комедіи Островскаго и главныя дѣйствующія лица въ нихъ, чтобы то, о чемъ мы говоримъ, сдѣлалось совершенно рельефно. Возьмите „Свои люди—сочтемся“, „Не такъ живи, какъ хочется“, „Бѣдность не порокъ“, „Не въ свои сани не садись“, „Гроза“,—и спросите себя, какое главное положеніе всѣхъ этихъ прекрасныхъ произведеній, посвященныхъ изображенію купческаго быта? Отвѣтъ можетъ быть только одинъ: борьба двухъ сторонъ, угнетающей и угнетенной. На одной сторонѣ стоятъ у насъ Большовы, Петры Ильичи,

Торцовы, Русаковы, Кабановы,—все это составляет одинъ лагерь; на другой сторонѣ стоятъ Даши, Любовь Гордѣевны, Авдотьи Семеновны и изрѣдка Катерины; это другой лагерь, болѣе симпатичный, потому что онъ физически болѣе слабый, но въ сущности по своей слабости такой же безотрадный и грустный, какъ тотъ безотраденъ и гадокъ, вслѣдствіе своей дикой силы. Мало различія между самодурами перваго лагеря, всѣ они какъ нельзя болѣе похожи, а если и есть между ними такіе, которые болѣе наглы и жестоки по ихъ личному природному характеру, какъ, напр., Гордѣй Карпычъ Торцовъ или Большовъ или Кабанова, но за то есть и такіе, которые болѣе мягки и не лишены способности любить свою дочь, жену или сестру, какъ мы видимъ это въ типѣ Русакова, добраго самодура, только и толкующаго о любви къ своей дочери, или Красновъ, въ драмѣ „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“. И тотъ и другой, а кромѣ ихъ мы могли бы найти еще нѣсколько любящихъ самодуровъ у Островскаго, любятъ, но какою любовью? У Краснова, этого русскаго Отелло, любовь такого свойства, что вамъ становится жутко, когда вы смотрите, какъ онъ ласкаетъ свою жену. Онъ любитъ ее, какъ люди любятъ свою собаку, онъ ласкаетъ ее, балуетъ, но вы не можете не чувствовать, что собственно онъ не признаетъ за ней никакихъ правъ, онъ смотритъ на нее какъ на свою вещь, однимъ словомъ, воленъ любить и воленъ же и убить ее, что въ концѣ концовъ онъ и дѣлаетъ. Важно въ этомъ не то, что одинъ болѣе жестокъ, другой болѣе мягокъ, важно то, что ни тотъ ни другой не хотятъ признавать никакихъ отношеній, основанныхъ на справедливости, на правѣ,—и считаютъ себя полновластными, вольными миловать, вольными и казнить, что составляетъ характеристичную черту русскаго самодурства. Съ этой стороны, между ними нѣтъ разницы, всѣ они похожи другъ на друга, и когда забываешь частности, то такъ похожи, что всѣ они смѣшиваются въ вашей головѣ, и вы принимаете одного за другого. Какъ сходны между собою типы перваго лагеря, такъ точно и сходны типы

второго. Сходство тутъ, пожалуй, еще болѣе поразительное: та же мягкость, та же загнанность, то же роптаніе на судьбу, то же неосмысленное рабское, въ силу преданія, строгое и боязливое подчиненіе своимъ угнетателямъ. У всѣхъ у нихъ одни страданія, съ тою только разницею, что однѣ способны выносить болѣе, другія менѣе, однѣ страдаютъ безсознательно, по закону, такъ и быть должно, думается имъ; другія, какъ Катерина, сознаютъ свое страданіе, но неспособны, силы нѣтъ, прямо и смѣло лицомъ къ лицу стать къ своимъ притѣснителямъ, однако чувствуютъ и высказываютъ, что имъ жизнь не въ жизнь, не въ силахъ онѣ больше выносить своихъ страданій, пересилили они ихъ, измучили. Жизнь теряетъ для нихъ весь свой смыслъ, да иначе и быть не можетъ, все для нихъ опостыло, ничто ихъ не радуетъ, и „свѣтъ Божій не милъ“. Самое счастливое, что представляется имъ въ этомъ царствѣ самодуровъ—это смерть, могила, и голосъ Катерины выражаетъ собою вмѣстѣ съ самымъ страшнымъ страданіемъ, самую задѣшевную мысль всѣхъ тѣхъ, которые, сознавая свое безсиліе передъ существующимъ строемъ, опускаютъ руки и говорятъ: „...въ могилѣ лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо... солнышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочить... весной на ней травка вырастетъ, мягкая такая... птицы прилетятъ на дерево, будутъ пѣть, дѣтей выведутъ, цвѣточки расцвѣтутъ: желтенькіе, красненькіе, голубенькіе... всякіе... Такъ тихо, такъ хорошо! Мнѣ какъ будто легче! А объ жизни и думать не хочется. Опять жить? Нѣтъ, нѣтъ не надо... не хорошо! И люди мнѣ противны, и домъ мнѣ противенъ, и стѣны противны! Не пойду туда! Нѣтъ, нѣтъ, не пойду!“

Нужно ли говорить, что такъ только могутъ разсуждать лучшія, исключительныя, идеализированныя натуры, которыя попадаются рѣдко, рѣдко, такъ рѣдко, что въ головѣ невольно возникаетъ вопросъ: да не выдуманно ли такое лицо, не есть ли это только мечта автора, да и попадаются ли подобныя натуры? Большею же частью въ жизни встрѣчаются Авдотьи Максимовны, которыя будутъ продолжать

безсознательное существованіе, будутъ рожать дѣтей, и умрутъ такъ какъ родились, не зная, что и у нихъ есть права, права человѣческія, права разумнаго существа. А другая еще такъ пойметъ свои человѣческія права, до такой степени войдетъ во вкусъ этой самодурной жизни, что какъ Курицына въ комедіи „Грѣхъ да бѣда на кого не живетъ“, будетъ хвастаться тѣмъ, что на вопросъ мужа: „чего моя нога хочетъ?“ она немедленно „понимаетъ, потому обучена этому: ну и значить сейчасъ въ ноги“.

Нельзя при этомъ не замѣтить того, что если въ станѣ притѣснителей-самодуровъ рядомъ съ мужчинами попадаютъ иногда и образцовые экземпляры женщины-самодура, какъ, напр., Кабанова въ „Грозѣ“, за то въ противоположномъ слабомъ, загнанномъ лагерѣ, мы встрѣчаемъ почти исключительно женщинъ. Въ семейномъ быту онѣ и должны играть самую жалкую роль, какъ существа, лишеныя властвующей тутъ физической силы; борьбы двухъ элементовъ здѣсь встрѣтить нельзя, потому что та нравственная сила, которая способна возстать, хотя очень часто и совершенно безплодно, противъ грубой физической, если и встрѣчается иногда здѣсь, то она до такой степени изолирована, что способна развѣ вызвать въ женщинѣ рѣшимость на самоубійство, но никакъ не больше. Объ открытой борьбѣ, съ одной стороны, физической, съ другой, нравственной силъ — тутъ и рѣчи быть не можетъ, до такой степени одна царитъ надъ другою.

Между этими двумя враждебными станами есть еще одинъ, какъ бы средній, по положенію своему принадлежащій къ угнетеннымъ, но по стремленіямъ и желанію льнущій къ угнетающимъ. Этотъ средній лагерь, готовящійся соединиться съ сильнымъ, но выжидающій только удобной минуты, чтобы быстро превратиться въ самодуровъ. Это тотъ классъ, который лишенъ всякаго болѣе или менѣе нравственнаго чувства, который точно такъ же гадокъ, какъ и лагерь самодуровъ, если еще не гаже, потому что тутъ онъ дѣйствуетъ исподтишка; классъ этотъ изображенъ у Островскаго какъ нельзя лучше въ комедіи „Свои люди — соч-

темся“, въ характерахъ Лазаря Елизарича Подхалюзина и Олимпіады Самсоновны, дочери купца Большова. Это готовые уже самодуры, которые ждутъ только случая показать себя на дѣлѣ; они льстятъ, угождаютъ, потому что знаютъ, что иначе нельзя выбратъся въ люди, а сами про себя говорятъ: „погоди, будетъ и на нашей улицѣ праздникъ!“ Смолоду, съ дѣтскихъ лѣтъ всасываютъ они все то, что необходимо, чтобы съ спокойствіемъ и наслажденіемъ надувать и губить всякаго, кто только попадется въ ихъ лапы. Страшную школу должны они были пройти, какимъ ужаснымъ нравственнымъ изувѣчіямъ должны были подвергнуться ихъ натуры, прежде чѣмъ закалились они въ этомъ служеніи дикой, необузданной силѣ, служащей основаніемъ русской жизни. Нужно ли удивляться послѣ этого, что въ такихъ людяхъ заглохнетъ всякое человѣческое чувство, что они не будутъ знать себѣ другого закона, какъ обманъ, тамъ, гдѣ нужно обмануть, и раболѣпство передъ тѣми, которые сильнѣе ихъ. Вотъ и все, къ чему сводится семейный купеческій бытъ: съ одной стороны, ужасающая физическая и нравственная слабость и загнанность; съ другой, возмутительное издѣваніе надъ всѣмъ, что болѣе слабо, и раболѣпное отношеніе ко всему, что имѣетъ болѣе силы и власти,—однимъ словомъ, люди раздѣляются здѣсь на двѣ неравныя части—тѣхъ, которыхъ душатъ, и тѣхъ, которые душатъ. Нужно ли говорить, что все это прикрывается толстою, гранитною стѣною невѣжества, грубости, предразсудковъ, суевѣрій,—что въ результатѣ даетъ самое полнѣйшее непониманіе и даже невозможность пониманія того, что на землѣ могутъ существовать иныя понятія, иной порядокъ, иныя отношенія между людьми.

Если подобный строй жизни есть результатъ еще полуварварскаго состоянія народа и далекаго разстоянія отъ той образованности, которая есть богатый плодъ западной цивилизаціи, то не трудно предполагать, что картина купеческаго быта, нарисованная Островскимъ, будетъ сильно походить на картину, списанную съ другого, любого слоя русскаго общества. Причина та же, результатъ долженъ быть

тотъ же. Какъ тамъ необразованіе, такъ и здѣсь; какъ тамъ его слѣдствіемъ является самодурщина, такъ точно такъ же должна она явиться и здѣсь. Процентъ образованныхъ людей, людей, которыхъ разумъ не затемненъ неуклюжею смѣсью французскаго съ нижегородскимъ, цивилизованныхъ понятій Запада съ первобытными понятіями, еще такъ незначителенъ относительно цѣлой массы, колоссальной массы населенія, что, несмотря на всю громадную силу, которая принадлежитъ образованію въ борьбѣ съ невѣжествомъ, несмотря на то, что меньшинство это съ каждымъ днемъ должно увеличиваться, еще много времени должно пройти, прежде чѣмъ пропадетъ послѣдній слѣдъ самодурства, изображеннаго сильною рукою Островскаго.

Выйдя изъ купеческаго быта, Островскій пошелъ бродить по сосѣдству, и прежде всего наткнулся на мелко-чиновничій и мелко-помѣщичій бытъ, въ которомъ точно также изобразилъ онъ два враждебные стана: угнетенныхъ и угнетателей. Развѣ Марья Андреевна въ „Бѣдной Невѣстѣ“ не можетъ подать руки Авдотѣ Семеновнѣ, развѣ не одинаковая у нихъ несчастная доля, развѣ не одна у нихъ общая участь, полная печали и горя? Марью Андреевну любятъ, но какъ любятъ, почти что хуже, чѣмъ не любить: за ней не признаютъ человѣческихъ правъ, она не можетъ любить кого хочетъ, ее мучать, пилятъ до тѣхъ поръ, пока она, наконецъ, не соглашается загубить свою жизнь, выходя замужъ за грубаго, отвратительнаго Беневоленскаго. Да, собственно говоря, ей ничего другого и не остается дѣлать: на что она способна?—ни на-что, ровно ни на-что; да если бы и была способна, что стала бы она дѣлать, развѣ ей не закрыты всѣ дороги, кромѣ одной, которую избрала Катерина; но за то, вѣдь, мы и сказали, что Катерина—рѣдкость, исключеніе. А Беневоленскій, а мать Марьи Андреевны, Анна Петровна—развѣ не принадлежатъ они также къ лагерю сильныхъ, угнетателей, съ тою только разницею, что Беневоленскій гадокъ, жестокъ, имѣетъ характеръ, а Анна Петровна не гадка, не жестока,

не имѣть характера, не имѣть и образованія, чтобы отдѣлаться отъ самодурства, которое тутъ точно такъ же сильно, какъ и въ купеческомъ быту. Никто еще тутъ не достигъ до какого-нибудь понятія о томъ, что значитъ уваженіе къ личности. Однимъ словомъ, Островскій точно такими же мрачными красками рисуетъ мелко-чиновничій бытъ, какими нарисовалъ онъ и купеческій; одинаково темный колоритъ положилъ онъ и на помѣщичью среду, которую онъ изобразилъ въ „Воспитанницѣ“. Героиня самодурнаго, дикаго лагеря, Уланбекова не уступитъ никакой Кабановой, никакому Титу Титовичу и Торцову, а Надя, воспитанница Уланбековой, такая-же жалкая и несчастная, какъ и всѣ ея сестры купеческаго и чиновничьяго быта. Въ однихъ выражается грубая, звѣркая сила, которая требуетъ себѣ отъ другихъ полного подчиненія, полного рабства. Возможно ли, при такой обстановкѣ, какое-нибудь развитіе, возможна ли человѣческая жизнь въ этой средѣ?—На это никто не затруднится отвѣтить.

Душно, тѣсно становится вамъ въ этомъ мірѣ, изображаемомъ Островскимъ, и у васъ, наконецъ, вырывается: да неужели же нѣтъ другой жизни, неужели въ большомъ русскомъ царствѣ художникъ-драматургъ не встрѣтилъ ни одного болѣе чистаго, болѣе отраднаго образа, неужели во всей землѣ не подслушалъ онъ ничего другого, кромѣ рыданій и стоновъ, вызываемыхъ ударами грубой, торжествующей силы? Нѣтъ, ничего больше, отвѣчаютъ вамъ, и вы не вѣрите, и начинаете снова слушать его точно похоронную пѣснь въ надеждѣ, авось не разслышите-ли вы гдѣ-нибудь дружнаго, радостнаго пѣнія? Ожидаемые звуки не долетаютъ до васъ, и вами овладѣваетъ тяжелое, грустное раздумье. Гдѣ же зародышъ, гдѣ источникъ, гдѣ причина той мрачной картины, которая нарисована намъ Островскимъ, невольно спрашиваетъ себя? Гдѣ начинается, гдѣ оканчивается тупое самодурство, гдѣ останавливается торжество физической силы, и гдѣ, наконецъ, вступаетъ въ свои права единая законная правительница міра — правственная сила человѣка? Неужели нѣтъ предѣловъ владыче-

ству матеріальной силы, неужели ею обуславливается вся жизнь русскаго народа, неужели только она и успѣла пропитать насквозь всѣ слои, всѣ классы общества? Если невѣжество, дикость и отсутствіе сколько-нибудь разумныхъ отношеній между людьми составляетъ удѣлъ семейной жизни русскаго общества, если тутъ безгранично господствуетъ произволъ, то невозможно, чтобы не явилось сомнѣніе и относительно общественной жизни народа. Семейная и общественная жизнь тѣсно связаны между собою, и невозможно, чтобы одна не вліяла на другую, и даже больше, чтобы одна не была выраженіемъ другой. Не съ простымъ любопытствомъ хладнокровнаго зрителя, но съ душевнымъ трепетомъ и страхомъ хотимъ мы взглянуть и спросить у безотчетной наблюдательности и неподдѣльнаго правдиваго чутья Островскаго, какъ, какимъ образомъ отражаются подмѣченныя имъ основныя черты русской семейной жизни въ сферѣ общественныхъ отношеній, въ области, такъ сказать, политической жизни націи? Вопросъ этотъ тѣмъ болѣе интересенъ, что въ отвѣтъ на него мы узнаемъ или, вѣрнѣе, дополнимъ наше знаніе и въ той сферѣ семейныхъ отношеній, которыя не были еще прослѣжены Островскимъ, именно, мы узнаемъ, насколько черты, принадлежащія низшимъ слоямъ общества принадлежатъ и высшимъ. Островскій, для того, чтобы сколько нибудь обрисовать область общественной жизни, долженъ будетъ, наконецъ, коснуться и семейной жизни того класса, который представляетъ собою какъ бы болѣе развитое, передовое сословіе нашего общества, потому что до сихъ поръ, собственно говоря, только оно и имѣло то, что зовется общественною жизнью, только оно и пользовалось нѣкоторыми правами, всѣ же остальные классы представлялись какъ бы вещью, болѣе или менѣе не одушевленными для высшей жизни предметами.

Посмотримъ, не просвѣтлѣетъ-ли тутъ какимъ-нибудь чудомъ мрачное воззрѣніе Островскаго на весь строй русской жизни, не отыщется-ли онъ тутъ, среди нашихъ образованныхъ классовъ, тѣхъ яркихъ и свѣтлыхъ тѣней, за которыя мы пожелаемъ ухватиться, чтобы съ радостью и

надеждою смотрѣть на будущее. Исчезнетъ-ли тутъ, наконецъ, это раздѣленіе всѣхъ людей на два враждебныхъ стана, одинаково безотрадныхъ, выведенныхъ Островскимъ въ семейномъ быту?

Долго, какъ мы уже сказали въ самомъ началѣ, Островскій оставлялъ въ полной тѣни, въ полномъ мракѣ наши общественныя отношенія, долго онъ ограничивался однимъ семейнымъ бытомъ низшихъ слоевъ народа, долго не могъ онъ показать того соотношенія, которое неизбѣжно существуетъ между частною, семейною и общественною, политическою жизнью русскаго люда. Причина этого отдаленія отъ сферы общественныхъ отношеній, нужно сказать, долго лежала не только въ томъ запретѣ, который лежалъ на всемъ, что мало-мальски соприкасалось съ властію, но она скрывалась въ явленіи еще болѣе грустномъ, болѣе способномъ привести къ отчаянію, именно въ полномъ отсутствіи того, что называется общественною жизнью. Общественной жизни не существовало, или вѣрнѣе, она не подавала никакихъ признаковъ своего существованія; она была забита, придавлена, и русское царство долго походило на то сонное царство, гдѣ все спитъ непробуднымъ сномъ, и только двери его охранялись грознымъ и свиду сильнымъ богатыремъ. Все спало, и даже тѣ, которые пробуждались, должны были притворяться, что они спятъ. Русскому драматургу, разумѣется, не было тутъ мѣста, ему пришлось бы копировать имъ же нарисованное самодурство въ семейномъ быту; изобразивъ домашнюю жизнь, онъ какъ бы тѣмъ самымъ изобразилъ и общественную. День уходилъ за днемъ, годъ за годомъ, а русскій народъ все спалъ, все боялся открыть свои глаза и взглянуть на свѣтъ Божій, страхъ передъ грознымъ богатыремъ былъ необъятный, и вдругъ... все зашевелилось, всѣ привстали съ своихъ мѣстъ. Но привстать не значитъ еще встать, привычка дѣйствовать всѣми членами своего тѣла была потеряна, тѣ, которые стали ходить, поминутно спотыкались, многіе такъ и остались лежать, и даже, по привычкѣ, прищуривали глаза. Эта перемѣна не могла ускользнуть отъ наблюдатель-

ности Островскаго, онъ долженъ былъ почувствовать, что въ обществѣ начинается извѣстное броженіе, что искусственно уничтоженная общественная жизнь предъявляетъ свои права, и онъ не могъ поэтому не воспользоваться нѣкоторымъ пробужденіемъ общества, чтобы сколько-нибудь пополнить тѣмъ пробѣлъ въ его картинѣ русской жизни и постараться изобразить общественныя отношенія, обуславливающія собою и семейныя. Какой же характеръ несутъ на себѣ эти общественныя отношенія, присуща-ли имъ та же внутренняя борьба двухъ враждебныхъ лагерей, къ которымъ они выражаются, кому досталась роль угнетателей и кому угнетенныхъ, въ какой формѣ выражается тутъ протестъ противъ господства дикой силы, да и выражается-ли онъ еще,—на всѣ эти вопросы должны отвѣтить намъ его комедіи, въ которыхъ преобладающимъ элементомъ является изображеніе общественныхъ сторонъ жизни.

Первою комедіею, написанною на эту тему, было „Доходное мѣсто“, гдѣ невольно должны были сказаться всѣ порывы, которыми особенно былъ богатъ конецъ пятидесятыхъ и первое время шестидесятыхъ годовъ. На ней отразилось все то движеніе, которое, сколько бы въ немъ ни было ложнаго и надутаго, оставляетъ одну изъ свѣтлыхъ полосъ нашей общественной жизни, и потому заслуживаетъ, чтобы на ней остановиться. „Доходное мѣсто“ въ эту минуту получило для насъ еще особенный интересъ, благодаря новой комедіи Островскаго: „На всякаго мудреца довольно простоты“, такъ какъ эти два произведенія могутъ навести читателя не на одну интересную паралель.

Да, въ то время, когда появилось „Доходное мѣсто“, было много ложнаго, фальшиваго; люди, провозглашавшіе высокіе принципы, говорившіе о томъ, чтобы перевернуть весь строй жизни,—эти люди были и недостаточно развиты и недостаточно подготовлены, но въ ихъ словахъ сказывалась правда, и очень часто въ ту правду искренно вѣрили. Точно изъ-подъ земли выросла вдругъ цѣлая фаланга молодежи, которая съ горячностью двадцати годовъ сдѣлала вызовъ укоренившемуся порядку, и захотѣла дѣйствовать

на свой страхъ. Способны-ли они были вынести эту борьбу, достаточно-ли они были сильны, не слишкомъ-ли высоко-мѣрно относились они къ „старью“, не считали-ли они его черезчуръ слабымъ, въ то время, когда оно могло заводить много такихъ фалангъ и много подобныхъ напоровъ—все это показало время. Эту борьбу, этотъ споръ двухъ враждебныхъ лагерей и нарисовалъ Островскій въ „Доходномъ мѣстѣ“. Тутъ стоятъ два непріятельскіе стана другъ противъ друга, точно такъ же, какъ мы видѣли два лагеря въ картинахъ семейной жизни; точно также мы видимъ здѣсь, что одному принадлежитъ сила, одинъ уже владѣетъ ею, въ то время, какъ другой еще совершенно безсиленъ; но разница тутъ та, что въ семейныхъ отношеніяхъ протестъ противъ уродливости жизни—скрытый, тайный; здѣсь онъ обнаруживается съ громомъ и молніею. Тамъ еще не началась борьба между физическою силою и нравственною, которая здѣсь смѣло бросаетъ первой роковую перчатку. Физическая сила изображена здѣсь въ лицѣ важнаго сановника Вишневскаго, который съ презрѣніемъ самодура относится къ новымъ стремленіямъ и къ новымъ идеямъ, и какъ собственно могло бы это быть иначе; когда все, что онъ видитъ, все преклоняется передъ нимъ, когда всевозможные Юсовы, Бѣлогубовы, всѣ эти выслужившіеся и выслуживающіеся Молчалины по прежнему продолжаютъ льстить и раболѣпничать передъ его особой. И если бы еще эти Юсовы, эти Бѣлогубовы были въ меньшинствѣ—дѣло другое, онъ бы задумался, можетъ-быть, а теперь онъ видитъ ихъ вездѣ, встрѣчаетъ на каждомъ шагу, и чувствуя въ нихъ свою силу, онъ не можетъ смущаться передъ какимъ-то „мальчишкой“ Жадовымъ, который проповѣдуетъ трудъ, честность, клеймитъ взяточничество, раболѣпство. Вишневскій, можетъ быть, внутренно бѣсится, не понимая, откуда проникъ вдругъ этотъ протестующій элементъ, можетъ быть, онъ и пугаетъ его, но покамѣстъ онъ крѣпится и наружно совершенно спокоенъ и доволенъ собою. Жадовъ—это пробуждающаяся нравственная сила общества, выходящаго изъ полного мрака, гдѣ не было мѣста ника-

кому свѣтлому образу. Связь семейнаго быта съ общественною жизнью можно, какъ нельзя лучше, прослѣдить въ этой комедіи, какъ въ фигурѣ, изображающей собою представителя грубой силы Вишневскаго, такъ и на лицѣ воплощающемъ въ себѣ зародышъ живой нравственной силы — Жадова. Чѣмъ является Вишневскій въ своей внутренней семейной жизни? Если бы ему дали волю, если бы ему попалась женщина, которая не имѣла бы рѣшительнаго характера и подчинялась ему, онъ сдѣлалъ бы изъ нея то же, что дѣлаютъ изъ своихъ женъ Большовы, Торцовы, Титы Титовичи; но ему попалась жена, которая противится ему, и онъ рѣшается на другое средство, еще, можетъ быть, болѣе отвратительное, чѣмъ страхъ: подкупъ. Ему не приходитъ въ голову, что женщина, для того чтобы любить человѣка, нуждается въ чемъ-нибудь иномъ, чѣмъ приказаніе или извѣстная сумма денегъ. Онъ считаетъ себя совершенно правымъ, говоря: „не для васъ-ли я купилъ и отдѣлалъ великолѣпно этотъ домъ? не для васъ-ли выстроилъ въ прошломъ году дачу? Чего у васъ мало? Я думаю, что ни у одной купчихи нѣтъ столько брильянтовъ, сколько у васъ“... И послѣ этого женщина имѣетъ дерзость не любить его. Какъ по этому одному уже видно, что въ его головѣ никогда не умѣстятся никакія человѣческія понятія о болѣе справедливыхъ отношеніяхъ между людьми! Двухъ словъ, двухъ фразъ достаточно тутъ Островскому, чтобы обрисовать его цѣлый характеръ; намъ уже нечего добиваться, какъ относится онъ къ другимъ своимъ домашнимъ: мѣра дана, ее можно прилагать ко всему.

Набросивъ одну или двѣ домашнія сцены, заставивъ высказать Вишневскаго его воззрѣнія на семейную жизнь, Островскій рисуетъ маститаго сановника, какъ общественнаго человѣка, точно также одной или двумя сценами, но которыхъ слишкомъ достаточно, чтобы составить себѣ ясное понятіе, какъ дошелъ подобный господинъ до богатства и почестей, до теплаго мѣста и извѣстнаго величія. Ему не нужно себя измѣнять, онъ вездѣ остается одинъ и тотъ же, какъ въ семейныхъ, такъ и въ общественныхъ

отношеніяхъ: вездѣ мы видимъ надменнаго, наглаго, презирающаго все и всѣхъ, если только это „все и всѣхъ“ стоитъ ниже его; онъ уважаетъ только силу, въ какой бы формѣ она ни выражалась, — силу богатства, силу связи, силу чина, мѣста, положенія, даже силу лести, потому что онъ знаетъ по опыту, что лестъ ведетъ ко всевозможнымъ почестямъ и ко всевозможнымъ карьерамъ.

Что же касается до нравственной силы, то онъ ее искренно презираетъ, и въ эту минуту даже не подозреваетъ надобности съ ней бороться. Да какъ ему и не презирать ее, когда всѣ его правила жизни сводятся къ одному: „какое дѣло обществу, на какіе доходы ты живешь, лишь бы жилъ прилично и велъ себя какъ слѣдуетъ порядочному человѣку“, т. е. другими словами: „воруй, грабь, надувай, дѣлай что хочешь, только будь порядочнымъ человекомъ“. Какъ у мѣста это „порядочнымъ“, и сколько страницъ комментаріевъ можно было бы исписать на этотъ эпитетъ въ устахъ Вишневскаго! И скучно и бесплодно было бы допытываться, семьянинъ ли Вишневскій произвелъ на свѣтъ Вишневскаго общественнаго дѣятеля, или наоборотъ; дѣло только въ томъ, что общественныя отношенія болѣе подчинены власти отдѣльныхъ людей, чѣмъ семейныя отношенія; на общественныя есть въ сто разъ больше возможности дѣйствовать, а поэтому на нихъ должна и лежать отвѣтственность, если въ семейныхъ отношеніяхъ продолжаетъ господствовать самодурная сила, покоящаяся на самодурной же силѣ нашихъ общественныхъ отношеній.

Юсовы и Бѣлогубовы являются какъ бы подпорой Вишневскихъ, они въ общественныхъ отношеніяхъ занимаютъ то же самое мѣсто, какое занимаютъ Подхалюзины въ семейномъ быту; все это кандидаты на роли общественныхъ самодуровъ, и они твердо, непреклонно идутъ по проложенному чуть не вѣками пути. Они чуть не съ колыбели дѣлаются Молчалиными, „не смѣющими своего сужденія имѣть“, они слѣпо идутъ къ назначенной ими цѣли всей жизни: „сдѣлаться людьми“, и на все остальное уже не

обращаютъ никакого вниманія. „Сдѣлаться же людьми“ — это понятно что значить. Это значить дойти до такихъ чиновъ, когда не они, а имъ будутъ льстить, кланяться, когда въ нихъ будутъ заискивать, какъ они теперь заискиваютъ въ Вишневскихъ, въ ихъ женахъ, дочеряхъ, сыновьяхъ, всѣхъ ихъ родственникахъ, въ ихъ лакеяхъ, камердинерахъ, собакахъ и т. д., и т. д. Ихъ несчастный мозгъ никогда не бываетъ встревоженъ никакими человѣческими мыслями, имъ никогда не приходила въ голову дума, что можетъ быть и другая жизнь, чѣмъ та, какою они живутъ; они никогда не спрашивали себя, хорошо или дурно унижаться, обманывать, льстить; чувство человѣческаго достоинства никогда въ нихъ не шевелилось, и въ головахъ ихъ никогда не могло бы умѣститься сомнѣніе, что такая грубая, животная жизнь не хороша, что можетъ быть иная — болѣе разумная, болѣе справедливая.

Обвинять, жаловаться на Юсовыхъ, Бѣлогубовыхъ за то, что они Юсовы и Бѣлогубовы, вовсе не имѣло бы никакого смысла; они представляютъ собою законныя явленія, законные результаты общественнаго воспитанія. Пословица права, когда она говоритъ: „что посѣешь, то и пожнешь“; посѣяны были Вишневскіе — всходятъ Юсовы и Бѣлогубовы, которые въ свою очередь дорастутъ и сдѣлаются непременно Вишневскими. И чѣмъ больше они приближаются къ вершинѣ своего величія, тѣмъ больше прибавляется въ нихъ наглости, презрѣнія къ людямъ, разумѣется, поставленнымъ ниже ихъ, и тѣмъ больше исчезаетъ въ нихъ раболѣпность, какъ исключительная, характеристическая черта ихъ. Бѣлогубовъ, который только вступаетъ на жизненную сцену, хотя и обѣщаетъ очень много, раболѣпствуетъ передъ всякимъ и каждымъ, кто бы онъ ни былъ, безъ различія, не разбирая, есть ли тутъ выгода или нѣтъ; онъ раболѣпствуетъ, потому что иначе онъ не можетъ, онъ долженъ раболѣпствовать, унижаться передъ всѣми, даже оставаясь наединѣ съ собаченкой своего начальника, онъ будетъ самъ стоять передъ ней на заднихъ ножкахъ, потому только, что она собаченка его начальника, а онъ,

по его внутреннему убѣжденію, не что иное, какъ рабъ и червь. Онъ не можетъ допустить, чтобы иначе кто-нибудь могъ „выйти въ люди“, и когда онъ встрѣчается съ Жадовымъ, который иначе смотритъ на вещи, Бѣлогубовъ недоумѣваетъ, но раболѣпничаетъ и передъ нимъ, потому что въ головѣ его непремѣнно проходитъ мысль, что это не такъ, не просто, что, значить, онъ скрываетъ же въ себѣ какую-нибудь силу, разумѣется, силу въ томъ только смыслѣ, какъ можетъ допустить Бѣлогубовъ. Подымаясь на высшія ступени общественной лѣстницы, „раболѣпство передъ всѣми“ начинаетъ уже пропадать, и тогда-то, какъ у Юсова, является, вмѣсто того, озлобленіе и ненависть противъ всѣхъ, которые не хотятъ идти по пройденной ими дорогѣ. Юсовъ уже не раболѣпствуетъ передъ Жадовымъ, нѣтъ, совершенно напротивъ, онъ преслѣдуетъ и ненавидитъ его, онъ желаетъ уничтожить его и стереть съ лица земли, за то, что Жадовъ не хочетъ „выйти въ люди“ такъ, какъ вышелъ онъ, Юсовъ, т. е. не хочетъ быть на побѣгушкахъ, не хочетъ исправлять разныхъ комиссій: „и за водкой-то бѣгать, и за пирогами, и за квасомъ, кому съ похмѣлья“, какъ все это дѣлалъ Юсовъ. Онъ ненавидитъ Жадова, какъ-то инстинктивно боится его и вмѣстѣ съ тѣмъ презираетъ его: „что это за время такое! восклицаетъ онъ. Что теперь на свѣтѣ дѣлается, глазамъ своимъ не повѣришь! Какъ жить на свѣтѣ! Мальчишки стали разговаривать! Кто разговариваетъ-то? Кто спорить-то? Такъ, ничтожество! Дунулъ на него, фу! вотъ и нѣтъ человѣка. Да еще съ кѣмъ спорить-то! — Съ геніемъ“. Геній для него, разумѣется, Вишневскій.

Бѣлогубовы, Юсовы, Вишневскіе, которыхъ мы точно видимъ и слышимъ, такъ ярко нарисованы они Островскимъ, такъ много въ нихъ жизни и правды, — олицетворяютъ собою одинъ изъ враждебныхъ лагерей; они являются представителями грубой, физической силы, всегда преобладающей въ мало развитомъ еще обществѣ, того необузданнаго цивилизаціею элемента, противъ котораго должна упорно бороться зарождающаяся нравственная сила, до тѣхъ поръ,

пока она не окрѣпнетъ и окончательно не возьметъ верхъ. Много должно пройти времени, прежде чѣмъ окончится этотъ періодъ борьбы, потому что матеріальная сила цѣлыми вѣками укрѣпилась въ странѣ и далеко пустила свои острые корни. Пробуждающаяся нравственная сила представляется въ фигурѣ юноши Жадова, на которомъ, какъ нельзя полнѣе, отразилось все то быстро охватившее русское общество броженіе, когда завязался совершающійся на нашихъ глазахъ поединокъ между новымъ и старымъ порядкомъ вещей. Въ концѣ пятидесятихъ годовъ все представлялось въ какомъ-то розовомъ свѣтѣ, и людямъ казалось, что довольно одного желанія, чтобы разорвать всѣ связи съ мрачнымъ прошедшимъ и начать новую, свѣтлую жизнь. Въ дѣйствительности же оно вышло не совсѣмъ такъ. И послѣ перваго легкаго и счастливаго вздоха, вырвавшагося изъ груди Жадовыхъ, послѣ перваго восторга, вызваннаго твердою надеждою на быстрое торжество новыхъ, болѣе справедливыхъ началъ жизни, послѣ слѣпой, можетъ быть, безумной вѣры, что все такъ и совершится, какъ подсказывала горячая молодая мечта, послѣ перваго удара, нанесеннаго старому зданію, въ бродившемъ идеями обществѣ вдругъ произошла быстрая перемѣна — орудіе оказалось слишкомъ тупымъ и мягкимъ для сгнившаго, но вѣкового дерева. Тѣ, которые считали себя и свои идеи страшною силою, увидѣли, что они слабы, и, главное, слабы силою противниковъ. Минуты общаго оживленія и радости смѣнились минутами грусти и унынія, но тѣмъ не менѣе начало было сдѣлано, и если превращеніе должно было совершиться не такъ легко, не такъ быстро, то все-таки сомнѣніе въ томъ, что оно совершится—стало невозможно: подкопъ стараго строя былъ обезпеченъ; вопросъ былъ только въ средствахъ и времени, а вовсе не въ самомъ принципѣ.

Если теперь, послѣ десяти почти лѣтъ, какъ сталъ ясенъ тотъ типъ людей, которые сдѣлались первыми жертвами опьяненія общества, то въ ту минуту, нужно было обладать сильнымъ художественнымъ чутьемъ, какимъ-то ин-

стинктивнымъ пониманіемъ, чтобъ вывести Жадова, и представить въ немъ типъ молодого, пробующаго только свои силы общества. Жадовъ былъ дѣйствительнымъ типомъ того времени, и въ этомъ нельзя не отдать справедливости Островскому. Жадовъ не крѣпкая натура, не человѣкъ съ выдержанными, закаленными убѣжденіями: онъ весь состоитъ изъ однихъ порывовъ, но порывовъ какъ нельзя болѣе благородныхъ. Онъ вѣруетъ и любитъ все хорошее, честное, и ненавидитъ всякую ложь и неправду. Онъ полонъ розовыхъ надеждъ, всевозможныхъ иллюзій, въ него не закрадывается сомнѣніе, относительно жизни; трудъ, честность, прямота—всѣ его „святыя убѣжденія“; да ими можно, думается ему, побороть цѣлый міръ. Онъ искренно, незамѣтно, можетъ быть, для самого себя, рисуется этими убѣжденіями, хвастается ими, что обличаетъ тотчасъ же, что эти убѣжденія не вошли въ его плоть и кровь, что они не выработаны имъ самимъ, а только навѣяны ему. „А голова-то, а руки-то на что? Неужели мнѣ весь вѣкъ жить на чужой счетъ? Конечно, другой былъ бы радъ, благо случай есть, а я не могу“. И это желаніе похвалиться не есть фальшь, желаніе только выказать себя, онъ въ самомъ дѣлѣ это чувствуетъ, и ему хочется только дѣлиться съ другими своею честностью, въ которую онъ такъ вѣритъ. Ему въ голову не приходитъ, чтобы онъ когда-нибудь могъ измѣнить себѣ, и подобно Юсовымъ и Бѣлогубовымъ, рѣшиться искать доходнаго мѣста. „Какъ бы жизнь ни была горька, восклицаетъ онъ, я не уступлю даже милліонной доли тѣхъ убѣжденій, которыми я обязанъ воспитанію“. Каждое слово дышитъ въ немъ молодостью, тою молодостью, которой все легко, не потому, что въ ней была бы дѣйствительная сила для борьбы, а только потому, что ей не пришлось еще столкнуться съ будничною жизнью. Онъ еще не понялъ, что нельзя бороться противъ каждой „мерзости“, которую онъ встрѣчаетъ на „каждомъ шагу“, а что нужно вооружиться и дѣйствовать только противъ одной, которая служитъ источникомъ всѣхъ остальныхъ. Послѣ перваго столкновенія съ дѣйствительною жизнію,

когда онъ не испыталъ еще ни одного лишенія, и когда Вишневскіе и Юсовы даютъ ему только чувствовать, лишая его мѣста, что честныя убѣжденія не обходятся дешево; когда испытаніе только впереди, -- онъ полонъ еще отваги, онъ собственно и не хочетъ задумываться и спросить себя: нѣтъ ли въ ихъ словахъ гадкой, отвратительной, но тѣмъ не менѣе все-таки правды. Онъ собственно еще не размышляетъ, а только вѣрить или не вѣрить: „Да, разговаривайте! Не вѣрю я вамъ. Не вѣрю, чтобы честнымъ трудомъ не могъ образованный человѣкъ обезпечить себя съ семействомъ. Не хочу вѣрить и тому, что общество такъ развратно... Вы завидуете только намъ, людямъ съ чистою совѣстью, съ душевнымъ спокойствіемъ. Этого вы не купите ни за какія деньги“. Вѣра является у Жадова вездѣ и во всемъ, вѣра въ себя, вѣра въ другихъ, вѣра въ трудъ, въ любовь, на горизонтѣ все чисто, нѣтъ ни одного облочка ни одного сомнѣнія. Съ убѣжденіемъ, основаннымъ на вѣрѣ, а не съ убѣжденіемъ, основаннымъ на внутренней выработкѣ, выступаютъ и выступали эти люди въ борьбу съ физическою силою; что же удивительнаго, что они лично должны были потерпѣть пораженіе. Пораженіе идетъ быстро рядомъ съ двухъ сторонъ—изъ отношеній семейныхъ и отношеній общественныхъ; и тутъ и тамъ его собственная слабость, безсиліе, невыдержанность одолеваетъ его, и надолго, если не навсегда, смущаютъ его и ведутъ къ гибели. Онъ надѣялся, женившись по любви, быть довольнымъ, счастливымъ, надѣялся жену сдѣлать точно также счастливою, хотѣлъ воспитать ее, вырвать изъ нея общественныя предразсудки, думая, что они такъ легко поддаются—и, вмѣсто этого, къ чему онъ пришелъ? Жена просто на просто не считаетъ его за умнаго человѣка, потому что, по ихъ понятію, „умный человѣкъ долженъ быть непременно богатъ“; во всѣхъ спорахъ съ нею онъ долженъ былъ ей уступить, „она такъ и осталась при прежнихъ понятіяхъ“. Жадовъ самъ объяснилъ причину: онъ не умѣлъ взяться за дѣло. Не убѣжденія ихъ, слѣдовательно, тутъ виноваты, а просто то, что эти убѣжденія не были

выработаны имъ, они не сдѣлались одно съ нимъ, а были просто взяты готовыми.

Если бъ Жадовъ не встрѣтилъ себѣ такого отчаяннаго отпора, если бы масса, бѣльшая часть общества раздѣляла бы эти самыя убѣжденія, онъ, можетъ быть, и до конца остался бы увѣреннымъ, что эти убѣжденія—его, имъ самимъ выработаны; они, можетъ быть, и были бы достаточны для обыкновеннаго обихода, а для борьбы они, разумѣется, оказались недостаточными. Если бы вся масса была глубоко честна, и Жадову никогда бы не пришлось бороться, онъ такъ бы и умеръ, не сознавъ своей слабости, или вѣрнѣе слабости всего, что только заимствовано, но не усвоено. „Какой я человѣкъ! восклицаетъ онъ теперь, потерпѣвъ пораженіе въ жизни — я ребенокъ, я объ жизни не имѣю никакого понятія. Все это ново для меня, что я отъ васъ слышу. Мнѣ тяжело! Не знаю, вынесу ли я! Кругомъ развратъ, силъ мало!“ Тутъ именно и начинается драма въ самомъ Жадовѣ, тутъ начинается страшная борьба, и какъ не сказать, что Жадову нужно было бы быть героемъ, чтобы одному, всѣми брошенному, не находя себѣ нигдѣ ни защиты ни опоры, ни въ комъ не встрѣчая сочувствія, напротивъ, одну насмѣшку, выйти побѣдителемъ изъ этой борьбы. Какъ ни мало усвоены были Жадовымъ его убѣжденія, какъ ни мало вошли они въ его плоть и кровь, въ нихъ столько чистаго, привлекательнаго, обольщающаго, что когда теперь ему запало уже въ голову или хоть промелькнула мысль, что съ „мельницами“ бороться нечего, когда онъ почти рѣшается на страшный шагъ: искать, просить доходнаго мѣста,—эти убѣжденія становятся ему вдругъ дѣйствительно дороги, они заставляютъ испытывать его страшную, почти предсмертную агонію, и въ ту самую минуту, когда онъ готовится измѣнить имъ, въ первый разъ, можетъ быть, онъ ихъ въ самомъ дѣлѣ любить и чувствуетъ къ нимъ привязанность и какое-то безконечное уваженіе. Въ головѣ его страшный огонь, онъ не помнитъ себя, ему больше нѣтъ охоты красоваться, слова льются у него, какъ огненная лава, выходящая изъ вулкана; чест-

ная, искренняя натура противится общей заразе, и мы делаемся свидѣтелями послѣдней страстной схватки нравственной силы съ дикимъ невѣжествомъ, когда Жадовъ, съ умоляющимъ видомъ и жаромъ, силится еще разъ найти себѣ опору въ своей женѣ. „Слушай, слушай, — восклицаетъ онъ, — всегда, Полина, во всѣ времена, были люди, они и теперь есть, которые идутъ на переборъ устарѣвшимъ общественнымъ привычкамъ и условіямъ. Не по капризу, не по своей волѣ, нѣтъ, а потому, что правила, которыя они знаютъ, лучше, честнѣе тѣхъ правилъ, которыми руководствуется общество. И не сами они выдумали эти правила: они ихъ слышали съ пастырскихъ и профессорскихъ кафедръ, они ихъ вычитали въ лучшихъ литературныхъ произведеніяхъ нашихъ и иностранныхъ. Они воспитались въ нихъ, и хотятъ ихъ провести въ жизнь. Что это не легко, я согласенъ. Общественные пороки крѣпки, невѣжественное большинство сильно. Борьба трудна и часто пагубна, но тѣмъ больше славы для избранныхъ. На нихъ благословеніе потомства, безъ нихъ ложь, зло, насиліе выросли бы до того, что закрыли бы отъ людей свѣтъ солнечный...“ Если бы въ эту минуту около Жадова нашелся хоть одинъ человѣкъ, который поддержалъ бы его, очень вѣроятно, что онъ вышелъ бы побѣдителемъ изъ борьбы, и тѣ убѣжденія, которыя онъ только „выслушалъ и вычиталъ“, можетъ быть, впились бы въ него и сдѣлались его собственными убѣжденіями. Но, вмѣсто такого человѣка около Жадова, только и отвѣчаютъ словами презрѣнія: „Ты сумасшедшій, право, сумасшедшій“. Если бы Жадовъ былъ герой, если бы онъ былъ исключительнымъ человѣкомъ, тогда, разумѣется, и безъ всякой посторонней помощи Жадовъ не свернулся бы, „не споткнулся“, какъ самъ онъ говоритъ въ послѣднемъ дѣйствіи; но тогда Жадовъ и не такъ бы интересовалъ насъ, тогда мы и не стали говорить бы о фигурѣ, выведенной Островскимъ, какъ о типѣ извѣстной эпохи.

Были люди, безъ сомнѣнія, не падавшіе и не спотыкавшіеся какъ Жадовъ, но эти люди были исключительныя

явленія, до которыхъ драматургу мало дѣла, если онъ хочетъ рисовать общій типъ, жизнь какъ она есть, не измѣняя главному условію искусства — правдѣ; а правда эта именно и требовала, чтобы Жадовъ споткнулся, потому что иначе его нужно было бы вывести въ иной средѣ, окружить его другими условіями, съ самаго начала показать его иначе, чѣмъ показанъ Жадовъ. Большое достоинство и большой талантъ Островскаго какъ нельзя лучше видны на этой комедіи, правдивое чутье, истина, живущая въ немъ и постоянно подсказывающая ему, не допустила его сдѣлать изъ Жадова ходульнаго героя, возбуждающаго только отвращеніе, которыхъ мы такъ много видѣли и продолжаемъ видѣть на русскомъ театрѣ. Съ самаго начала, съ первой сцены, съ первыхъ словъ Жадова, мы видимъ, что это не герой, не исключительный человѣкъ, что его убѣжденія только наружныя, внѣшнія, хотя и высказываются имъ совершенно искренно; мы съ самаго начала дуэли между Вишневымъ и Юсовымъ, съ одной стороны, и Жадовымъ, съ другой, какъ нельзя лучше видимъ его слабость, предчувствуемъ его паденіе, и потому для насъ собственно занавѣсъ падаетъ именно въ ту минуту, когда онъ вошелъ только въ домъ Вишневаго. Паденіе совершилось, и намъ не нужно быстрого возстановленія Жадова, какое сдѣлалъ Островскій въ концѣ пятаго акта, чтобы по прежнему относиться къ Жадову съ полнымъ сочувствіемъ. Къ Жадову нельзя относиться безъ сочувствія, потому что нельзя подвергнуть сомнѣнію искренность его „вѣры“ въ святыя начала правды и честности. Его паденіе не вызываетъ злобы, а только одно сожалѣніе, какъ вызываетъ симпатію и состраданіе женщина, павшая вслѣдствіе крайности и нужды. Паденіе его невольно, оно вызвано необходимостью, и, мы повторяемъ, Островскій сдѣлалъ бы непростительную ошибку, комедія его много потеряла бы своей правды, если бы Жадовъ не споткнулся, потому что Жадовъ не герой, не исключительный человѣкъ, не человѣкъ съ крѣпкими и непоколебимыми убѣжденіями, благодаря которымъ онъ могъ бы вынести всякую борьбу, по-

гибнуть, быть заѣденнымъ, уничтоженнымъ, но никогда не сдѣлаться жертвою паденія. Жадовъ другое дѣло, Жадовъ—это общій типъ, созданный Островскимъ, типъ, въ которомъ соединились всѣ существенныя и характеристическія черты и особенности, и въ немъ не могли не узнать себя, положа руку на сердце, многіе и многіе изъ молодого поколѣнія того времени. Жадовъ симпатиченъ, потому что всѣ его стремленія, вѣрованія, желанія благородны до конца; въ немъ нѣтъ ничего фальшиваго, неискренняго; онъ не падаетъ, смѣясь надъ тѣми, которые борются, нѣтъ, онъ завидуетъ имъ, онъ страдаетъ, онъ самъ борется, онъ мучается съ разорваннымъ отъ боли сердцемъ, почти съ презрѣніемъ къ самому себѣ онъ идетъ просить доходнаго мѣста, какъ люди идутъ на смертную казнь. Если онъ не остановился на краю пропасти и скользнулъ въ смрадную яму, то не потому, чтобы въ немъ не было желанія, охоты удержаться, а потому, чтобы удержаться и не пасть, для этого нуженъ былъ сильный исключительный характеръ, сильная, исключительная натура, какой не бываетъ у обыкновенныхъ смертныхъ. Жадовъ палъ, потому что онъ долженъ былъ пасть, а пасть онъ долженъ былъ потому, что та среда и то общество, въ которомъ онъ желалъ дѣйствовать, сохранили еще слишкомъ большую физическую силу, чтобы не отбить первый напоръ впервые послѣ долгаго сна пробуждавшейся нравственной силы.

Выставляя борьбу двухъ элементовъ, Островскій нарисовалъ разладъ двухъ поколѣній, стараго и новаго, и первое онъ представилъ гнилымъ, разлагающимся, но въ силу инерціи, сохраняющимъ матеріальное могущество; молодое изобразилъ онъ честнымъ, благороднымъ, но далеко не окрѣпшимъ для упорной борьбы, и вслѣдствіе этого невольно подчиняющимся первому. Островскій показалъ на упавшемъ въ бездну Жадовѣ, какъ трудно, какъ тяжело оставаться безукоризненно честнымъ человѣкомъ въ средѣ, въ которой недостаточно развиты начала честности, и насколько цѣлое общество, какъ бы ни было оно заражено, сильнѣе отдѣльныхъ индивидуумовъ. Только тогда, когда обществен-

ное воспитаніе сдѣлаетъ значительные успѣхи, когда Жадовы, какъ ни много въ нихъ слабости, сдѣлаются большинствомъ въ обществѣ, когда честность станетъ обыкновеннымъ началомъ въ общественныхъ отношеніяхъ, только тогда человѣкъ, не одаренный желѣзною волею въ состояніи будетъ остаться честнымъ человѣкомъ въ силу честности самого общества. А до тѣхъ поръ, не одинъ еще Жадовъ, послѣ борьбы и страданій, вынужденъ будетъ пасть, безъ того, чтобы за его паденіе въ него можно было бросить камнемъ. И его паденіе и онъ самъ долго будутъ вызывать еще только сожалѣніе и симпатію, потому что крѣпкому, могучему Жадову неоткуда еще было и взяться. Общественная масса, общественныя отношенія не могутъ вдругъ измѣниться, а до тѣхъ поръ, пока не измѣнились они, жизнь Жадовыхъ такъ тяжела, что за нихъ нельзя поручиться. На каждомъ шагу, каждый день, каждый часъ у нихъ впереди стояла борьба, среда давила ихъ, и они въ изнеможеніи отъ борьбы приходили къ страшному убѣжденію, что честнымъ трудомъ люди не всегда еще могутъ добиться до чего-нибудь. Скользкій путь, опасная дорога, на которой такъ легко, съ ненавистью и озлобленіемъ въ груди, изъ симпатичнаго и благороднаго, несмотря на свое паденіе, Жадова превратится въ антипатичнаго и безчестнаго Глумова—новаго героя комедіи Островскаго: „На всякаго мудреца довольно простоты“.

Состояніе общественной атмосферы въ ту минуту, когда написано было „Доходное мѣсто“, представляется намъ значительно измѣнившимся, если мы примемъ за градусникъ современнаго общества послѣднюю комедію Островскаго. Вѣтеръ, очевидно, подулъ совершенно въ другую сторону, если героемъ конца пятидесятихъ годовъ драматургъ представлялъ Жадова, а героемъ конца шестидесятихъ онъ представляетъ Глумова. На это, пожалуй, могутъ намъ возразить, что комедіи Островскаго не могутъ быть мѣрилами общества, какъ не могутъ считаться героями извѣстныхъ эпохъ выводимыя имъ фигуры, въ видѣ Жадова и Глумова. Съ подобнымъ мнѣніемъ мы никакъ не согласимся. Лите-

ратура всегда отражала и будет отражать состояніе общества, его нравственный уровень всегда будет служить лучшимъ указателемъ, какія идеи, какія стремленія, какіе интересы наполняли собою общество, изображаемые типы всегда будутъ говорить, изъ какихъ людей состояла данная среда. Разумѣется, для того, чтобы брать произведенія и типы извѣстнаго автора, какъ мѣрило для сужденія объ обществѣ, нужно, чтобы этотъ авторъ обладалъ недюжиннымъ талантомъ. Нужна большая сила, нужно, чтобы писатель обладалъ въ высокой степени тою художественною правдою, которая позволяетъ ему различныя стороны встрѣчаемыхъ имъ лицъ, различныя черты и особенности людей его времени сливать въ то общее цѣлое, которое заслуживаетъ названіе типа. Нужно, чтобы изображаемые имъ фигуры, выводимые имъ типы были не скѣлками съ того или другого лица, а чтобы въ нихъ выразились всѣ лица извѣстнаго строя; тутъ важны не извѣстныя частности или особенности отдѣльныхъ характеровъ, а тотъ общій и сильный колоритъ, подъ которымъ пропадаютъ ничего незначащія для типа мелочи и выступаютъ крупныя и типичныя черты, которыя свойственны болѣе или менѣе всѣмъ людямъ извѣстнаго строя и извѣстной эпохи. Безъ сомнѣнія, мы не можемъ брать за мѣрило времени и людей, дѣйствующихъ въ обществѣ, всевозможныя драмы и комедіи, претендующія на изображеніе нравовъ, но которыя въ сущности изображаютъ ихъ настолько же, насколько какое-нибудь произведеніе, въ родѣ „Гражданскаго брака“; мы не можемъ брать такихъ авторовъ, у которыхъ, вмѣсто людей, дѣйствуютъ какіе-то автоматы, у которыхъ, вмѣсто правды, на каждомъ шагу мы встрѣчаемъ только ложь да фальшь. Конечно, и такія даже произведенія, какъ та комедія, могутъ служить для характеристики людей и нравовъ, потому что, если въ обществѣ, вслѣдствіе тѣхъ или другихъ обстоятельствъ, нѣтъ ничего, кромѣ подобныхъ вымысловъ, то изъ этого можно сдѣлать основательное заключеніе, что общество стоитъ весьма низко въ своемъ нравственномъ развитіи. Но это будетъ только сужденіе *en gros*, и мы

все-таки не увидимъ, ни что за люди дѣйствовали въ обществѣ, ни какими идеями руководились они, ни на основаніи какихъ принциповъ поступали они—все это способенъ дать только писатель, обладающій крупнымъ талантомъ, для котораго невозможна ни ложь ни грубый вымыселъ, который неотступно руководится живымъ обществомъ и пропитываетъ свои образы высокою художественною правдою.

Намъ, надѣмся, не нужно больше доказывать, что у Островскаго дѣйствуютъ живые люди, а не автоматы, и что онъ никогда не грѣшитъ противъ художественной правды. Вотъ отчего мы и смѣло можемъ позволить себѣ брать его комедіи, какъ мѣрило даннаго времени и нравовъ даннаго общества. Мы, разумѣется, никогда не допустимъ, чтобы талантливый драматургъ, постоянно живущій въ обществѣ и слѣдящій за его жизнію, могъ, совершенно независимо отъ идей и людей, вращающихся среди его, сегодня писать такое произведеніе, завтра другое, сегодня выставлать такой типъ, завтра другой, безъ всякаго соотношенія къ тому, что онъ видитъ въ извѣстную минуту. Для драматурга, который строить свои произведенія, главнымъ образомъ, на сильныхъ драматическихъ положеніяхъ, который пишетъ цѣлую комедію въ виду такой или другой идеи, на заданную имъ себѣ тему, который задается мыслию—представить, олицетворить въ какой-нибудь фигурѣ извѣстную общечеловѣческую страсть или порокъ,—для такого драматурга, безъ сомнѣнія, существуетъ самая полная возможность оставаться чуждымъ минутному движенію общества и даже рѣзкому колебанію его въ ту или другую сторону. Но для такого драматурга, какъ Островскій, который не задается никакими темами, никакими идеями или положеніями, который просто изображаетъ жизнь такъ, какъ она ему представляется, и рисуетъ общественные нравы, безъ всякихъ тенденцій, а такъ, какъ ихъ подсказываетъ ему его тонкое чутье и удивительная наблюдательность, нѣтъ возможности оставаться внѣ измѣненій, совершающихся въ обществѣ, неестественно, чтобы онъ не помѣтилъ ихъ въ своихъ произведеніяхъ. Поэтому мы и можемъ

взять его „Доходное мѣсто“ и его новую комедію, и, говоря о нихъ, сказать: вотъ эта рисуется одну эпоху, вотъ эта—другую; вотъ типъ, принадлежащій тому моменту общества, вотъ типъ, принадлежащій этому, и разницею между двумя комедіями, между двумя типами, выяснитъ разницу между двумя моментами современнаго общества.

Мы видѣли уже Жадова, видѣли и Вишневскихъ, и Юсовыхъ, мы знаемъ, какая борьба завязалась между ними, и къ чему она привела. Зло торжествовало, но торжество это—временное, истинная сила принадлежитъ тѣмъ началамъ, которыя Жадовъ только высказывалъ, и черезъ какіе бы еще печальные фазисы не должны были пройти эти начала, эти носившіяся въ обществѣ идеи, въ концѣ концовъ они все-таки принесли уже русскому обществу известную долю пользы, и, можетъ быть, большую, чѣмъ это обыкновенно полагаютъ, хотя бы только тѣмъ, что помогли разрушить авторитеты Вишневскихъ и Юсовыхъ, которые превратились теперь въ сто разъ болѣе ничтожныхъ Крутицкихъ и Городулиныхъ. Какъ само общество дало возможность вспыхнуть Жадову, такъ точно помогло оно и его паденію, и если въ Жадовѣ произошла переменна, то произошла она, можетъ быть, тоже и въ обществѣ. Послѣ минутнаго увлеченія, послѣ перваго порыва какой-то искусственной страсти къ высокимъ идеямъ человѣчества, когда быстро пріѣлись фразы,—не фразы были только у самаго незначительнаго, ничтожнаго меньшинства—о благѣ человѣчества, общественной пользѣ, помощи ближнему, любви къ „меньшимъ братьямъ“, въ русскомъ обществѣ, какъ недостаточно подготовленномъ для дѣйствительнаго воспріятія этихъ идей, должна была произойти реакція, и она въ самомъ дѣлѣ не замедлила явиться. Личный интересъ, часто прикрытый маскою общественнаго блага, какое-то общее равнодушіе смѣнили всѣ возвышенныя идеи, а когда равнодушіе становится главнымъ отличительнымъ свойствомъ общества, тогда трудно ожидать отъ него много хорошаго. „Отъ равнодушія—говорилъ еще Жадовъ—недалеко до порока“, „а тотъ, добавлялъ онъ очень вѣрно,

кому порокъ не гадокъ—тотъ самъ понемногу втянется“. Островскій почувствовалъ, безъ сомнѣнія, совершившуюся въ обществѣ перемѣну, онъ инстинктивно понялъ, что Жадову больше нѣтъ мѣста, и взамѣнъ благороднаго, увлекающагося юноши, онъ сдѣлалъ своимъ героемъ холоднаго, расчетливаго, всѣмъ существомъ своимъ погруженнаго въ личные интересы, презирающаго всѣмъ и всѣми для достиженія своей цѣли, которая сводится къ одному слову: карьера. Карьера служебная, карьера денежная, карьера... однимъ словомъ, всякая карьера и днемъ и ночью мерещется молодому герою, котораго Островскій окрестилъ Глузовымъ. Съ нимъ-то мы и должны познакомиться.

Глузовъ—это главное дѣйствующее лицо комедіи Островскаго: „На всякаго мудреца довольно простоты“, онъ и есть самый мудрецъ, все дѣйствіе вертится вокругъ него, всѣ пружины, которыхъ на этотъ разъ у Островскаго больше, чѣмъ гдѣ-нибудь, стягиваются въ его фигурѣ. Сколько чертъ, сколько сторонъ мы ни уловили бы въ Глузовѣ, намъ никогда бы не удалось такъ мѣтко опредѣлить его характеръ, какъ дѣлаетъ это самъ Глузовъ въ началѣ комедіи: „Маменька—говоритъ онъ—вы знаете меня: я уменъ, золъ и завистливъ. Чтò я дѣлалъ до сихъ поръ? Я только злился и писалъ эпиграммы на всю Москву, а самъ баклуши билъ. Нѣтъ, довольно. Надъ глупыми людьми не надо смѣяться, надо уметь пользоваться ихъ слабостями. Конечно, здѣсь карьеры не составишь, карьеру составляютъ и дѣло дѣлаютъ въ Петербургѣ, а здѣсь только говорятъ. Но и здѣсь можно добиться теплаго мѣста и богатой невѣсты—съ меня и довольно“; и немножко далѣе, онъ продолжаетъ убѣждать свою мать, говоря: „Я сумѣю поддѣлаться и къ тузамъ, я найду себѣ покровительство,—вотъ вы увидите. Глупо ихъ раздражать, имъ надо льстить грубо, безпардонно. Вотъ и весь секретъ успѣха“. Въ этихъ словахъ заключается ключъ къ уразумѣнію всего характера Глузова. Боже мой, какое разстояніе пройдено отъ Жадова до новаго героя! Тамъ на первомъ планѣ стояли принципы, высокія начала честности, правды, слышалось искреннее же-

ланіе быть полезнымъ другимъ, бороться съ ложью, обманомъ; здѣсь, напротивъ, прежде всего является собственная личность, карьера, на алтарь которой Глумовъ готовъ принести все, что только въ его власти. Это больше не тотъ юноша, который громко возмущается несправедливыми общественными отношеніями,—нѣтъ, это человѣкъ, который боится терять время на смѣхъ надъ людскою глупостью, онъ жаждетъ употребить ее въ свою пользу; надо пользоваться „ихъ слабостями“—говоритъ онъ, разумѣя тѣхъ, противъ которыхъ боролся безсильный Жадовъ. Горизонтъ его не великъ, это не сильная натура, движимая честолюбіемъ, ни чѣмъ неудержимымъ властолюбіемъ,—это опять былъ бы исключительный человѣкъ; нѣтъ, это—обыкновенный средній человѣкъ, какихъ есть цѣлая бездна: все, что ему нужно,—это теплое мѣсто и богатая невѣста. Онъ не хочетъ идти прямою дорогою, потому что онъ лучше Жадова понимаетъ, что такимъ путемъ ничего не достигнешь, можетъ быть, даже примѣръ его послужилъ ему урокомъ; онъ точно также борется противъ тѣхъ, противъ которыхъ боролся тотъ юноша, но только орудія у него другія, потому что и цѣль другая. Глумову кажется глупымъ раздражать тузовъ, когда отъ нихъ можно всего добиться при помощи лести, грубой, безпардонной—какъ выражается онъ,—и нужно ему отдать справедливость: онъ лучше, умнѣе смотритъ на своихъ противниковъ; онъ понимаетъ, что истинной силы у нихъ совсѣмъ не такъ много, и, можетъ быть, даже считаетъ ихъ болѣе слабыми, чѣмъ они являются въ дѣйствительности. Хитрость, лукавство, лесть, раболѣпство, угожденіе направо и налево, и рядомъ съ этимъ полное презрѣніе ко всѣмъ, и уваженіе только себя—вотъ орудія Глумова, которыми онъ прокладываетъ себѣ дорогу къ почестямъ и богатству. Между Жадовымъ и Глумовымъ нѣтъ ничего общаго, и только одну жадовскую черту Островскій присвоилъ и своему новому герою, и эта черта производитъ въ характерѣ Глумова какую-то непонятную двойственность.

У Глумова, какъ и у Жадова, накипаетъ въ душѣ желчь,

вызванная уродствомъ общественныхъ отношеній, и онъ, Глумовъ, не признающій на практикѣ никакихъ понятій о честности, не останавливающійся ни передъ чѣмъ для достиженія своей цѣли, „одинъ въ ночной тиши“ будетъ „вести лѣтопись людской пошлости“. Какъ угодно, но нельзя не признать, что здѣсь звучитъ сильно-фальшивая нота. Мы бы еще могли допустить, если бы хотѣли только прослѣдить дальнѣйшую судьбу Жадова, и встрѣтили его на хорошемъ мѣстѣ и человѣкомъ, имѣющимъ, что называется, хорошее положеніе, что на него находили бы иногда минуты, когда онъ, припомнивъ свои молодые годы, юношескія мечты, печально задумывался и размышлялъ бы о „людской пошлости“; но и у Жадова эти минуты были бы крайне рѣдки, и онъ каждый разъ отгонялъ бы ихъ отъ себя, говоря, что за глупыя мысли! Но откуда могла накопиться „желчь въ груди“ у Глумова, который, будучи еще ребенкомъ, у всѣхъ лизалъ руки и тогда уже клялся, что будетъ любить и слушаться всѣхъ своихъ начальниковъ. Допустимъ, однако, что мать, говоря это, клеветала на него, допустимъ, что если и правда, что онъ воспитывался „въ правилахъ строгой нравственности и добродѣтели“, то онѣ уничтожены были противоположными вліяніями и идеями, которыя проповѣдывалъ Жадовъ, и тогда все-таки онъ долженъ былъ далеко отъ себя отбросить ту тетрадь, въ которой онъ велъ „Лѣтопись людской пошлости“. Одно изъ двухъ: вступивъ самъ на дорогу, которая не терпитъ никакого понятія о честности, все, что прежде казалось ему „людкою пошlostью“, теперь должно было перестать казаться; или сохранивъ какимъ-нибудь чудомъ нѣкоторое благородство, онъ не сталъ бы болѣе вести лѣтописи „людской пошлости“, потому что своя собственная пошлость была бы для него черезчуръ тяжела и нестерпима.

Мы, разумѣется, не настаивали бы на этой неестественной, фальшивой чертѣ характера Глумова, если бы она была мимоходною и стояла бы на второмъ или третьемъ планѣ; мы бы могли только удивиться, къ чему внесъ ее Островскій въ такой цѣльный характеръ, какимъ предста-

вляется намъ Глумовъ. Къ несчастію, черта эта играетъ главную роль не въ характерѣ Глумова, но въ ходѣ комедіи, на ней держится, такъ сказать, вся интрига пьесы. „Умный, злой и завистливый“ Глумовъ, не хочетъ болѣе злиться и бить баклушъ, и, вмѣсто этого, предпочитаетъ сдѣлать себѣ карьеру. Съ его умомъ и еще тѣмъ принципомъ, которымъ онъ вооружился главнымъ образомъ, именно лестью, не хитро предсказать ему, что онъ достигнетъ своей цѣли, и будетъ имѣть самый полный успѣхъ. Планъ атаки „карьеры“ какъ нельзя болѣе хорошъ. Черезъ своего дядю, Мамаева, онъ намѣревается войти въ довольно значительный по положенію кругъ, который будетъ побѣжденъ его умомъ, ловкостію, скромностію, угодливостію и вмѣстѣ остальными добродѣтелями, такъ что ему останется пожинать только лавры своихъ побѣдъ. Выгодная женитьба, хорошее мѣсто—всѣмъ этимъ онъ уже обладаетъ въ своемъ воображеніи, нужно сдѣлать только первый шагъ, т. е. познакомиться съ дядей, надъ чѣмъ, конечно, не задумывается долго нашъ герой. Дядя для препровожденія времени любитъ осматривать квартиры, какъ будто бы желая нанять для себя; Глумовъ даетъ нѣсколько рублей человѣку Мамаева, чтобы онъ привелъ къ нему дядю; дядя приведенъ, знакомство сдѣлано, племянникъ понравился дядѣ, Глумовъ только потираетъ себѣ руки и думаетъ про себя: Боже, какіе дураки есть на свѣтѣ. Далѣе идетъ все какъ по маслу. Глумовъ ухаживаетъ за тетушкой, женой Мамаева, она въ восторгѣ отъ своего „молодого и красиваго“ племянника, и дѣлаетъ изъ него своего любовника или чѣмъ-то въ этомъ родѣ. Она знакомитъ его съ значительными лицами, двумя важными сановниками, Крутицкимъ и Городулинымъ; одному изъ нихъ Глумовъ сочиняетъ проекты о вредѣ реформъ, другому приготавливаетъ либеральные спичи, оба отъ него безъ ума, оба прославляютъ его, достаютъ ему мѣста и помогаютъ его женитьбѣ на богатой невѣстѣ Турусиной, которая просватана за него при помощи взятокъ различнымъ приживалкамъ, наполняющимъ домъ Турусиной, Манефамъ, изрекающимъ, въ видѣ знаменитаго

московскаго Ивана Яковлевича, свои опредѣленія, выгодныя тому, кто больше дастъ рублей. Глумовъ торжествуетъ; но тутъ излишняя любовь тетушки и еще болѣе его злополучный дневникъ, въ которомъ онъ ведетъ „Лѣтопись людской пошлости“, собрались для него страшною тучею, которая разразилась грозою, разгромившею всѣ его планы. Глумовъ тщательно скрывалъ отъ Мамаевой свою надежду соединиться вѣчными узами съ двумястами тысячъ Турусиной, но вдругъ она узнаетъ его измѣну, которая кажется ей страшнымъ преступленіемъ, и жажда наказанія, мести, не даетъ ей ни одной минуты покоя. Она летитъ къ „ловкому человѣку“ сама, своими ушами хочетъ услышать грозную исповѣдь, она слышитъ ее и едва можетъ сдержать свою злобу. Пользуясь минутой, когда Глумовъ вышелъ изъ комнаты, чтобы вручить только ассигнацію одному изъ нашихъ продажныхъ писакъ, чтобы онъ не печаталъ его біографіи, Мамаева роется на столѣ Глумова и, о Боже! что она видитъ — дневникъ нашего карьериста, сатиру на все общество современнаго практическаго человѣка. Она перелистываетъ его, и слезы досады показываются на глазахъ этой охотницы до „красивыхъ и молодыхъ“ людей. Сатира на всѣхъ и на все; остроты, ѣдкія замѣчанія, полныя презрѣнія, — разсыпаны щедрою рукою направо и налево, ничто не пощажено: ни его дядя, старавшійся вывести его въ люди, ни важные сановники, какъ Крутицкій и Городулинъ, не пощажена и она, бѣдная жертва „красиваго и молодого“ человѣка. Но никого эта сатира такъ не забрызгиваетъ грязью, какъ самого Глумова, современнаго героя, который спокойно въ „ночной тиши“ велъ „Лѣтопись людской пошлости“, на каждой страницѣ которой онъ самъ занималъ едва ли не самое видное мѣсто. Если онъ не записывалъ сюда своихъ геройскихъ подвиговъ съ цѣлію покаянія и умышленнаго бичеванія самого себя, то мы спрашиваемъ, зачѣмъ авторъ сдѣлалъ своего умнаго героя менѣе дальновиднымъ, чѣмъ Мамаева, которая, съ одного взгляда на дневникъ, поняла, на кого ложится эта сатира на современное общество едва ли не са-

мымъ грязнымъ пятномъ, и смѣлая мысль озарила ея умъ — месть найдена: она воруетъ „Лѣтопись людской пошлости“. Далѣе едва ли нужно рассказывать. Она летитъ съ своимъ кладомъ къ продажному писакѣ, который только что взялъ деньги съ Глумова, вручаетъ ему дневникъ, вручаетъ нѣсколько рублей и заказываетъ ему статью — смертельную для Глумова и всѣхъ его плановъ. Статья эта напечатана, она прислана къ Турусиной, гдѣ собрано все общество, и къ этой статьѣ въ видѣ подтвержденія приложенъ подлинный дневникъ практическаго человѣка. Пораженіе на всѣхъ пунктахъ, а замокъ, выстроенный „на воздухѣ, безъ фундамента“, разлетается въ прахъ. Современный герой могъ бы пасть духомъ, изъ его груди могъ бы вырваться одинъ крикъ: сорвалось! если бы онъ не былъ твердо убѣжденъ, что онъ умнѣе всѣхъ остальныхъ, что для него поэтому нѣтъ еще ничего потеряннаго, что черезъ нѣкоторое время онъ снова подчинитъ себѣ то общество, въ которомъ онъ живетъ. Теперь читателю не трудно видѣть, какую важную роль играетъ въ построеніи всей комедіи та черта въ характерѣ Глумова, которая намъ кажется фальшиво взятымъ аккордомъ.

Вообще, мы должны сознаться, что въ этой комедіи мы встрѣчаемъ такіе недостатки, которые не привыкли видѣть въ бытовыхъ комедіяхъ Островскаго. Онъ самъ приучилъ насъ къ необыкновенной простотѣ въ завязкѣ, развязкѣ и цѣломъ ходѣ комедій, такъ что отсутствіе этой простоты здѣсь намъ еще болѣе чувствительно. Во всѣхъ почти его комедіяхъ дѣйствіе развивается какъ нельзя болѣе естественно, безъ всякой натяжки, концепція дѣйствующихъ лицъ, ихъ взаимныхъ отношеній, цѣлаго плана комедіи такъ свободно вытекаетъ изъ самой жизни, носитъ на себѣ характеръ такой правды, что вы поневолѣ чувствуете, что происходящее передъ вами есть въ самомъ дѣлѣ жизнь, безъ всякихъ прикрасъ, безъ всякаго ложнаго вымысла, безъ всѣхъ тѣхъ вычурностей, которыми надѣляютъ русскую жизнь писатели, не одаренные такимъ поразительнымъ чутьемъ, такимъ инстинктивнымъ пониманіемъ, такою

глубокою правдой—какъ Островскій. Эта простота въ построении комедій, его главная цѣль рисовать людей и нравы своего общества, какъ они являются въ жизни, со всею правдою, ни на одну минуту не жертвуя даже сотою долею ея ради какихъ бы то ни было чисто внѣшнихъ условій, дѣлаютъ иногда то, что драматическое движеніе въ его комедіяхъ замедляется, какъ бы останавливается; но мы все-таки въ тысячу разъ предпочитаемъ эту простоту, ради которой является вялость общаго хода комедіи, тому быстрому ходу, сильному драматическому движенію, построенному на фальшивыхъ, созданныхъ не здоровой, не чувствующей правды фантазіей, и искусственныхъ положеніяхъ, къ которымъ сплошь и рядомъ прибѣгаютъ всевозможные драматурги.

Въ послѣдней своей комедіи, Островскій, рѣшившись даже пожертвовать цѣльностью характера, его правдою, прибѣгнулъ къ одному изъ такихъ фальшивыхъ драматическихъ положеній, которыя могутъ надобиться тѣмъ только, у которыхъ фабула комедіи занимаетъ самое важное мѣсто, а никакъ не тѣмъ, у которыхъ на первомъ планѣ стоятъ живые люди и общественные нравы. Вся басня комедіи, вся интрига ея довольно неудачно построена на дневникѣ Глумова, являющимся какъ бы *deus ex machina*, и на что такъ падки нѣкоторые изъ современныхъ французскихъ драматурговъ, какъ, напр., Сарду. Все время, когда вы смотрите „На всякаго мудреца довольно простоты“, вы чувствуете, что этотъ несчастный дневникъ, около котораго сосредоточивается главное драматическое положеніе, есть не что иное, какъ придуманная авторомъ уловка, которая служитъ ему для завязки и развязки интриги. И какъ неудачна самая причина, такъ и неудачно ея послѣдствіе. Развязка, т. е. чтеніе этого дневника и обличеніе Глумова, является крайне неестественное, и если мы не станемъ упрекать Островскаго въ заимствованіи этой сцены у другого автора—подобный упрекъ былъ бы неумѣстенъ, когда мы говоримъ о такомъ талантливомъ драматургѣ, какъ Островскій—то мы все-таки должны ска-

зять, что тутъ конецъ является натянутымъ, и длинный монологъ Глумова, обращенный поочередно ко всѣмъ дѣйствующимъ лицамъ, есть не что иное, какъ фальшивый сценическій эффектъ.

Мы не привыкли видѣть у Островскаго подобныя, впередъ рассчитанныя на эффектъ слова или сцены, и мы тѣмъ болѣе непріятно поражены ими, что Островскому вовсе не нужно прибѣгать къ нимъ; въ его комедіяхъ всегда скрыто столько по истинѣ вызывающаго и слезы и смѣхъ, что вызывать то или другое искусственно ему совершенно незачѣмъ. Вызывать искусственно то или другое, значить впадать въ мелодраматичность или водевильность, а ни та ни другая въ комедіи вовсе не у мѣста. Вотъ почему мы упрекнемъ Островскаго и за ту сцену, гдѣ человѣкъ Турсиной приходитъ къ ней нѣсколько разъ съ докладомъ, что къ ней пришелъ то странный человѣкъ, то юродивый, то блаженный, что, если хотите, и смѣшно, но смѣшно водевильно, все это искусственно притянута, и безъ сомнѣнія, не отъ подобныхъ фарсовъ можетъ выигрывать комедія. Какъ нѣтъ простоты въ самомъ основаніи интриги комедіи, какъ натянута завязка и развязка, точно такъ же мы не можемъ не замѣтить натяжки и неестественности, съ которою Островскій заставляетъ сталкиваться дѣйствующихъ лица комедіи. Знакомство дяди съ племянникомъ, Глумова съ Мамаевымъ, нельзя сказать, чтобы совершалось такъ, какъ могло бы это совершиться въ дѣйствительной жизни. Но мы впадаемъ ужъ въ черезчуръ мелочной разборъ недостатковъ комедіи, и потому лучше перейдемъ къ тому, что въ ней есть истинно хорошаго. Хорошее въ комедіи то, что всегда хорошо у Островскаго: это начерченные типы, нарисованные нравы, въ которыхъ со всею яркостью отражается картина современнаго общества. Странное явленіе произошло въ сферѣ тѣхъ общественныхъ отношеній, въ которыхъ мы легко могли различать два лагеря, одинъ, полный физической силы, который десять лѣтъ тому назадъ представлялся Вишневыми, Юсовыми, Бѣлогубовыми, — и другой слабый, немногочисленный,

но съ зараждавшеюся нравственной силой, который изображенъ былъ Островскимъ въ фигурѣ Жадова.

Необычайная перемѣна произошла и въ томъ и въ другомъ; какъ ни тѣ мысли, ни тѣ идеи, ни тѣ понятія о болѣе нормальныхъ человѣческихъ отношеніяхъ, которые распространились въ русскомъ обществѣ во второй половинѣ пятидесятихъ годовъ, и которыя и вызвали Жадова, — не остались безъ послѣдствій на первый лагерь, точно также и разгромъ и паденіе Жадова имѣли свое пагубное вліяніе на другой, не успѣвшій еще окрѣпнуть, лагерь. Тотъ, который олицетворялъ въ себѣ физическую силу, силу рутины, застоя, долженъ былъ страшно поколебленъ, если онъ представляется теперь, вмѣсто увѣреннаго въ своей силѣ и гордаго своимъ превосходствомъ Вишневскаго и рабски слѣдующею за нимъ арміею Юсовыхъ и Бѣлогубовыхъ, какимъ-то растерявшимся и незнающимъ за что ухватиться Крутицкимъ, да еще сбитаго съ толку и идущимъ на всякія либеральныя продѣлки Городулинымъ. Въ другомъ лагерѣ произошла не менѣе рѣзкая перемѣна, лагерь протестующихъ измѣнилъ своему назначенію; онъ точно также продолжаетъ протестовать противъ уродства общественныхъ отношеній, но онъ протестуетъ только въ тиши или передъ тѣми, у которыхъ онъ можетъ выиграть только своимъ протестомъ. Измѣнилось самое значеніе протеста; онъ протестуетъ не въ видахъ цѣлаго общества, а только въ своихъ личныхъ интересахъ, но изъ этого однако не слѣдуетъ, чтобы, достигнувъ своихъ цѣлей, онъ сдѣлался бы Вишневскимъ или Крутицкимъ. Онъ понимаетъ и ихъ пошлость и ихъ глупость, онъ понимаетъ ихъ уродство, но онъ понимаетъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, что бороться съ ними прямо нельзя; на Жадова онъ смотритъ, какъ на невиннаго юношу, и если вспоминаетъ про него, то долженъ говорить: „дуракъ, не умѣлъ взяться за дѣло, у меня бы поучился!“ Онъ смотритъ на весь лагерь физической силы какъ на своихъ вѣчныхъ враговъ, у которыхъ на первомъ планѣ все-таки глупость, а не сила, и потому онъ рѣшается провести ихъ, надуть при помощи лести и рабо-

лѣпства. Эти орудія онъ заимствовалъ у своихъ противниковъ въ ущербъ тѣмъ, которыми боролся Жадовъ. Физическая сила выиграла на счетъ нравственной, которая почти-что исчезла; но два лагеря, совершенно измѣненныхъ, все-таки остались и стоятъ другъ противъ друга. Въ неразвитомъ, грубомъ еще обществѣ, безъ сомнѣнія, такой человѣкъ какъ Глумовъ долженъ имѣть въ сто разъ большій успѣхъ, чѣмъ юноша, какъ Жадовъ; въ самомъ дѣлѣ оно такъ и есть: одинъ въ комедіи, послѣ паденія, все-таки возстаетъ, хотя въ жизни онъ проваливается безвозвратно, другой въ комедіи проваливается, а въ дѣйствительной жизни торжествуетъ. И, безъ сомнѣнія, больше правды было бы въ комедіи, если бы Островскій не допустилъ Глумова до паденія, а предоставилъ ему пользоваться законными плодами своей побѣды. Глумовъ торжествуетъ и долженъ торжествовать, потому что для того общества, въ которомъ онъ дѣйствуетъ, его орудія самыя дѣйствительныя. „Хитрость и лесть“ — у него нѣтъ другого девиза, да другого ему и не нужно, если мы только взглянемъ, съ какою средою онъ имѣетъ дѣло.

Дома каждое слово Глумова считается закономъ. Онъ главнокомандующій, который поставилъ планъ генеральнаго сраженія; онъ все соображаетъ и дѣлаетъ, онъ направляетъ орудіе, и только другихъ, кого можетъ, заставляетъ стрѣлять изъ него. Сначала его армія не велика: въ полномъ безусловномъ его подчиненіи находится только его мать, которая представляетъ изъ себя нѣчто въ родѣ Санхо-Панчо, вставляющая иногда свое слово, но рабски слѣдующая приказаніямъ достойнаго ея сына.

Глумову нужно увеличить свою силу, и первый, котораго онъ долженъ пріобрѣсти себѣ вѣрнаго союзника, это его дядя Мамаевъ, который, по опредѣленію его другого племянника, гусара Курчаева, „считаетъ себя всѣхъ умнѣе и всѣхъ учить. Его хлѣбомъ не корми, только приди совѣта попроси“. Мамаевъ принадлежитъ къ той безсознательной части нашего общества, которая, хорошо обеспеченная въ матеріальномъ отношеніи, живетъ себѣ неиз-

вѣстно для чего, не имѣя никакихъ особенныхъ интересовъ. Это та, такъ сказать, табунная часть общества, которая слишкомъ невѣжественна и слишкомъ ограничена, чтобы имѣть свое собственное мнѣніе въ какихъ бы то ни было дѣлахъ; она идетъ, куда ее ведутъ, говоритъ, что слышитъ и дѣлаетъ, что приказываютъ. Какъ устами младенца высказывается иногда самая святая правда, точно также и Мамаевы говорятъ иногда очень здравыя вещи, сами не понимая ни смысла ни значенія того, что они говорятъ. Издали послушать его — попадется вдругъ у него такая фраза, что поневолѣ скажешь: онъ не дуракъ, и вдругъ рядомъ тотчасъ сказывается совершенно противное. Очевидно, что, когда въ разговорѣ съ Крутицкимъ, Мамаевъ говоритъ: „Да, мы куда-то идемъ, куда-то ведутъ насъ; но ни мы не знаемъ куда, ни тѣ, которые ведутъ насъ. И чѣмъ все это кончится“? — онъ только эхо другихъ голосовъ, онъ слышалъ звонъ, да не знаетъ откуда; какъ будто бы тутъ скрывается мысль, и вмѣстѣ съ тѣмъ у Мамаева никакой мысли нѣтъ. Черезъ нѣсколько секундъ онъ обличаетъ себя, и выдаетъ немедленно свою слабую сторону. Когда Крутицкій говоритъ ему, что еще не все потеряно, что есть люди сильные, съ большимъ умомъ, съ большою опытностью, которые остановятъ все, что „молодо и неопытно“, Мамаевъ отвѣчаетъ: „Есть, есть. Какъ не быть! Я вамъ скажу, и очень есть, да не слушаютъ, не слушаютъ. Вотъ въ чемъ моя бѣда; умныхъ людей, насъ, не слушаютъ“. Онъ весь тутъ, и дальше нечего въ немъ искать. Это тотъ слой или то стадо людей, которые пойдутъ, куда ихъ погонятъ и будутъ мычать то, что подскажутъ. Это люди не полезные, не вредные, а если и вредны, то только тѣмъ развѣ, что бесполезны. Но съ этими въ нашемъ обществѣ еще рано считаться. На такого человѣка Глумовъ, разумѣется, не тратитъ много труда, онъ притягиваетъ его къ себѣ самымъ грубымъ средствомъ, которое намъ кажется слишкомъ грубымъ даже по отношенію къ глупому Мамаеву. Онъ узналъ его слабую сторону, и прямо дѣйствуетъ на него, говоря: я глупъ, меня не-

кому учить! Мамаевъ, который любитъ, какъ онъ выражается, забираться „въ самыя высшія сферы мышленія“ и найдя человѣка, да еще племянника, который не только будетъ покорно выслушивать, но который самъ проситъ, чтобы его учили,—какъ нельзя болѣе счастливъ своею находкою, и, разумѣется, обѣщаетъ ему свою протекцію и покровительство. Глумовъ не боится расточать передъ Мамаевымъ самую грубую лесть, потому что онъ убѣдился, что Мамаевъ слишкомъ глупъ, чтобы догадаться, что онъ притворяется. Онъ цѣлуетъ ему руку, онъ говоритъ, что онъ счастливъ, „что видѣлъ и наслаждался бесѣдою умнаго человѣка“, онъ,—однимъ словомъ, съ жаромъ принимается за приведеніе въ исполненіе своего плана. Глумовъ уменъ, онъ самъ это сказалъ про себя, онъ и показываетъ на дѣлѣ, по полету узнавая птицу. Когда онъ входитъ въ домъ Мамаевой, онъ уже знаетъ, какъ нужно обращаться со всѣми, что говорить съ однимъ, что съ другимъ и т. д. Онъ едва не съ перваго разу подчиняетъ себѣ сердце этой барыни, большой охотницы до „красивыхъ и молодыхъ“ людей, о которой намъ нечего говорить.

Это вѣчный типъ, прекрасно очерченный Островскимъ, женщины свѣтской, ничего не дѣлающей, ничего не знающей, скрывающей подъ бархатнымъ платьемъ, сшитымъ по послѣдней модной картинкѣ, этою квинтъ-эссенціею женской цивилизаціи, свое необразованіе, свою пустоту; въ ней нѣтъ, да и не можетъ быть, въ томъ ненормальномъ нравственномъ состояніи, въ которомъ находится она почти со всею остальною массою женщинъ, другихъ интересовъ какъ новый туалетъ да любовь „къ красивымъ и молодымъ“ людямъ, но не дальше; красота и молодость, вотъ все, что ей нужно. „Если вы видите, говоритъ она, что умный человѣкъ плохо одѣтъ, живетъ въ дурной квартирѣ, ѣдетъ на плохомъ извозчикѣ—это васъ не поражаетъ, не колетъ вамъ глазъ: такъ и нужно, это идетъ къ умному человѣку, тутъ нѣтъ видимаго противорѣчія. Но если вы видите молодого красавца, бѣдно одѣтаго—это больно, этого не должно быть, и не будетъ, никогда не будетъ“.

Тутъ вся она, дальше искать нечего. Глумовъ, который красивъ и молодъ, разумѣется, легко побѣждаетъ ее, и она готова уже сдѣлать все на свѣтѣ, чего „онъ“ только пожелаетъ. Въ ея домѣ онъ знакомится съ Городулинымъ и Крутицкимъ, которые вмѣстѣ съ Глумовымъ представляютъ самый большой интересъ въ комедіи.

Городулинъ — это совершенно новый типъ, уловленный Островскимъ, типъ, который сложился въ послѣдніе нѣсколько лѣтъ подъ вліяніемъ суматохи, происшедшей въ лагерѣ слѣпыхъ защитниковъ рутины и всѣхъ основъ стараго, распатавшагося зданія. Онъ принадлежитъ къ той части общества и живо олицетворяетъ ее въ себѣ, которая числилась въ лагерѣ физической силы, но въ сущности не имѣла никакихъ убѣжденій, которая не знаетъ, что хорошо, что дурно, да собственно и не интересуется знать, лишь бы имъ самимъ было хорошо, и до всего остального имъ дѣла нѣтъ. Они могутъ быть самыми ревностными защитниками консерватизма, смотря что удобнѣе, что выгоднѣе, и въ чемъ болѣе они могутъ выказаться. Реакція! отлично, реакція, ожесточенная, ничѣмъ не удержимая, они будутъ его орудіями, хотя и ни за что не станутъ въ этомъ сознаваться передъ тѣмъ, передъ кѣмъ нѣтъ выгоды сознаваться, потому что всегда удобнѣе и какъ-то къ вамъ лучше относятся, когда вы выказываете мягкое сердце. А Городулины любятъ, чтобы ихъ любили, чтобы ихъ ласкали, у нихъ нѣтъ такого страшнаго честолюбія, чтобы только имъ и бредить. Они любятъ жизнь, это своего рода эпикурейцы; они не пренебрегаютъ ничѣмъ, что можетъ доставить имъ удовольствіе, развлеченіе, извѣстное жуированіе. Они не запираются въ своихъ кабинетахъ, не дѣлаютъ глубокомысленныхъ выраженій, совсѣмъ нѣтъ, у нихъ на лицѣ всегда улыбка, вы ихъ вездѣ видите, вездѣ встрѣчаете, — однимъ словомъ, это модные, свѣтскіе сановники. Мода для нихъ тотъ же сводъ законовъ, и они гораздо рѣже нарушаютъ первую, чѣмъ послѣдній. Сегодня пошла мода на либерализмъ, и вы можете быть увѣрены, что Городулинъ будетъ отчаяннымъ либераломъ, будетъ

высказывать либеральныя идеи, говорить либеральныя речи, и печатать чужія сочиненія въ защиту реформъ. Реформы, такъ реформы. Они неудержимы, и они переформировали бы кажется цѣлый міръ, если бы для этого только и нужно было не жалѣть словъ да громкихъ либеральныхъ фразъ. Они безъ всякаго сожалѣнія покидаютъ лагерь, на сторонѣ котораго до сихъ поръ была вся физическая сила, какъ только убѣдились, что эта сила начинаетъ уменьшаться, и стараются зачислить себя въ противоположный лагерь, потому что имъ кажется, что сила переходитъ на его сторону, и они готовы уже молиться новому восходящему солнцу. Такого рода типъ какъ нельзя болѣе удачно нарисовалъ Островскій въ лицѣ Городулина, и ему не нужно было болѣе двухъ-трехъ сценъ, чтобы сдѣлать его совершенно понятнымъ и законнымъ.

Какъ хорошо рисуется Городулинъ при его первой встрѣчѣ съ современнымъ героемъ Глумовымъ, когда этотъ, узнавъ всѣ качества своего партнера, вмѣсто того, чтобы явиться подобострастнымъ просителемъ хорошенькаго мѣстечка, дѣлаетъ совершенно противное, беретъ противоположную позицію, и съ увѣренностію произноситъ: „теперь не служу, да и не имѣю никакой охоты“—на вопросъ Городулина служить онъ или нѣтъ. Какъ быстро, моментально измѣняется тонъ Городулина, когда Глумовъ дѣлаетъ ему свое либеральное *profession de foi* въ отвѣтъ на вопросъ сановника, какія же нужны качества для службы. „Не разсуждать, когда не приказываютъ, смѣяться, когда начальство вздумаетъ сострить — думать и работать за начальниковъ и въ то же время увѣрять ихъ со всевозможнымъ смиреніемъ, что я, молъ, глупъ, что все это вамъ самимъ угодно было приказать“... „Прекрасно“! восклицаетъ восторженно Городулинъ: онъ видитъ передъ собою больше чѣмъ либерала, почти революціонера. А Глумовъ все больше и больше входитъ въ свою роль, и поощренный восклицаніемъ Городулина, видя въ немъ уже залогъ нѣкоторымъ образомъ высокаго поста, продолжаетъ поражать своего будущаго начальника, бросая ему въ лицо искусственно обер-

нутыя фразы. „Цѣлыя стѣны, произносить Глумовъ, цѣлыя крѣпости изъ бумагъ и формъ, и изъ этихъ крѣпостей только и вылетаютъ, въ видѣ бомбъ, сухіе циркуляры и предписанія“. „Какъ это хорошо! восклицаетъ Городулинъ, превосходно, превосходно! Вотъ талантъ“! И цѣлая сцена въ этомъ родѣ, сцена, веденная съ большимъ искусствомъ, въ которой вы не можете не видѣть, не можете не узнать той будничной, каждый день встрѣчающейся въ жизни, сцены, когда два господина, сойдясь вмѣстѣ, оба лгутъ, и оба увѣрены, что имъ вѣрятъ. Сатира тутъ бьетъ въ каждомъ словѣ, и самая рѣзкая и самая умная сатира на весь нашъ либерализмъ, на всѣхъ нашихъ либеральныхъ чиновниковъ. Всѣ произносимыя тутъ фразы, нельзя этого не чувствовать, не выдуманы Островскимъ, они подслушаны имъ, и трудъ его былъ только въ сопоставленіи ихъ. Вамъ грустно становится, когда вы слышите, какъ Глумовъ говоритъ: „Нѣтъ, вы дайте мнѣ такую службу, гдѣ бы я могъ лицомъ къ лицу стать съ моимъ меньшимъ братомъ. Дайте мнѣ возможность самому видѣть его насущныя нужды и удовлетворять имъ скоро и сочувственно“—вамъ становится грустно, потому что вы знаете, что въ самомъ дѣлѣ, каждый день, каждый часъ эти слова произносятся всевозможными Глумовыми, и старыми и молодыми, которые сдѣлали изъ нихъ самую возмутительную и пошлую вывѣску.

Эта фраза какъ нельзя лучше заканчиваетъ намъ характеръ Глумова, который не остановится ни передъ чѣмъ, все затопчетъ ногами ради своей собственной личности. И что при этомъ самое обидное, подобныя фразы продолжаютъ все-таки производить свое дѣйствіе на общество и обманывать его, какъ они обманываютъ и либеральнаго Городулина, который, пожимая ему руку, говоритъ: „Да, намъ такіе люди нужны, нужны, батюшка, нужны“. И этотъ припѣвъ повторяется на тысячи ладовъ, да и какъ ему не повторяться, Городулинымъ въ самомъ дѣлѣ нужны Глумовы. „Дѣла, дѣла, вѣдь, кричитъ Городулинъ, то обѣды, то вотъ желѣзную дорогу открывали“, и жизнь ихъ не идетъ,

а летить, посвященная всѣмъ этимъ важнымъ заботамъ. И либералы Городулины серьезно воображаютъ, что они дѣло дѣлаютъ; они считаютъ себя или по крайней мѣрѣ желаютъ, чтобы ихъ считали бойцами за свободу, когда они многозначительно произносятъ: „надо ихъ, старыхъ, хорошенько“. А Глумовъ вторитъ ему: „надо, надо. Вѣдь, только посмотрите, что пишутъ!“ — „Осмѣять надо, отвѣчаетъ Городулинъ, и еще разъ прибавляетъ: „намъ такіе люди, какъ вы нужны, нужны“. Какое счастье еще русской землѣ, что большая часть противниковъ Городулиныхъ, точно такъ же не представляетъ изъ себя большой силы, и если между ними и Крутицкими есть разница, то все-таки не очень значительная.

Крутицкій, въ послѣдней комедіи Островскаго, представляетъ собою консервативный элементъ, это видоизмѣненный временемъ Вишневскій, и измѣненіе это, нужно сказать, не въ пользу Крутицкаго. Мы уже сказали разъ, что въ лагерѣ физической силы, такъ какъ онъ представлялся въ общественныхъ отношеніяхъ Юсовыми, Бѣлогубовыми, произошелъ сильный переполохъ, произведенный всевозможными реформами. Много ли, мало ли имъ сдѣлано, это до насъ не касается, мы знаемъ только, что сколько бы ни было сдѣлано, оно все-таки служить въ ущербъ тѣмъ, которые не желали признавать никакихъ болѣе справедливыхъ общественныхъ отношеній, чѣмъ тѣ, которыя такъ долго существовали, и всѣми силами ухватывались и продолжаютъ ухватываться за старый строй общественной жизни. Растерявшіеся Крутицкіе долгое время не знали, что дѣлать, слѣпо настаивали на своемъ, не хотѣли идти ни на какіе компромиссы, и какъ старые попугаи твердили одно слово: назадъ, назадъ,—и всѣми силами тянули къ реакціи, пользуясь всякимъ попавшимся случаемъ. Наконецъ, они поняли, что для того, чтобы бороться успешно, нужно бороться одинаковыми орудіями, и вотъ Крутицкіе стали говорить: „Мы сами во всемъ виноваты: не умѣемъ говорить, не умѣемъ заявлять своихъ мнѣній. Кто пишетъ? Кто кричитъ? Мальчишки. А мы молчимъ да жалуемся, что насъ не

слушаютъ. Писать надо, писать — больше писать“; съ этой минуты стали они имѣть свои газеты, журналы, свои органы, стали писать „проектъ“ за проектомъ, трактатъ за трактатомъ, записку за запиской, и ихъ проекты, трактаты и записки скоро пріобрѣли себѣ и вѣсъ и значеніе. Безъ сомнѣнія, записки дѣйствительныхъ Крутицкихъ, Крутицкихъ въ жизни, должны быть умнѣе, чѣмъ проектъ того Крутицкаго, котораго выставилъ Островскій. И мы очень склонны заступиться за истинныхъ Крутицкихъ и сдѣлать упрекъ Островскому, что выставленный имъ типъ не совсѣмъ подходитъ къ типу современнаго консерватора. Можетъ быть, и есть мудрецы, которые, какъ Крутицкій, всѣ бѣды приписываютъ тому, „что на театрѣ трагедій не даютъ. Возобновить бы Озерова, вотъ молодёжь бы и набиралась этихъ деликатныхъ, тонкихъ чувствъ. Да чаще давать трагедіи, прибавляетъ Крутицкій, черезъ день. Ну и Сумарокова тоже. У меня проектъ написанъ объ улучшеніи нравственности въ молодомъ поколѣніи“. Можетъ быть, что и существуютъ почтенные старцы, которые пишутъ, какъ Крутицкій „Проектъ о вредѣ реформъ вообще“, но намъ кажется, что гораздо болѣе современны другого рода мудрецы, которые не пишутъ ни проектовъ „Объ улучшеніи нравственности въ молодомъ поколѣніи“, ни проектовъ „О вредѣ реформъ вообще“, а которые представляютъ особаго рода записки съ своими соображеніями о нѣкоторыхъ измѣненіяхъ въ реформахъ въ виду ихъ „лучшаго и болѣе полезнаго примѣненія“. Типъ Крутицкаго вышелъ не совсѣмъ удаченъ потому, что Островскій сдѣлалъ его уже слишкомъ недалъновиднымъ, т. е. слишкомъ откровеннымъ въ своихъ желаніяхъ и стремленіяхъ. Крутицкихъ много, очень много въ жизни, можетъ быть, больше, чѣмъ Городулиныхъ, но большая часть ихъ хитрѣе и сильнѣе, чѣмъ они выведены у Островскаго. Время, извѣстныя вѣянія подѣйствовали не только на ихъ ослабленіе, но и на ихъ *manière d'être*, и довольно давно уже они поставили въ свой кабинетъ не только одинъ простой стулъ, но даже мягкое кресло.

Какъ интересенъ разговоръ Городулина съ Глумовымъ, такъ точно интересна и сцена между Крутицкимъ и тѣмъ же современнымъ мудрецомъ, послѣ которой онъ сдѣлался бы еще болѣе ясенъ, если бы и безъ того уже онъ намъ не былъ освѣщенъ полнымъ свѣтомъ. Какъ съ Городулинымъ онъ былъ до-нельзя либераленъ и больше нежели свободенъ въ обращеніи съ этимъ высшимъ сановникомъ; какъ по отношенію къ Городулину онъ походилъ на какого-то Хлестакова, такъ по отношенію къ Крутицкому онъ какъ нельзя болѣе подобострастенъ и раболѣпенъ, и живо напоминаетъ собою Молчалина. Какъ тамъ онъ закидывалъ либеральными фразами, такъ здѣсь онъ восхищается нѣкоторыми словами въ прожектѣ Крутицкаго. „О вредѣ реформъ вообще“, слова, которыя онъ оставилъ нетронутыми въ передѣланномъ имъ трактатѣ сановника-старца. „Слабъ современный языкъ, говоритъ онъ, для выраженія всей грандіозности вашихъ мыслей“. Если Городулинъ относится къ Крутицкимъ какъ „къ старымъ“, которыхъ нужно „осмѣять“, такъ мы видимъ и отношеніе Крутицкаго къ Городулинымъ изъ нѣсколькихъ сказанныхъ имъ фразъ.—Ты служишь, спрашиваетъ онъ Глумова.—Поступаю, отвѣчаетъ мудрецъ комедіи и жизни. По протекціи тетушки, Иванъ Ивановичъ Городулинъ обѣщаль достать мѣсто.—Вотъ нашли человѣка, возражаетъ Крутицкій. Опредѣлитъ онъ тебя. Ты ищи прочнаго мѣста; а эти всѣ городулинскія-то мѣста скоро опять закроются, вотъ увидишь. Онъ у насъ считается человѣкомъ опаснымъ. Ты это замѣть.—Я не по новымъ учрежденіямъ.—Да, да. А ужъ я думалъ“... Но что самое характеристичное въ этомъ разговорѣ, такъ это та самая фраза, которую Городулинъ говорилъ Глумову, и которую въ эту минуту онъ выслушиваетъ отъ Крутицкаго. „Ты, вѣдь, будешь изъ нашихъ? Намъ теперь поддержка нужна, а то молокососы одолевать начали“. Намъ люди нужны—вотъ припѣвъ, который повторяется Городулиными, Крутицкими на всѣ лады и всѣ тоны. Въ самомъ дѣлѣ, лагерь „старыхъ“, чтобы употребить выраженіе Городулина, покачивается, если всѣ они ищутъ

поддержки; хорошихъ, честныхъ они не хотятъ, какъ же не явиться Глумовымъ. Они и явились и, благодаря Островскому, внесены въ литературу новымъ созданнымъ имъ типомъ.

Объ остальныхъ лицахъ послѣдней комедіи Островскаго мы не станемъ говорить. Да и что говорить о нихъ, чего бы не было уже сказано. Это та полудикая, необразованная масса, неповинная въ своемъ невѣжествѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ поддерживающая безсознательно тотъ строй русской жизни, который обреченъ европейскою цивилизаціею на окончательное разрушеніе. Является тутъ гусарь, про котораго только и можно сказать, что онъ гусарь; является Манефа, новый пророкъ, въ родѣ Ивана Яковлевича, которая будетъ существовать и будетъ надувать, пока будутъ люди, которые станутъ ей вѣрить и платить еще деньги; является Турусина, окруженная приживалками, гадальщицами, Манефами; она живетъ, она не вымыселъ, а правда; если бы мы даже ихъ сами не видали сплошь и рядомъ, мы бы могли повѣрить авторитету Островскаго, который рисуетъ ихъ съ такимъ удивительнымъ мастерствомъ. Введено тутъ еще одно лицо, введено мимоходомъ, но и въ немъ нельзя не узнать вновь нарожденнаго типа. Это Голутвиновъ, продажный писака, не знающій никакихъ правилъ, не имѣющій никакихъ понятій о честности. Это живой, ходячій пасквиль, безъ стыда бросающій комками грязи въ чужую честь, но не марающій ее, потому что Голутвиновы не могутъ никого замарать, никого опозорить, такъ грязны, такъ замараны, такъ опозорены они сами. Смотря на всю эту толпу, выведенную сильною рукою Островскаго на сцену, невольно спрашиваешь себя, кому же изъ нихъ больше простора въ жизни, кто свободнѣе дышитъ: Жадовы или Глумовы? — „Глумовы, Глумовы“! отвѣтятъ всѣ непредубѣжденные люди. Мы вовсе не пессимисты во взглядахъ на русскую жизнь, мы не согласны утверждать, что въ ней нѣтъ никого, кромѣ Глумовыхъ, Крутицкихъ да Городулиныхъ; нѣтъ, есть тутъ и честный людъ, но онъ такъ еще малъ, такъ ничтоженъ

сравнительно съ страшною невѣжественною массою, что комедіи Островскаго, его старые и новые мудрецы будутъ долго еще бродить между нами и служить живыми образчиками современнаго общества.

Евѣній Утинъ.

„Горячее сердце“. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

*) Комедія эта опять рисуесть намъ тотъ бытъ, ту жизнь и ту среду, въ изображеніи которыхъ г. Островскій былъ и остается лучшимъ мастеромъ и единственнымъ художникомъ-драматургомъ; это вторая уже его піеса (послѣ комедіи „На всякаго мудреца довольно простоты“), въ которой онъ возвращается къ прежней своей дѣятельности, послѣ многихъ историческихъ драмъ и хроникъ изъ древней нашей жизни. Въ *Горячемъ сердцѣ* вновь фигурируютъ тѣ же лица купеческой и мѣщанской среды, которыя были въ прежнихъ комедіяхъ г. Островскаго, тѣ же семейныя и имущественныя между ними отношенія, та же покорность и безотвѣтность однихъ и своеволие, самодурство и безобразіе другихъ. И несмотря на то, что эта жизнь такъ полно и многосторонне исчерпана въ прежнихъ произведеніяхъ Островскаго, въ *Горячемъ сердцѣ* она выводится передъ нами очерченною въ такихъ новыхъ, не менѣе интересныхъ ея проявленіяхъ, исполнена такихъ существенныхъ подробностей, что нельзя не признать и не удивляться тому, какъ могутъ быть обильны и разнообразны матеріалы творчества у такого талантливаго писателя, каковъ г. Островскій.

Дѣйствіе комедіи происходитъ лѣтъ 30 тому назадъ въ одномъ изъ уѣздныхъ городовъ патріархальной провинціи. Передъ нами два представителя общества этого городка. Одинъ изъ нихъ — именитый купецъ Павлинъ Павлинычъ Курослѣповъ, который, награвивъ денегъ, слѣдовательно достигши цѣли своихъ стремленій, проводитъ жизнь свою

*) „Сѣверная Пчела“ 1869 г., № 5.

въ обжорствѣ и снѣ; „день спитъ, ночь спитъ, — выражается о немъ одно изъ дѣйствующихъ лицъ комедіи—заспался совсѣмъ; ужъ никакого понятія нѣтъ въ немъ ни къ чему; подъ носомъ у себя не видитъ. Съ просонокъ — что на яву съ нимъ было, что во снѣ видитъ, — все это вмѣстѣ путаетъ, и разговоръ у него такой неестественный“. Такое грубое и животное препровожденіе времени лишило Курослѣпова почти всѣхъ человѣческихъ способностей, сдѣлало его какимъ-то полу-идіотомъ, полу-сумасшедшимъ. Ему все чудится или свѣтопреставленіе или что небо треснуло и падаетъ на землю и вотъ-вотъ сейчасъ его задавить; онъ живетъ въ какомъ-то полусознаніи, въ вѣчномъ удивленіи и боязни своей собственной жизни между людьми, и самъ не знаетъ, „что онъ, вовсе рехнувшись, или еще въ немъ теплится какая искра“. Очень естественно, что онъ, будучи въ постоянномъ страхѣ, ищетъ забвенія и спокойствія въ обществѣ себѣ подобныхъ и во снѣ; естественно также, что его легко обманывать и эксплуатировать дурныя его стороны въ свою пользу другимъ личностямъ. Поэтому Курослѣповъ не видитъ, какъ его (вторая) жена, которой стала невыносима жизнь съ такимъ идіотомъ, избрала себѣ въ любовники приказчика по дому Наркиса, обманываетъ его, крадетъ у него деньги и, для скрытія своихъ грѣховъ, притѣсняетъ свою падчерицу и другихъ безотвѣтныхъ лицъ, живущихъ въ домѣ Курослѣпова, на которыхъ этотъ гнетъ ложится тяжелымъ бременемъ.—Другой представитель общества богатый подрядчикъ Хлыновъ, являющій собою типъ русскаго безобразія, который когда-то называли „русской широкой натурой“, но который въ сущности есть смѣсь невѣжества, грубости права и самодурства. Хлыновъ такъ же, какъ и Курослѣповъ, нагребилъ денегъ и не знаетъ для чего и зачѣмъ они ему и какъ и куда дѣвать ихъ. Но онъ бросился въ другую крайность, сталъ подражать знатнымъ барамъ, съ которыми ему, какъ подрядчику, приходилось быть въ сношеніи, — построилъ себѣ дачу съ фонтанами, бесѣдками, завелъ пѣсельниковъ, *барина съ усами* для вѣж-

ливости и почтенія; началъ съ утра до ночи пить шампанское, поливать имъ дорожки въ саду и творить разныя безобразія и безчинства для своего веселья. Что-бы онъ ни надѣлалъ, какихъ-бы проступковъ противузаконныхъ ни совершилъ, онъ ничего и никого не боится, такъ какъ онъ въ губерніи и къ „самому и къ самой имѣетъ доступъ, и даже — по его словамъ — не разъ пивалъ у нихъ кофей и довольно равнодушно“. — Ему ничего не стоитъ осмѣять и унижить человѣческую личность, нагло надругаться надъ честью своихъ ближнихъ въ угоду своему глупому самолюбію и для того, чтобы показать, какъ онъ силенъ.

Да и какая честь можетъ быть у подобныхъ господъ, какъ Курослѣповы и Хлыновы, когда, по ихъ понятіямъ, честь состоитъ въ капиталѣ; „нажилъ себѣ капиталъ, вотъ тебѣ и честь; чѣмъ больше капитала, тѣмъ больше и чести“.

И среди такихъ-то людей, такой дикой обстановки, полной угнетенія и произвола, въ прежнее время все-таки возможны были личности, которымъ удавалось сохранить силу характера, твердость, энергію, благородство души, и рѣшиться на борьбу съ этою средою за свои человѣческія права и стремиться неудержимо къ самостоятельности и свободѣ. Такимъ лицомъ въ комедіи Островскаго выставлена Параша, дочь Курослѣпова; она есть героиня комедіи, то самое „Горячее сердце“, которымъ названа комедія.

Содержаніе піесы нельзя сказать, чтобы было просто и немногосложно. Мы постараемся рассказать его какъ можно короче, полагая, что читатель, если не увидитъ на сценѣ, то прочтетъ самъ комедію, напечатанную въ 1 № *Отечественныхъ Записокъ*. — Вся интрига комедіи разыгрывается предъ зрителемъ въ 3 дня; дѣйствіе происходитъ лѣтомъ, все время на открытомъ вольномъ воздухѣ: на дворѣ, на площади города, въ саду, въ лѣсу и большею частью вечеромъ или ночью; какъ можно изъ этого видѣть, обстановка и колоритъ поэтическіе и самые удобные для проявленія разныхъ сторонъ любящаго, сильнаго характера идеальной Парашы.

Параша любитъ нѣкоего Васю, сына разорившагося купца, слабаго характеромъ, съ мелкою душою и вообще испорченнаго съ самой молодости жизнію въ богатомъ домѣ своего родителя, безъ воспитанія, безъ хорошихъ примѣровъ; онъ любитъ, можетъ быть, дѣйствительно и самъ Парашу, но его любовь не такого рода, чтобы могла продвинуть его на какой-нибудь рѣшительный шагъ для любимаго имъ предмета, онъ неготовъ страдать и переносить горе и личныя неудобства для этой любви, и потому не соглашается на дѣлаемыя ему Парашей рѣшительныя предложенія. — Энергичная Параша, ищущая поскорѣе выхода изъ своей домашней, нестерпимой для нея жизни, надѣялась найти въ Васѣ себѣ друга - помощника, такого-же сильнаго по характеру, какъ она сама; но ошиблась; Вася не только ничего не выдумываетъ для ея спасенія, но и не понимаетъ и не желаетъ понять ея стремленій къ свободной и самостоятельной жизни. Парашу любитъ приказчикъ Курослѣпова по лавкѣ, Гаврило, тихій, смирный, трудолюбивый, готовый на все для нея; онъ покорно сносить то, что у Парашы не лежитъ къ нему сердце; радуется, глядя на любовь ея къ Васѣ, и только желаетъ счастья ей съ кѣмъ-бы то ни было.

Васю, ночью, въ одинъ изъ разовъ, когда онъ пришелъ повидаться и поговорить съ Парашей на дворѣ Курослѣпова, ловятъ, обвиняютъ въ воровствѣ денегъ, сажаютъ въ тюрьму и грозятъ отдачею его въ солдаты; Гаврилу, какъ бывшаго также съ нимъ во дворѣ, по этой-же причинѣ, Курослѣповъ прогоняетъ вонъ изъ дому, не заплативъ ему даже денегъ за его службу. — Параша, узнавъ о такомъ несчастіи, случившемся съ ея Васей, бросаетъ домъ, бѣжитъ изъ него къ своей крестной матери, потомъ идетъ на богомолье, и рѣшается всюду слѣдовать за своимъ Васей, быть солдаткой, переносить съ нимъ всѣ трудности и лишенія бѣдной жизни. Когда она убѣгаетъ изъ дому, ее провожаетъ истинно любящій и преданный ей Гаврило, котораго судьба стала одинакова съ ея судьбою; здѣсь-то именно и высказывается его глубоко-честная натура; онъ

не покидаетъ Парашу нигдѣ, облегчаетъ ее во всемъ, въ чемъ только можетъ, бережетъ ее больше всего на свѣтѣ.

Хлыновъ, какъ мы сказали, давая полную свободу своимъ прихотямъ, въ это время, по предложенію находящагося у него мѣщанина Аристарха для придумыванія разныхъ увеселеній, наряжается самъ и наряжаетъ *барина съ усами*, пѣсельниковъ въ разбойничьи театральные костюмы, идетъ въ ближайшій лѣсъ ловить проѣзжихъ, пугать ихъ и пьянствовать съ ними. Къ нему сперва попадается Наркисъ, приказчикъ по дѣлу у Курослѣпова, сбившійся съ дороги, который, принимая Хлынова съ его людьми за настоящихъ разбойниковъ, пробалтывается имъ въ пьяномъ видѣ о своихъ отношеніяхъ къ женѣ Курослѣпова, говоритъ имъ, что она состоитъ у него въ полномъ подчиненіи, все для него дѣлаетъ и даже воруетъ у мужа деньги.

Напоивъ Наркиса и отпустивъ его домой, Хлыновъ съ своимъ бариномъ схватываютъ возвращавшихся съ богомолья Парашу съ Гаврилой; здѣсь является ея защитникомъ Аристархъ, ея крестный отецъ. Параша, все еще любящая Васю и видящая въ немъ жертву за нее, удивляется, увидавъ его въ шайкѣ Хлынова запѣвалой съ бубномъ, продавагося въ шуты къ Хлынову на годъ за рекрутскую квитанцію. Параша, готовая было идти за Васей всюду, полагавшая, что онъ страдаетъ изъ-за нея въ тюрьмѣ, вдругъ видитъ его помирившимся, съ такою унизительною ролью, какъ роль шута у Хлынова! тутъ только она окончательно убѣждается, какъ она жестоко ошиблась въ Васѣ.

Аристархъ привозитъ Аннушку въ городъ, домой, и передаетъ городничему Градобоеву о слышанномъ имъ отъ Наркиса. Градобоевъ, довольный тѣмъ, что ему представляется случай поживиться изъ чужого кармана, оцѣпляетъ флигель, въ которомъ живетъ Наркисъ и къ которому пошла переодѣтая въ мужское платье жена Курослѣпова, и показываетъ Курослѣпову, какова его супруга и куда пропадаютъ его деньги. Матрена прогоняется вонъ къ своимъ родителямъ, а Параша, воспользовавшаяся этимъ случаемъ, беретъ въ свои руки правленіе домомъ, отталкиваетъ отъ

себя любимого ею Васю, какъ недостойнаго ея и объявляетъ, что выходить замужъ за Гаврилу, который, она увѣрена, „не уйдетъ отъ нея, хотя-бы и отъ бѣдной, въ плясуны къ Хлынову“. Этимъ рѣшительнымъ поступкомъ Параши, съ котораго начинаются для нея „красные дни иной свободной жизни съ милымъ“ и кончается комедія.

Жизнь, представленная г. Островскимъ въ „Горячемъ сердцѣ“, изображена яркими и рѣзкими красками, что составляетъ неотъемлемое и главное достоинство комедіи. Хотя почти всѣ дѣйствующія лица есть болѣе или менѣе повтореніе выведенныхъ въ прежнихъ комедіяхъ, представляющихъ быть средняго круга, все-таки въ нихъ выставлено много новыхъ оригинальныхъ сторонъ купеческаго быта и вся комедія представляетъ вполнѣ вѣрную картину дѣйствительности. Наболѣе самостоятельные и новые типы въ піесѣ, это — Силанъ, дальній родственникъ Курослѣпова, живущій, несмотря на это родство, у него въ дворникахъ и стерегущій, какъ вѣрный песъ своего господина, Курослѣпова, — и городничій Градобоевъ. Градобоевъ — это типъ нашихъ прежнихъ градоначальниковъ, которые обирали гражданъ, притѣсняли ихъ и были сами отъ нихъ поѣтому въ нѣкоторой зависимости; которые, оставляя всякій законъ въ сторонѣ, на судѣ и расправѣ творимыхъ ими, держась пословицы, гласящей, что „до Бога высоко, а до царя далеко“, — безгранично и самоправно распоряжались личностію и имуществомъ горожанъ на свою пользу: самое отправленіе служебныхъ обязанностей у нихъ являлось не общественнымъ, а какимъ-то своимъ частнымъ, совершенно домашнимъ дѣломъ. Нѣкоторые находятъ, что въ изображеніи этого городничаго г. Островскій впалъ въ грубый шаржъ, и уже слишкомъ утрировалъ сцену, въ которой Градобоевъ производитъ судъ обывателямъ. По нашему мнѣнію, въ этомъ нисколько нѣтъ утрированнаго, а напротивъ: это-то именно *халатное*, если можно такъ выразиться, исполненіе служебныхъ обязанностей и составляетъ вѣрную черту нашей бывшей патріархальной жизни. Мудрено-ли, что 30 лѣтъ назадъ могли быть Градобоевы; нѣтъ! они не только

могли, а дѣйствительно были и сидѣли вездѣ прочно въ своихъ гнѣздахъ, и эта черта самовольства, безправія и беззаконія прежнихъ правителей, выставленная въ комедіи Островскаго, глубоко вѣрна и правдива.

Неудачнѣе и блѣднѣе всѣхъ вышли мѣщанинъ Аристархъ и сама героиня комедіи Параша, которые есть повтореніе Кулигина и Катерины изъ „Грозы“.

Несмотря на значительныя достоинства комедіи, она не имѣла успѣха на нашей сценѣ; причина этому та, что въ комедіи и много недостатковъ. Въ ней много случайностей, сценъ, вставленныхъ въ піесу, видимо, для того только, чтобы довести интригу до конца; интрига не развивается непрерывно изъ хода событій, и автору для развязки понадобились и разбойники, и внѣшняя суета, и переодѣванье. Вслѣдствіе этихъ вставокъ піеса кажется какъ-будто растянutoю, хотя она и соображена въ отношеніи сцены съ тѣмъ-же умѣньемъ, которымъ отличается г. Островскій; патріархальная жизнь, выставленная въ ней, кажется слишкомъ далекою отъ насъ и какъ будто едва-ли возможною. Поэтому 2-ой актъ, 2-я сцена 4-го и послѣдній, въ которыхъ находится эта суетня, разбойники и переодѣванье, вышли значительно слабѣе остальныхъ.

Изъ „Сѣверной Пчелы“ за 1869 г.

*
* *
*

*) Купецъ Курослѣповъ, онъ же городской голова, нажилъ капиталъ, то есть наградилъ его, а вмѣстѣ съ капиталомъ и честь: чѣмъ больше капиталу, тѣмъ больше чести, разсуждаетъ онъ здравомысленно. Въ почетѣ доживая вѣкъ свой, онъ распространяетъ вокругъ себя благодѣяніе самодурства, но самодурства соннаго, апатичнаго, словно усталого въ непрестанной борьбѣ. Онъ спитъ и день и ночь, такъ что дѣйствительность мѣшается у него съ сонными видѣніями; просыпаясь, онъ волочитъ за волосы приказчиковъ, какъ бабы бѣлье полощутъ—по остроумному его

*) „С.-Петербургскія Вѣдомости“ 1869 г., № 33. („Горячее сердце“).

выраженію, бранится и презираетъ все на свѣтѣ презрѣніемъ круглаго невѣжды и дурака. Человѣческихъ чувствъ въ немъ такъ же мало, какъ въ любой скотинѣ его двора, а потому его можно назвать просто скотомъ, едва двигающимся отъ жиру, но твердо увѣреннымъ, что всѣ обязаны ему почтеніемъ и послушаніемъ. Рядомъ съ нимъ городничій Градобоевъ, смотрящій на увѣренный ему городъ, какъ на послушное стадо.

— До Бога высоко, до царя далеко, а я у васъ близко, значить, я вамъ и судья. Какъ же мнѣ васъ судить теперь? Ежели судить васъ по законамъ, такъ законовъ у насъ много... Сидоренко, покажи имъ, сколько у насъ законовъ. (*Сидоренко уходитъ и скоро возвращается съ цѣлой охапкой книгъ*). Вонъ сколько законовъ! Это у меня только, а сколько ихъ еще въ другихъ мѣстахъ! Сидоренко, уברי опять на мѣсто. И законы все строгіе; въ одной книгѣ строгі, а въ другой еще строже, а въ послѣдней уже самыя строгіе.

— Вѣрно, ваше высокоблагородіе, такъ точно, горланить стадо гражданъ.

— Такъ вотъ, друзья любезные, какъ хотите: судить ли мнѣ васъ по законамъ или по душѣ, какъ мнѣ Богъ на сердце положилъ.

— Суди по душѣ, будь отецъ.

И судить онъ по душѣ, которую считаетъ выше законовъ: того въ арестантскую, того къ себѣ на огородъ, того въ солдаты за общество: въ послѣднемъ случаѣ помогаетъ ему городской голова. Согласіе властей удивительное: они вмѣстѣ пьютъ, другъ друга ругаютъ въ глаза, другъ друга обманываютъ, и однакожь согласіе царствуетъ между ними, конечно, во имя того мудраго принципа, которому они служатъ. Новѣйшая формула о противопоставленіи земскаго элемента и элемента административнаго не была извѣстна въ тѣ блаженные времена; и администраторъ и представитель земства живутъ согласно и знаютъ другъ друга цѣну. Когда земскій человѣкъ спрашиваетъ администратора:

— Скажи мнѣ по душѣ, вовсе я рехнулся или нѣтъ?

— Нѣтъ, не вовсе, еще погуляй. Когда совсѣмъ рехнешься—я тебѣ скажу, отвѣчаетъ администраторъ!

— Ну, ладно. Обноси гостей, дочка!

Администратору еще не кажется, что небо валится, что небо раскололось, какъ это кажется земскому человѣку: онъ еще настолько въ умѣ, что считаетъ выгоднымъ для себя имѣть совсѣмъ безумнаго соправителя, отъ котораго уже никакого соперничества ждать невозможно. Говорятъ, что это карикатура? Положимъ, что карикатура; но развѣ карикатура не есть доведеніе какого-нибудь принципа или его воплощеніе до первобытной, простѣйшей, грубой его формы? Такая карикатура существовала въ самой жизни во всей своей цѣлости и неприкосновенности; но мы добродушны, забывчивы и немножко избалованы настоящимъ. „Ну какая польза отъ вашей образованности, коли вы не умѣете стоять передъ начальствомъ?“ сказалъ во времена Курослѣповыхъ одинъ полковникъ офицеру изъ студентовъ. „Мнѣ нужны не умники, а исполнители“, сказалъ въ то же время одинъ администраторъ, постъ котораго былъ повыше городническаго. А зачеркиванье въ поваренныхъ книгахъ „вольнаго духа“ и въ медицинскихъ „цесарскаго сѣченія“,—развѣ все это не карикатура, находившая, однакоже, мѣсто въ жизни? Обо всемъ этомъ намъ теперь странно вспомнить, потому что мы дѣйствительно выросли, и хотѣли бы забыть нѣкоторые факты изъ прошлаго.

Послѣ „Горячаго сердца“ остается впечатлѣніе определенное: диковинные городничій и голова—оба безголовые, но оба съ палкой, къ которой граждане чувствуютъ неліцемерное почтеніе; головиха въ связи съ приказчикомъ мужа и воруетъ деньги у сего послѣдняго, чтобъ ублаготворить возлюбленнаго; это воплощеніе неразборчиваго разврата душевнаго и тѣлеснаго. Хлыновъ, богатый подрядчикъ, наворовавъ отъ казны столько, что поливаетъ дорожки въ своемъ саду шампанскимъ и отъ всякихъ безобразій отдѣлывается деньгами. Его орда, съ хозяиномъ во главѣ, надѣваетъ костюмы разбойниковъ, и идетъ въ лѣсъ пугать

прохожихъ; люди, не лишены ума и дарованій, потворствуютъ глупостямъ богатыхъ и сильныхъ, потому что другого исхода не было, а иногда, при случаѣ, останавливаютъ ихъ, мягкими же средствами, отъ глупостей слишкомъ вредныхъ. Сила соломѣ ломить — хорошо и то, если она хоть на минуту отдыхъ соломѣ дать — вотъ мудрое правило, которымъ они руководствуются: въ концѣ концовъ, однако, они должны сказать про себя, какъ Гаврило: „у меня счѣнь много чувствъ отшибено, какія человѣку слѣдуетъ. Я ни ходить прямо ни въ глаза людямъ смотрѣть — ничего не могу“. Все это даетъ намъ одинъ изъ тѣхъ веселенькихъ пейзажиковъ всеобщаго самодурства, семейнаго, за которымъ скрывается и горькій плачъ, и подавленные стоны, и отчаяніе, и въ результатѣ — отсутствіе или пришибенность многихъ чувствъ, какія человѣку слѣдуетъ. Для порядка слѣдовало имѣть только тѣ чувства, которыя гармонировали съ непрекословнымъ послушаніемъ всякому, кто былъ сильнѣе васъ.

Но если комедія г. Островскаго воспроизводитъ передъ нами исчезнувшій или исчезающій міръ, воспроизводитъ съ талантомъ, то почему же она имѣла успѣхъ незначительный, почему относятся къ ней многіе, какъ къ произведенію слабому, слабѣйшему даже, чѣмъ водевиль „На всякаго мудреца довольно простоты?“ Причина этому лежитъ, во-первыхъ, въ отсутствіи внѣшней, технической отдѣлки, въ плохомъ веденіи интриги, въ эпизодичности многихъ сценъ и, какъ слѣдствіе этого, растянутости комедіи, и, во-вторыхъ, въ обидной несовременности сюжета, который многимъ кажется карикатурою, потому что эти многіе многого не поняли, а не поняли потому, что г. Островскій воспроизводилъ знакомый ему міръ съ помощію одного только художественнаго инстинкта. Г. Островскій наскоро набрасывалъ сцены одна за другой, причемъ нѣкоторыя вышли безподобны, нѣкоторыя — либо лишни, либо такъ мало развиты, что, кажется, будто драматургъ съ умысломъ не пользовался очень благодарными положеніями, замалевывая ихъ различными пустяками. Комизмъ языка скрадываетъ эти недо-

статки въ чтеніи, но на сценѣ они бросаются въ глаза самому обыкновенному зрителю. Оттого „Горячее сердце“ гораздо лучше въ чтеніи, а водевиль „На всякаго мудреца и проч.“ гораздо лучше на сценѣ, гдѣ онъ смотрится съ нѣкоторымъ удовольствіемъ, благодаря довольно ловкой технической постройкѣ. Кромѣ того, „На всякаго мудреца и проч.“ подкупало современностью сюжета, хотя и мнимой, что публика примѣтила гораздо скорѣе нѣкоторыхъ рецензентовъ и перестала посѣщать представленія. Я смѣю думать, что при слѣдующихъ представленіяхъ „Горячаго сердца“ публика раскуситъ ее больше, и пьеса займетъ принадлежащее ей мѣсто, особенно если бъ г. Островскій согласился немножко погладить ее для сцены. Судомъ публики никогда не слѣдуетъ пренебрегать, и еслибъ г. Островскій былъ въ театрѣ, онъ замѣтилъ бы все то,—что удобно въ чтеніи и неудобно и скучновато на сценѣ. Пьесѣ необходимо дать больше соразмѣрности въ частяхъ, отчего она выиграетъ въ движеніи и рельефности нѣкоторыхъ безподобныхъ сценъ, напоминающихъ лучшую пору дѣятельности г. Островскаго, и выпуклости характеровъ, не совсѣмъ додѣланныхъ.

Лучшій, самый симпатичный характеръ въ пьесѣ—Параша; это именно „горячее сердце“, дѣвушка съ порывчатымъ, но притомъ довольно постояннымъ характеромъ, съ жаждою любви и воли, даже, если хотите, съ сѣменами самодурства, привитыми окружающей средой. Это не мечтательная Катерина, не „свѣтлый лучъ въ темномъ царствѣ“, то есть явленіе не исключительное, а встрѣчающееся довольно часто въ русской жизни. Она отлично понимаетъ свое положеніе въ семьѣ, и къ окружающему относится съ совершенною опредѣленностью: съ развратной мачихой грызется зубъ за зубъ, не уступая ей ни шагу; сонному, но дурливому отцу не показываетъ ни любви ни грубаго противодѣйствія потому, во-первыхъ, что отецъ родной—все-таки отецъ, каковъ бы онъ тамъ ни былъ, во-вторыхъ, и потому, что онъ можетъ ей пригодиться. Въ сущности она ставитъ его не высоко, да и не можетъ ставить, потому что видитъ, какъ жена его обманываетъ, какъ онъ

пьянствуетъ, какъ несправедливъ и тупъ. Въ неважныхъ вещахъ она готова ему подчиниться, но въ минуты страстнаго порыва, когда дѣло идетъ о цѣлой жизни, она ни за что не пожертвуетъ собой, и рѣшительно пойдетъ туда, куда зоветъ ее преобладающее чувство. Она сама, конечно, можетъ сдѣлать ошибку и потомъ раскаиваться; но такія натуры упорны довольно продолжительно, и мысль о сдѣлкѣ приходитъ имъ тогда, когда сдѣлка уже невозможна; подъ вліяніемъ порыва, они готовы на все: и на великую жертву и на великое преступленіе. Узнавъ, что отецъ хочетъ провести ее за побѣгъ изъ дому по городу на веревочкѣ, и потомъ запереть въ чуланъ, она грозитъ поджечь родительскій домъ и отдать его на грабежъ мнимымъ разбойникамъ. И она сдѣлала бы это, если бъ было произведено надъ ней насиліе подобнаго рода. Полюбивъ бѣднаго купеческаго сынка и готовая для него на всѣ жертвы, Параша вдругъ узнаетъ, что онъ оказывается такою тряпкой, что поступаетъ шуткомъ къ богатому дураку. Она бросаетъ его и выходитъ за другого. Нѣкоторые находили это неестественнымъ въ простой дѣвушкѣ; но кто знаетъ русскую жизнь хоть немножко, тотъ увидитъ здѣсь явленіе довольно обыкновенное. Мужчины - тряпки вообще противны женщинамъ, и онѣ скорѣй простятъ злодѣйство, чѣмъ трусливую подлость.

Вообще характеръ Парашы представлялъ превосходную тему для драматическихъ положеній: г. Островскій, къ сожалѣнію, развилъ его не вполне, и даже напустилъ въ подобный характеръ нѣкоторую долю совершенно чуждой ему сентиментальности, что, впрочемъ, въ игрѣ г-жи Струйской, противъ всякаго ожиданія, сгладилось.

Изъ „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ за 1869 г.

*
* *

*) Въ бенефисъ г-жи Линской, 29 января, дана была новая пятиактная комедія г. Островскаго „Горячее сердце“. До этого она шла въ Москвѣ, и ни тамъ ни у насъ ника-

*) „Всемирная Иллюстрація“ 1869 г. № 7. („Горячее сердце“). Статья Лувина.

кого успѣха не имѣла; даже болѣе, имѣла положительный неуспѣхъ, что чуть ли не впервые случается съ г. Островскимъ. Комедія эта напечатана, и потому распространяться о ея содержаніи нечего, тѣмъ болѣе, что и рассказать ее сколько-нибудь осмысленно крайне трудно. Въ комедіи этой собраны разныя безобразія, дикости и „правонарушенія“ (грѣхъ противъ седьмой заповѣди, воровство и пр.), совершаемыя какими-то одичавшими, оглупѣвшими, оскотинившимися людьми, — долженствующими изображать собой русскихъ купцовъ, мѣщанъ и уѣздныхъ властей, лѣтъ за тридцать тому назадъ. Къ этой крайне грубой и плоской карикатурѣ на русскую жизнь пришить бѣлыми нитками главный *сюжетъ* комедіи, для того чтобы сдѣлать въ ней нужную для комедіи интригу, — нѣкто Параша, столь-же похожая на живое лицо, какъ пряничная фигура — на человека, но выдаваемая авторомъ за „горячее сердце“, за дѣвушку съ чистой душой и рѣшительнымъ нравомъ. Но эта пародія на высокій характеръ является только аксессуаромъ въ драматическихъ картинахъ російскихъ мерзостей, для того чтобы обратить ихъ изъ просто-картинъ въ комедію. Главный-то смыслъ комедіи, для чего она вся задумана, надо искать въ этихъ мерзостяхъ. Вотъ благодарная работа для критиковъ съ гражданскими мотивами. Пала эта комедія вполне; общество и критика отнеслись къ ней не только холодно, но съ какой-то досадой и злымъ неодобреніемъ. А между тѣмъ нѣкоторые прогрессивные Бобчинскіе и Добчинскіе очень радѣли объ ея успѣхѣ, столь по-сердцу и по-уму пришлась она имъ! Они провозглашали, что сіе новое произведеніе г. Островскаго, великаго знатока темныхъ сторонъ русской жизни, должно затмить собою дѣйствительно великое произведеніе поэта тѣхъ же сторонъ, именно „Ревизора“ Гоголя. Но увы! сей ревизоръ высокопросвѣщенныхъ Бобчинскихъ и Добчинскихъ, хотя и ломался по-хлестаковски, но никого ни на минуту не надулъ собою. Вотъ какъ рѣшительно и далеко разошлись между собою общество и извѣстная фракція нашихъ политически-литературныхъ партій. Въ чемъ послѣдняя усмо-

трѣла лучшее слово Островскаго, наибольшее выраженіе его таланта, въ томъ общество увидало ослабленіе его таланта (дай Богъ, чтобы только случайное и временное), а отъ самаго произведенія отвернулось почти что съ отвращеніемъ. Общество, повидимому, не понимаетъ, какой смыслъ или какую заслугу могутъ имѣть въ настоящее время такія насмѣшки надъ русской жизнью, намѣренное обезображеніе ея лицъ и типовъ до неузнаваемости въ нихъ образа божія, подборъ однихъ мрачныхъ или грязныхъ сторонъ русскаго быта и отрицательное въ формахъ этого быта отношеніе художника; не понимаетъ общество, какому богу и для чего нужны эти закланія правды дѣйствительной и правды художественной, на какой алтарь кладутся кровныя жертвы. Не безъ улыбки (хотя, можетъ, и сожалѣнія) прочтетъ оно умственные сатурналіи и судороги фантазіи господина Н. Щедрина, не прочтетъ, вѣроятно, вовсе похощеній какихъ-то „безпечальныхъ“ канибаловъ г. Левитова, но недоумѣваетъ и обижается, видя и г. Островскаго, шествующимъ по одному съ ними пути и на ономъ преуспѣвающего, Островскаго—творца русскаго народнаго театра, родоначальника народной драмы!..

Лунинъ.

*
* *

*) Оцѣнить по достоинству комедію г. Островскаго мы предоставляемъ записнымъ театральнымъ рецензентамъ; какъ люди не компетентные по этой части, мы только осмѣливаемся думать, что это новое произведеніе знаменитаго нашего драматурга едва-ли выдержитъ и самую снисходительную критику. По нашему мнѣнію, г. Островскій въ послѣднее время перещеголялъ даже г. Дьяченко: онъ просто печетъ пьесы, какъ блины; и что-же? вообразите: это „Горячее сердце“, только что со сковородки, шлепнулось... (вопреки русской поговоркѣ) какъ *последній* блинъ комомъ!.. Не только партеръ, но даже раекъ отнесся къ

*) „Петербургская газета“ 1869 г., № 17. („Горячее сердце“). Статья Z. Z.

этому „Горячему сердцу“ съ убійственной холодностью... ни одинъ изъ зрителей даже не подумалъ *вызвать* автора! — а ужъ, кажется, кто можетъ быть снисходительнѣе и неразборчивѣе зрителей Александринскаго театра?... Кого и за что тамъ не вызываютъ?... Нѣтъ, видно всему есть мѣра! И такъ это безобразіе, представленное намъ въ драматической формѣ, мы (какъ сказали выше) разбирать не станемъ, а начнемъ и кончимъ однимъ только заглавіемъ...

Въ самомъ дѣлѣ, мы долго ломали-ломали голову, и рѣшительно не можемъ понять: кому изъ дѣйствующихъ лицъ принадлежитъ это *горячее сердце*? Сначала намъ показалось, что *горячее сердце* у Матрены Харитоновны, которая, несмотря на свои почтенныя лѣта, находится въ самыхъ страстныхъ отношеніяхъ со своимъ кучеромъ, произведеннымъ, за его любовь къ ней, въ приказчики; она сгораетъ такой *пламенной* къ нему любовью, что даже воруетъ у мужа для него двѣ тысячи рублей изъ-подъ подушки! Потомъ, мы вошли въ сомнѣніе: ужъ не мужъ-ли ея Павлинъ Павлинычъ Курослѣповъ это *горячее сердце*? И точно, этотъ горькій пьяница столько пьетъ, въ продолженіе пьесы, горячительныхъ напитковъ, что, наконецъ, допивается до *горячки*, или, какъ говорится, до чертиковъ... Но нѣтъ! у него не можетъ быть *горячаго сердца*, потому что въ концѣ пьесы, когда жена его выходитъ ночью, при всѣхъ, изъ избы своего любовника (бывшаго кучера), онъ и не думаетъ *горячиться*, не принимаетъ этого къ *сердцу*, а хладнокровно велитъ ей только на-завтра убираться изъ дому... При появленіи на сцену Параши, дочери Курослѣпова отъ перваго брака, мы подумали: вѣрно, у нея *горячее сердце*! Ей не спится по ночамъ отъ любви, точно такъ же, какъ ея почтенному родителю отъ водки. Съ перваго ея выхода, мы видимъ, что она влюблена, какъ кошка, въ купеческаго сына Васю Шустрова, и тутъ же, ночью, въ саду, сойдясь съ нимъ, начинаетъ нести такую горячку, что мы окончательно рѣшились налѣпить ей на грудь это *горячее сердце*; но московскій рецензентъ, разбирая въ „Голосѣ“ эту комедію, сбиваетъ насъ съ толку: онъ положи-

тельно утверждаетъ, что *горячее сердце* у Гаврилы, приказчика Курослѣпова. Посмотрѣли мы на этого Гаврилу и нашли, что онъ—такая холодная телятина, что, при всемъ нашемъ снисхожденіи къ московскому рецензенту, мы никакъ не можемъ согласиться съ его мнѣніемъ, и полагаемъ, что онъ это какъ-нибудь, *сгоряча*, перепуталъ, и у него вышло *сердце* не на мѣстѣ. Помилуйте, какое-же это *горячее сердце*? Гаврила влюбленъ по уши въ Парашу; по ночамъ сидитъ съ гитарой подъ ея окошкомъ, видитъ, какъ на свиданье съ его возлюбленной лѣзъ черезъ заборъ его соперникъ—Вася Шустрый, и онъ съ нимъ очень хладнокровно начинаетъ разговаривать, и проситъ его проѣтъ тотъ романсъ, за который полюбила его Параша; и когда эта Параша приходитъ къ нимъ ночью въ садъ, Гаврила очень наивно признается ей, чуть-ли не въ десятый разъ, въ любви своей; но Параша безъ церемоніи отвѣчаетъ ему, чтобъ онъ забылъ о ней думать... „Поди-ка, говоритъ, лучше покарауль у забора, пока я буду миловаться съ Васей...“ И эта холодная телятина (виноваты: *горячее сердце*) идетъ непрекословно къ воротамъ и очень мило прибавляетъ ей: „видишь, Параша, какъ я тебя люблю! цѣлуйся на здоровье съ моимъ соперникомъ, а я буду тамъ облизываться!“ Мы увѣрены, что этотъ сговорчивый Гаврюша готовъ бы былъ держать свѣчку, если бъ она имъ понадобилась; но, разумѣется, влюбленные счастливыцы въ ней не нуждались... Мы только полагаемъ, что такого наивнаго соперника, какъ Гаврюша, въ наше время и со свѣчкой не отыщешь!

У кого же, наконецъ, это *горячее сердце*? къ какому Эдипу намъ обратиться для разъясненія этой загадки? Объ остальныхъ персонажахъ мы уже не говоримъ, потому что у нихъ не только *горячаго*, даже вовсе никакого сердца не замѣтно... Это все какіе-то пьяные безобразники... Остается одно средство: припечатать въ Полицейской Газетѣ:—что „29-го января, въ бенефисъ г-жи Линской, на Александринскомъ театрѣ, пропало „*Горячее сердце*“; кто найдетъ его, или укажетъ, кому оно принадлежало—тотъ получитъ приличное награжденіе...“

Но шутки въ сторону:

Все это—было бы смѣшно,
Когда бы не было такъ грустно!

сказалъ Лермонтовъ, а мы, съ своей стороны, скажемъ: отчего же это, съ нынѣшняго новаго года, и въ Москвѣ и въ Петербургѣ закрыто, говорятъ, до двухсотъ заведеній, съ извѣстной вывѣской: „распивочно и навывносъ“, а на нашихъ російскихъ театрахъ все больше и больше прибавляется пьесъ съ *распивочными* сюжетами?! Что же это за заведеніе такое! Право, пора бы ихъ *навывносъ*!

Изъ „Петербургской Газеты“ за 1869 г. Статья Z. Z.

*
* *

Поговоривъ вообще о русской сценѣ, Евг. Утинъ переходитъ къ пьесѣ Островскаго „Горячее сердце“.

*) „Въ „Горячемъ сердцѣ“, говоритъ онъ, г. Островскій снова вернулся въ міръ самодуровъ, послужившій ему такимъ богатымъ матеріаломъ для прежнихъ его произведеній; ему посвященъ почти весь театръ Островскаго, за исключеніемъ двухъ или трехъ пьесъ. Самодуры въ низшемъ слоѣ общества, въ классѣ мѣщанъ или кунцовъ, снова явились передъ нами, тогда, когда мы думали, что, благодаря самому г. Островскому, этотъ міръ исчерпанъ до конца, и что, подъ опасностью повторенія, къ нему едва-ли возможно обращаться. Почва обѣднѣла, мы полагали, вслѣдствіе долгой и безостановочной эксплуатаціи, и едва ли мы ошиблись въ нашемъ предположеніи. Какими бы достоинствами ни отличалось произведеніе, написанное на старую, хорошо знакомую намъ тему, оно всегда будетъ терять половину своей силы, если въ каждомъ выведенномъ типѣ мы встрѣчаемъ типъ, много разъ повторенный уже прежде тѣмъ же самымъ авторомъ. Такъ случилось и съ „Горячимъ сердцемъ“. Читая или слушая на сценѣ новое произведеніе г. Островскаго, не-

*) Е. Утинъ. „Вѣстникъ Европы“ 1869 г., № 3. Статья подъ заглавіемъ: Современныя условія Русской сцены. — Новая комедія А. Н. Островскаго: „Горячее Сердце“.

вольно приходитъ на мысль, что слушаешь или читаешь вовсе не новую комедію, что всѣ эти типы, всѣ отношенія ихъ между собою, многія сцены не разъ уже проходили передъ вами, и вы ищете только, въ какой комедіи или драмѣ встрѣчали вы ту или другую фигуру. Быть можетъ, это замѣчаніе приходило и въ голову самому автору въ то время, когда онъ писалъ свою комедію, и, чувствуя, что трудно прибавить къ тому, что было имъ сдѣлано, что-нибудь новое, онъ постарался придать выведеннымъ въ этой комедіи лицамъ большую рѣзкость, которая подчасъ переходитъ въ карикатурность, и тѣмъ вредить „правдѣ“ цѣлаго произведенія. Вотъ общее впечатлѣніе, выносимое изъ новой комедіи, впечатлѣніе, котораго справедливость мы стараемся показать, сдѣлавъ хоть бѣглый разборъ „Горячаго сердца“. Мы желали бы прежде всего рассказать сюжетъ новой комедіи, передать въ нѣсколькихъ словахъ ея содержаніе, ея интригу,—и тутъ встрѣчаемъ значительную трудность, которую едва ли не слѣдуетъ вѣнчить въ вину г. Островскому. Мы не знаемъ, что слѣдуетъ считать главнымъ сюжетомъ комедіи: отношенія ли Параши къ Васѣ, отношенія ли Матрены къ Наркису, кто тутъ занимаетъ главную роль, кто является на второстепенномъ планѣ, все тутъ перемѣшано, перепутано, сцены всѣ скучены, и вы съ трудомъ отыскиваете ту нить, которая связываетъ между собою всѣ выведенныя лица и всѣ намѣченныя сцены. Присутствіе такой нити есть неизбѣжная необходимость въ комедіи или драмѣ, безъ нея можетъ быть рядъ сценъ, изъ которыхъ одна болѣе удачна, чѣмъ другая, но не будетъ цѣльности, безъ которой комедія не комедія, драма не драма. Нить эта должна сплочивать между собою всѣ сцены, всѣ явленія, и тѣ которыя ускользаютъ, не поддаются ей, должны быть считаемы излишними въ драматическомъ произведеніи. Мы не хотимъ этимъ сказать, чтобы этой нити вовсе не было въ новой комедіи г. Островскаго, но она двадцать разъ обрывалась у него во время работы, и онъ, не прилагая особеннаго старанія, какъ попало, связывалъ ее наскоро, вслѣдствіе чего и попадаются болѣе или менѣе неуклюжіе узлы.

У испитаго и заспавшагося купца Курослѣпова есть дочь отъ первой жены, Параша, которую притѣсняетъ мачиха, вторая жена Курослѣпова—Матрена. Послѣдняя обзавелась любовникомъ, который изображенъ запивающимъ и важничающимъ своимъ успѣхомъ Наркисомъ, приказчикомъ Курослѣпова, а первой полюбился купеческій сынъ Вася Шустрый. Матрена воруетъ у мужа деньги, чтобы угодить только алчному Наркису, а Параша выходитъ по вечерамъ на свиданіе съ Васей. Въ одинъ изъ такихъ вечеровъ, когда Вася, потолковавши съ Парашей и услышавъ шаги Курослѣпова, прячется въ кустахъ, на сцену появляется Курослѣповъ, городничій, Матрена, и между прочими дѣлами ведутъ разговоръ о покражѣ двухъ тысячъ рублей изъ-подъ подушки Курослѣпова. Городничій обѣщаетъ отыскать вора и тутъ же предлагаетъ измѣрить шагами, какъ велико пространство отъ дому до забору. Курослѣповъ и городничій начинаютъ шагать и натыкаются на Васю и Гаврилу (служащаго у Курослѣпова и влюбленнаго въ Парашу). Воры найдены. Васю Шустраго немедленно отправляютъ въ арестантскія роты и тутъ же рѣшаютъ отдать его въ солдаты. Параша, узнавъ, что Вася Шустрый, пришедшій къ ней на свиданіе, отправленъ въ арестантскія роты съ тѣмъ, чтобы быть отданнымъ въ солдаты, рѣшается сама бросить родительскій домъ и сдѣлаться солдаткой, выйдя замужъ за Васю. Вася совсѣмъ убитъ горемъ, но, къ его счастью, на выручку является разжившійся изъ крестьянъ самодуръ Хлыновъ, проводящій всю жизнь въ вѣчномъ пьянствѣ и забавляющій себя всякими забавами. Онъ выкупаетъ Васю, поставляетъ, вмѣсто него, наемника и опредѣляетъ его къ себѣ въ новые запѣвалы. Деньги все-таки не разыскиваются, а городничему сильно хочется прибрать ихъ къ своимъ рукамъ. Онъ узнаетъ черезъ Силана, дядю Курослѣпова, служащаго у него въ дворникахъ, что жена Курослѣпова живетъ съ Наркисомъ, и рядомъ съ этимъ ему доносятъ и то, что Наркисъ въ пьяномъ видѣ хвастался тѣмъ, что недавно приказалъ хозяйкѣ принести двѣ тысячи рублей, и что та исполнила приказаніе. Позднимъ вечеромъ, когда Матрена

пошла во флигель къ Наркису, городничій, Курослѣповъ и другіе накрываютъ ее, дѣло выясняется, Матрену отсылаютъ въ родительскій домъ, Наркиса въ арестантскія роты. Въ это время Параша, успѣвшая разлюбить Васю, за то, что онъ пошелъ въ пайцы къ Хлынову, возвращается домой и выходитъ замужъ за Гаврилу, который сумѣлъ доказать свою преданность и любовь.

Вотъ въ сущности остовъ новаго произведенія г. Островскаго, изъ котораго авторъ при большемъ трудѣ могъ извлечь гораздо болѣе, нежели онъ это сдѣлалъ. Если бы всѣ эти основныя положенія комедіи были крѣпко связаны между собою, а не брошены вмѣстѣ какъ попало, часто разрѣшая трудность положенія натянутой сценой сомнительнаго комизма; если бы всѣ выведенныя тутъ лица были начерчены съ обычнымъ мастерствомъ нашего талантливаго драматурга, а не опредѣлены нѣсколькими штрихами, часто неподходящими другъ къ другу, — тогда, несмотря на отсутствіе новизны въ типахъ, „Горячее сердце“ заняло бы несравненно высшее мѣсто въ репертуарѣ Островскаго.

Передавъ, насколько было возможно, общее содержаніе комедіи, остановимся теперь на отдѣльныхъ характерахъ и сценахъ, между которыми мы найдемъ много удачнаго и истинно комичнаго. Фигура самого Курослѣпова, принадлежавшаго и тѣломъ и душою къ породѣ самодуровъ, мѣтко очерчена Островскимъ съ первыхъ словъ, произнесенныхъ „именитымъ купцомъ“: „И съ чего это небо валилось? Такъ вотъ и валится, такъ вотъ и валится. Или мнѣ это во снѣ, что-ль? Вотъ угадай поди, что такое теперь на свѣтѣ, утро или вечеръ?“ Послѣ такого вступленія не трудно уже составить себѣ понятіе о характерѣ Курослѣпова, который до того спился и до того заспался, что не умѣетъ различить утро отъ вечера, и все ему представляются какія-то страсти, то что пятнадцать часовъ бьетъ: „Боже мой! Боже мой! Дожили! Пятнадцать! До чего дожили! Пятнадцать!“ То ему кажется, что небо лопнуло, и все въ этомъ родѣ. Съ самаго перваго монолога, который онъ произноситъ, характеръ его уже опредѣленъ Островскимъ, и далѣе изъ

его разговоровъ мы ничего особеннаго не узнаемъ. Что же касается его отношенія къ остальнымъ лицамъ комедіи, то отношеніе это не иное какъ и всѣхъ остальныхъ самодуровъ, хорошо намъ извѣстныхъ: оттрепать за волосы, разбить балалайку объ голову, не выносить никакихъ противорѣчій, требовать себѣ подчиненія и уважать одну только силу, рядомъ съ полнымъ отрицаніемъ всякихъ правъ за другими, и всякихъ обязанностей за собою—все это общія черты самодурства, набросанныя съ обычнымъ мастерствомъ Островскаго, усѣянныя необыкновенно „смѣшными словами“, смѣшными выраженіями, которыя не могутъ не вызывать общаго смѣха. Обращеніе Курослѣпова съ своими домочадцами и посторонними такое, какое и полагается имѣть самодуру, и если бы только не послѣдняя сцена комедіи, тогда характеръ этотъ нельзя было бы обвинить въ нецѣльности. Въ послѣдней сценѣ Курослѣповъ застаётъ жену въ комнатѣ Наркиса, узнаетъ объ ихъ связи, узнаетъ, что никто иной, а она воровала у него деньги,—и что же дѣлаетъ самодуръ новой комедіи? Мы ждемъ, что онъ, по крайней мѣрѣ, вцѣпится въ нее, начнетъ бить, издѣваться, разсыпать на нее самую сильную брань, и, вмѣсто этого, что же мы находимъ: „Ну, какъ же, Матрена Харитоновна?“ произноситъ онъ совершенно спокойнымъ голосомъ. И на отвѣтъ Матрены, что она не своей волей, а что ее „врагъ попуталъ“, Курослѣповъ ограничивается словами, на которыя едва ли былъ бы способенъ въ такую минуту даже иной образованный человѣкъ: „Вы вчера тутъ проповѣдывали, говоритъ онъ, что у тятеньки вамъ не въ примѣръ лучше, что тамъ оченно по васъ убиваются, такъ ужъ вы теперича къ нему поступайте“; и за этимъ ни одного слова брани, ни одного удара, ни одного упрека. О, если бы всѣ мужья въ ту минуту, когда они узнаютъ объ измѣнѣ жены, могли сдѣлаться самодурами, какое счастливое бы наступило время. Но намъ кажется, и мы увѣрены, что съ нами мало кто станетъ спорить, что подобная черта въ характерѣ самодура Курослѣпова есть чисто фальшивая, неудачно вымышленная г. Островскимъ для того, чтобы испортить

типичную, хотя и нѣсколько карикатурную фигуру Курослѣпова.

Если въ характерѣ Курослѣпова попадаетъ только одна черта, которая невольно рѣжетъ глаза своею фальшью, за то характеръ Параша, очевидно, героини пьесы, состоитъ весь изъ противорѣчащихъ между собою сторонъ. Изъ разбравшихъ до насъ „Горячее сердце“, одни находили въ ней сходство съ Катериной, другіе не признавали между этими двумя типами ничего общаго. Намъ кажется, что и тѣ и другіе правы, или и тѣ и другіе неправы. Между Парашей и Катериной въ одномъ только отношеніи нѣтъ ничего общаго, это въ томъ, что Катерина представляетъ собою, правда идеальный, но вмѣстѣ съ тѣмъ удивительно цѣльный и прекрасно законченный художественный образъ; между тѣмъ, какъ Параша, въ отношеніи цѣльности и законченности, представляетъ нѣчто совершенно противоположное. Въ первомъ дѣйствіи Параша представляется намъ хорошею, простою русскою дѣвушкою, выросшею среди самодуровъ и носящей на себѣ всѣ его слѣды. Она нисколько тутъ не идеализирована, умѣетъ отгрызаться отъ своей мачихи, ей нечего лазить въ карманъ за словомъ, въ ней есть своя воля, есть энергія, есть даже нѣкоторая доза самодурства. Такой типъ, хорошей, простой, не идеализированной дѣвушки, Островскій представилъ намъ въ одномъ изъ лучшихъ своихъ созданій, именно въ типѣ Груши въ комедіи: „Не такъ живи, какъ хочется“, и въ самыхъ удачныхъ мѣстахъ Параша намъ именно напоминаетъ этотъ характеръ. Груша, дѣвушка съ хорошей душою, умѣетъ глубоко чувствовать, безъ словъ она умѣетъ глубоко любить, все въ ней необыкновенно просто, необыкновенно правдиво, вы смотрите на нее и думаете: какая хорошая женщина попадаетъ въ этой грубой средѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ, глядя на нее, ваше сердце не надывается, потому что передъ вами женщина не задавленная, не пришибленная, какъ Катерина, а сжившаяся съ извѣстною средою и сумѣвшая остаться въ ней совершенно свободною, обладающая собственною волею женщина. Вотъ какой типъ

напомнила намъ Параша въ первомъ дѣйстви и въ разговорѣ съ Васей, когда она проситъ его поскорѣй жениться на ней, потому что „терпѣнья моего не хватаетъ“. Есть въ ней тутъ вся отвага, вся энергія; она не подчиняется добровольно, она не любитъ боязливо, она требуетъ, чтобы и ей платили тѣмъ же, чтобы и въ человѣкѣ, котораго она любитъ, была та же отвага и энергія. Когда Вася говоритъ ей, чтобы она потерпѣла, что ему нужно дѣлишки устроить, то да другое, но какъ устроится, такъ и женится, то Параша съ настойчивостью допрашиваетъ его: „Да когда же, когда? День-то скажи! Ужъ я такъ замру до того дня, заморю сердце-то, зажму его, руками ухвачу.... Какой ты человѣкъ, дрянной ты, что ли? Что слово, что дѣло, говоритъ она, у меня все одно. Ты меня водишь, ты меня водишь,—а мнѣ смерть видимая. Мука нестерпимая, часу мнѣ терпѣть больше нельзя, а ты мнѣ: „Когда Богъ дастъ; да въ Москву съѣздить да долги получить! „Или ты мнѣ не вѣришь, или ты дрянъ такая на свѣтъ родился, что глядѣть-то на тебя не стоитъ, не токмо что любить“. Тутъ нельзя не чувствовать большой силы, большой энергіи, выросшей на почвѣ самодурщины.

Если бы характеръ Параша былъ до конца выдержанъ въ этомъ тонѣ, мы были бы рады привѣтствовать ее, какъ родную сестру Груши, но, къ сожалѣнію, мы не встрѣчаемъ здѣсь той послѣдовательности, той законченности, той глубокой правды въ цѣломъ характерѣ, всѣхъ тѣхъ чертъ, которыя дѣлаютъ героиню комедіи „Не такъ живи, какъ хочется“ однимъ изъ лучшихъ и самыхъ симпатичныхъ женскихъ типовъ Островскаго. У Параша точно два лица; однимъ она напоминаетъ Грушу: съ этой стороны, она является хорошей, простой, не исключительной дѣвушкой; другимъ, она невольно вызываетъ въ вашей памяти образъ печальной, идеализированной Катерины, и тутъ вы встрѣчаете въ ней какую-то излишнюю нѣжность, переходящую въ сантиментальничанье, мечтательность, дурно вяжущихся съ типомъ Параша, напоминающимъ Грушу. Вотъ отчего и выходитъ, что Параша поминутно бросаетъ васъ

изъ одного впечатлѣнія въ другое: то она непріятно поражаетъ васъ своею рѣзкостью, которая, вы не можете не чувствовать, идетъ въ разрѣзъ съ мягкимъ образомъ Параша-Катерины, то вы чувствуете диссонансъ, когда она впадаетъ въ сентиментальничанье, не подходящее къ Парашѣ-Грушѣ. Послѣ первой сцены, въ которой мы видимъ Парашу, бранящуюся съ своей мачихой, сцены, въ которой Параша является намъ какъ характеръ, не чуждый самодурства, послѣ сцены съ Васей, въ которой мы видимъ въ ней энергичную, вполне реальную дѣвушку, которая не хочетъ словъ, которая не желаетъ удовлетворяться вздохами любви, которая требуетъ фактовъ, дѣла, которая прямо смотритъ въ глаза жизни, готовая бороться, трудиться, послѣ многихъ другихъ сценъ, какъ прощанье съ домомъ, когда она уѣзжаетъ, сцены съ Васей, когда она упрекаетъ его, что онъ сдѣлался паяцомъ, — мы никакъ не соглашаемся смотрѣть на Парашу, какъ на до-нельзя мягкую, нѣжную, идеализированную натуру. А между тѣмъ, рядомъ со всѣми сценами, о которыхъ мы упомянули, идутъ другія сцены, въ которыхъ Параша является именно такою. Стоитъ припомнить то мѣсто, когда Параша появляется въ началѣ 2-го акта и произноситъ свой небольшой монологъ: „Тихо... Никого... А какъ душа-то ноетъ. Васи нѣтъ, должно быть. Не съ кѣмъ часокъ скоротать, не съ кѣмъ сердечко погрѣть. Сяду я да подумаю, какъ люди на волѣ живутъ, счастливые... и нѣсколько дальше: “ „Вонъ звѣздочка падаетъ. Куда это она? А гдѣ-то моя звѣздочка, что-то съ ней будетъ?“ Вамъ такъ и представляется, что передъ вами сидитъ Катерина. Или, напр., въ третьемъ актѣ, сцена прощанья съ Васей, сцена передъ тюрьмой, гдѣ она между прочимъ говоритъ:... „буду я, Васенька, молиться весь день, весь-то денечекъ, чтобы все, что мы съ тобой задумали, Богъ намъ далъ. Неужели — моя грѣшная молитва не дойдетъ! Куда-жъ мнѣ тогда? Люди обижаютъ и... (плачетъ)“ и далѣе въ этомъ родѣ. Точно также и въ четвертомъ актѣ мы еще разъ встречаемъ Парашу нѣжною, мягкой, совершенно идущею въ

разрѣзъ той Парашѣ, которую мы видѣли въ первомъ дѣйствіи, во 2-мъ, и которую мы встрѣчаемъ опять въ последнемъ. Эта двойственность въ характерѣ Параша, напоминающая въ одно время и Катерину и Грушу, какъ нельзя болѣе вредитъ впечатлѣнію, и дѣлаетъ то, что вы дѣлаетесь равнодушны какъ къ ея горю, къ ея жалобамъ, къ ея страданіямъ, такъ и къ ея силѣ и энергіи. Ни то ни другое болѣе не трогаетъ васъ. Параша, въ которой г. Островскій точно желалъ соединить два лучшихъ созданныхъ имъ типа, цѣлою пронастью отдѣлена, по своему достоинству, отъ того и другого. Противорѣчіе въ характерѣ Параша слишкомъ рѣзко бросается въ глаза; г. Островскій, можетъ быть, и могъ бы, но, очевидно, онъ недостаточно потрудился, чтобы слить въ одно цѣлое разнородныя черты, которыя, съ одной стороны, были подсказаны ему Катериной, съ другой, и еще больше, Грушей. Вотъ отчего мы и считаемъ Парашу далеко не удавшимся типомъ г. Островскаго. Мы не станемъ долго останавливаться на остальныхъ лицахъ новой комедіи; не станемъ указывать, какіе типы мы уже не разъ встрѣчали въ театрѣ Островскаго, и какіе выведены имъ въ первый разъ; не станемъ, по поводу фигуры Матрены Харитоновны, припоминать комедію „На бойкомъ мѣстѣ“, по поводу Гаврилы—„Не въ свои сани не садись“ и т. д., что завлекло бы насъ дальше, чѣмъ мы предположили, и что мы имѣемъ возможность сдѣлать. Не станемъ, впрочемъ, и потому, что во всѣхъ выведенныхъ лицахъ, о которыхъ мы еще не говорили, если нѣтъ особенныхъ недостатковъ, за то нѣтъ и особенныхъ достоинствъ.

Фигурѣ городничаго Градобоева, въ послѣдней комедіи Островскаго, нѣтъ сомнѣнія, слишкомъ мѣшаетъ сосѣдство безсмертнаго городничаго Гоголя. Градобоевъ занимаетъ въ комедіи второстепенное мѣсто, и если онъ набросанъ очень удачными и типичными чертами, то тѣмъ не менѣе онъ только набросанъ. Городничій Градобоевъ можетъ быть отлично охарактеризованъ его же собственными словами, когда онъ говоритъ Курслѣпову: „Вотъ я какой городни-

чій! О туркахъ съ вами разговариваю, водку пью, невѣжество ваше всякое вижу, и мнѣ ничего. Ну не отецъ ли я вамъ, скажи? „И въ самомъ дѣлѣ, Градобоевъ является настоящимъ отцомъ, и главное, отцомъ, который не тужить о своихъ дѣтяхъ. Пьянствуетъ онъ вмѣстѣ съ ними, въ невѣжествѣ не уступаетъ имъ и, вдобавокъ, еще пользуется отъ нихъ невиннымъ доходцемъ. Ну не идеаль ли градоначальника представляетъ изъ себя городничій Градобоевъ? Брать съ своихъ подданныхъ все, что только онъ можетъ брать, ему не токмо законъ, но самъ Богъ повелѣваетъ, а подданнымъ его вмѣняется съ ихъ стороны любить, уважать и повиноваться поставленному свѣше властелину. Градобоевъ, съ такимъ сознаніемъ своего права, не хуже всякаго другого, облагаетъ подданныхъ своихъ налогами и выражаетъ это въ самой безцеремонной формѣ. Онъ наткнулся на Ваську, отыскалъ, по ихъ общему рѣшенію, вора, слѣдовательно, ему слѣдуетъ за это „мерси“. На вопросъ Курослѣпова: „Какая такая мерси?“ тотъ отвѣчаетъ: „Ты не знаешь? Это — покорно благодарю. Понялъ теперь? Что-жъ я даромъ для тебя пропажу-то искалъ“. — „Да, вѣдь, не нашелъ“. — „Еще бы найти. Тогда бы я не такъ съ тобой заговорилъ“. Можно ужъ догадываться и по тону, какъ бы заговорилъ городничій Градобоевъ съ именитымъ купцомъ Курослѣповымъ, если бы ему удалось найти украденныя двѣ тысячи. Вотъ эта часть моя, сказалъ бы онъ, за то, что всѣхъ сильнѣе я, вотъ эта, и т. д., какъ слѣдуетъ по баснѣ. Но нигдѣ такъ хорошо, такъ рельефно не выступаетъ этотъ представитель власти, какъ въ сценѣ, въ которой Градобоевъ править судъ надъ гражданами. Эта сцена можетъ служить надгробнымъ словомъ отслужившему порядку судопроизводства. „До Бога высоко, а до царя далеко. Такъ я говорю?“ спрашиваетъ отецъ города. — „Такъ, Серапіонъ Мордарычъ! Такъ, ваше высокоблагородіе“, отвѣчаютъ голоса. — „А я у васъ близко, — значитъ, я вамъ и судья“. — „Такъ, ваше высокоблагородіе! Вѣрно, Серапіонъ Мордарычъ“. — „Какъ же мнѣ васъ судить теперь? Ежели мнѣ судить васъ по законамъ“ ... —

„Нѣтъ ужъ, за что же, Серапіонъ Мордарычъ“. — „Ты говори, отвѣчаетъ Серапіонъ Мордарычъ, когда тебя спросятъ, а станешь перебивать, такъ я тебя костылемъ. Ежели судить васъ по законамъ, такъ законовъ у насъ много... Сидоренко, покажи имъ сколько у насъ законовъ“... и такъ далѣе, все въ этомъ родѣ, пока Серапіонъ Мордарычъ не соглашается судить ихъ по душѣ, какъ Богъ ему „на сердце положить“. Эта сцена едва ли не самая типичная въ цѣлой комедіи, и въ мѣтко наброшенномъ образѣ городничаго нельзя, въ самомъ дѣлѣ, не видѣть плотной канвы, по которой г. Островскій могъ создать, при большей разработкѣ, отдѣлкѣ и развитіи характера, такой типъ, который вошелъ бы въ поговорку, характеризовалъ собою цѣлый порядокъ, и смѣло могъ бы стать рядомъ съ городничимъ Гоголя. Тѣмъ болѣе жаль, что г. Островскій не сдѣлалъ этого и не достаточно потрудился надъ нимъ.

Одинаково на второстепенномъ планѣ является фигура купца Хлынова, этого улаждающаго свою жизнь шампанскимъ самодура, который говоритъ: „я все могу“! считаетъ своею обязанностью куражиться: „отчего же мнѣ, господинъ Курослѣповъ, и не куражиться?“ спрашиваетъ онъ. И, въ самомъ дѣлѣ, ему нѣтъ причины не куражиться. Онъ имѣетъ полное право безобразничать, потому что у него есть куча денегъ, и онъ знаетъ, что ему ничего не стоитъ за всякое свое безобразіе заплатить губернатору нѣсколько тысячъ рублей въ пользу города. Сегодня онъ жертвуетъ на пожарную команду, завтра на перестройку арестантскихъ ротъ, въ одинъ день богадѣльню устроить, въ другой на пріютъ пожертвуетъ—и вотъ за эти-то благодѣянія онъ и получаетъ право безобразничать вмѣстѣ съ полученіемъ медалей, орденовъ, наградъ, которыя падаютъ также и на губернатора, неповиннаго въ жертвованіяхъ Хлыновыхъ. Къ сожалѣнію, и этой фигурѣ не особенно посчастливилось; г. Островскій придалъ ей излишнюю карикатурность, онъ ни разу почти не показалъ его трезвымъ, а впрочемъ, можетъ быть, авторъ „Горячаго сердца“ и правъ, можетъ быть, такіе люди и не бываютъ никогда трезвы. Но какъ бы то

ни было, постоянное кривлянье Хлынова много мѣшаетъ типичности лица, намъ хотѣлось бы хоть на минуту увидѣть Хлынова, не играющимъ роли не то шута, не то спившагося самодура. Меньше карикатуры и больше простоты въ Хлыновѣ сдѣлали бы его въ одно и то же время болѣе правдивымъ и болѣе отталкивающимъ. Теперь же на него смотришь какъ на паяца, а не какъ на живое лицо. Въ этой фигурѣ, какъ и во всѣхъ остальныхъ новой комедіи, нельзя не признать хорошо задуманнаго типа, очень удачнаго замысла, къ сожалѣнію, только не приведеннаго въ исполненіе, неосуществленнаго и невыработаннаго.

Вася Шустрый это самый обыкновенный человѣкъ въ самодурной средѣ Курослѣповыхъ, Хлыновыхъ, градоначальниковъ Градобоевыхъ; въ немъ нѣтъ никакого понятія о чести, о собственномъ достоинствѣ, онъ всѣмъ бросается въ ноги: кланяйся, говорятъ ему, и онъ кланяется. Параша какъ нельзя вѣрнѣе опредѣлила его, когда въ первомъ же разговорѣ съ нимъ она говоритъ ему: „или это дрянъ такая на свѣтъ родится, что глядѣть то на тебя не стоитъ, не токмо что любить“, и въ самомъ дѣлѣ странно, за что она его любитъ, когда сама сознаетъ, что онъ дрянъ человѣкъ. Гораздо интереснѣе другой, любящій безъ памяти Парашу, Гаврило; онъ точно также забить какъ и Васька, только съ тою разницею, что въ немъ жива осталась струнка человѣческаго достоинства; онъ переноситъ все, что съ нимъ только дѣлаютъ, онъ переноситъ, когда треплютъ за волосы, но онъ не кланяется за это, не кидается въ ноги, а внутренно убивается и жалуется на судьбу. Въ немъ живетъ сознаніе, что человѣкъ имѣетъ извѣстныя права, и что только у него то ихъ нѣтъ. „Какихъ правъ! говоритъ онъ Матренѣ, раскричавшейся на него, у меня и нѣтъ никакихъ“. Гаврило способенъ любить до самопожертвованія, и онъ доказываетъ это своею безнадежною любовью къ Парашѣ. Хотя Гаврило и стоитъ на одномъ изъ заднихъ плановъ, тѣмъ не менѣе это одна изъ самыхъ цѣльныхъ фигуръ новой комедіи Островскаго. Одно только вредитъ Гаврилѣ, именно — что онъ слишкомъ напоминаетъ

Бородкина въ комедіи „Не въ свои сани не садись“. Точно также хорошо набросаны фигуры старика Силана, дяди и вмѣстѣ дворника Курослѣпова, и Наркиса — любовника Матрены, но они имѣютъ слишкомъ мало значенія, чтобы о нихъ стоило говорить.

Обращаясь отъ разбора выведенныхъ характеровъ къ разбору самаго построенія комедіи, движенію пьесы, нѣкоторыхъ сценъ, мы вынуждены сдѣлать г. Островскому еще бѣльшіе упреки. Если первое дѣйствіе мы можемъ только упрекнуть въ растянутости, за то со второго дѣйствія начинаются такіе недостатки, которыхъ г. Островскій могъ смѣло избѣжать, если бы онъ далъ себѣ нѣсколько болѣе труда. Намъ кажется, что завязывать серьезную комедію, а не водевиль, на такомъ вздорномъ случаѣ, какъ тотъ, что Вася попадаетъ въ кустахъ, пріемъ совершенно неудачный, и которымъ такому опытному драматургу какъ г. Островскій рѣшительно не слѣдовало бы пользоваться. Вѣдь, нельзя сказать, чтобы эта сцена была чисто вводная, что приведена она между прочимъ и т. д.; совсѣмъ нѣтъ, изъ этой сцены, изъ того, что вечеромъ безъ всякой надобности и безъ всякаго а priori городничій начинаетъ измѣривать разстояніе отъ дома до забора и попадаетъ на Васю, изъ этого вытекаетъ вся драматическая сторона пьесы: Параша бросаетъ домъ, Васю отдають въ солдаты, однимъ словомъ, на этомъ чисто случайномъ фактѣ держится цѣлая комедія. Главное условіе хорошей комедіи это простота и естественность въ завязкѣ; тутъ же, напротивъ, мы натываемся на искусственность и натянутость въ самомъ поводѣ къ драматическому положенію пьесы. Рядомъ съ этимъ во время этой же сцены, мы наталкиваемся на другой недостатокъ, который не можемъ не выставить на видъ, такъ какъ г. Островскій подаетъ дурной примѣръ всѣмъ нашимъ остальнымъ драматургамъ. Къ чему, желали бы мы знать, г. Островскій ввелъ сцену, приводящую въ восторгъ весь раекъ, сцену, въ которой Силанъ схватываетъ въ темнотѣ Курослѣпова, принимая его за одного изъ воровъ, и начинаетъ бить въ продолженіе нѣсколькихъ минутъ. Неужели

въ этомъ заключается комизмъ? Нѣтъ, это чисто внѣшній комизмъ, не вытекающій изъ необходимости положенія, какъ мы это видимъ, напримѣръ, въ подобныхъ же сценахъ у Мольера. Въ комедіи г. Островскаго это избіеніе Курослѣпова приведено только для того, чтобы вызвать смѣхъ въ театрѣ; но талантливый авторъ „Горячаго сердца“, можетъ быть, въ поспѣшности работы позабылъ, что не всѣ средства для этого хороши, и что смѣхъ, раздающійся въ балаганѣ, не есть еще цѣль, къ которой слѣдовало бы стремиться. Подобный смѣхъ долженъ скорѣе оскорблять, нежели радовать драматурга-художника.

Относительно хода третьяго дѣйствія мы можемъ указать только на то, что лучшая сцена, именно та, о которой мы говорили, сцена суда городничаго вовсе лишняя въ комедіи, что она нисколько не нужна, могла быть вставлена какъ въ одну комедію, такъ и другую, и что „Горячее сердце“ могло смѣло обойтись безъ нея. Мы указываемъ на это потому, что какъ ни хороша сцена, но лишь только она является лишнею, когда она не вызвана необходимостью самого плана комедіи, она непременно задерживаетъ развитіе и останавливаетъ дѣйствіе. Когда же нѣсколько такихъ сценъ закрадываются въ драматическое произведеніе, тогда это доказываетъ то, что у автора не было строгаго, обдуманнаго плана, что онъ писалъ какъ ему приходилось, и что не можетъ не отзываться на достоинствѣ комедіи. Къ несчастію, эта сцена не одна лишняя, лишнимъ намъ кажется все, что Островскій представилъ намъ во 2-й картинѣ 4-го акта. Ничто, по нашему мнѣнію, не заслуживаетъ въ этой комедіи такого рѣшительнаго порицанія, какъ неудачная сцена въ лѣсу, гдѣ Хлыновъ съ цѣлою компаніей переодѣты въ разбойниковъ, ради потѣхи пьянаго самодура, но, безъ всякаго сомнѣнія, въ ущербъ самой пьесы. Что хотѣлъ представить въ этой сценѣ авторъ „Горячаго сердца“, къ чему онъ допустилъ ее, считалъ ли онъ ее удивительно интересною и забавною или необходимою для развитія комедіи? По нашему мнѣнію, она не забавна, даже скучна и совершенно ненужная въ пьесѣ. Но что хуже всего, дѣйствующ-

щія лица являются въ этой сценѣ какъ куклы, по волѣ автора. Лишь только „баринъ“, пріятель Хлынова, достаточно напившись, говоритъ: „хорошо было бы теперь барышню, какую-нибудь воспитанную институтку... я бы сейчасъ палъ на колѣни передъ ней, и сцену изъ трагедіи“, и не успѣлъ онъ это произнести, какъ въ лѣсъ является Параша, отправившаяся на богомолье; „баринъ“, какъ онъ желалъ, падаетъ передъ ней на колѣни и стрѣляетъ холостымъ зарядомъ въ Гаврилу, сопутствующаго Парашу. Гаврилу схватываютъ и уносятъ люди, а на выручку Парашы является ея крестный отецъ Аристархъ. Все это до-нельзя натянуто и неправдоподобно, и неизвѣстно для чего придумано г. Островскимъ? Неужели только для того, чтобы попавшійся сюда Наркисъ проговорился, что двѣ тысячи рублей украдены Матреной у мужа для него? Точно также натянута и та сцена въ 5-мъ актѣ, когда Матрена, одѣвъ на себя платье мужа, отправляется подъ видомъ Курослѣпова къ своему другу Наркису, вступаетъ на дворъ въ разговоръ съ Силаномъ, который, разумѣется, узнаетъ ее и предупреждаетъ городничаго. Все это приведено только для того, чтобы закончить пьесу, распутать положеніе, и г. Островскій не задумался передъ средствами, онъ не выбиралъ дороги, не заботился о правдѣ, лишь бы закончить. Вотъ собственно всѣ слабыя стороны новой комедіи г. Островскаго. Мы болѣе настаивали и указывали на недостатки, чѣмъ на достоинства пьесы, потому что въ комедіи написанной авторомъ „Свои люди сочтемся“, „Грозы“, „Не живи какъ хочется“, не можетъ не быть достоинствъ, и это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Если „Горячее сердце“ не лишено многихъ достоинствъ, то мы видѣли также, что эта комедія не лишена и недостатковъ и, главное, недостатковъ самаго опаснаго свойства. Ничто не можетъ быть печальнѣе для автора, какъ повтореніе самого себя, ничто не можетъ быть пагубнѣе для пьесы того, когда планъ, характеры, положенія недостаточно продуманы и выработаны, когда для того, чтобы сдѣлать развязку, авторъ, не находя ее готовою въ самомъ сюжетѣ, прибѣгаетъ къ натянутымъ положеніямъ и сценамъ, лишеннымъ всякой правдоподобности и

естественности. Послѣ цѣлаго ряда замѣчательныхъ и рѣзкихъ типовъ, выведенныхъ Островскимъ, характеры, изображенные въ „Горячемъ сердцѣ“, кажутся намъ—одни только слабо набросанными образами, другіе лишенными силы, благодаря своей нецѣльности и невыдержанности. Эта комедія, несмотря на то, что она посвящена изображенію уже хорошо знакомой и ярко освѣщенной самимъ авторомъ среды, тѣмъ не менѣе, безъ указанныхъ нами недостатковъ, могла бы быть послѣднимъ заключительнымъ словомъ г. Островскаго, представляя самодурство, доведенное въ Курослѣповыхъ, Хлыновыхъ и Градобоевыхъ до послѣдней границы. „Горячее сердце“ резюмировало бы, такъ сказать, всѣ тѣ прежнія произведенія Островскаго, въ которыхъ онъ съ такимъ мастерствомъ изобразилъ грубость и дикость русской жизни. Онъ не сдѣлалъ того, что мы могли ожидать, и въ этомъ мы, конечно, обвинимъ не его талантъ, а скорѣе ту небрежность, которая бросается въ глаза зрителямъ послѣдней его комедіи. Мы сознаемся, что намъ было бы гораздо отраднѣе не такъ часто встрѣчаться съ новыми произведеніями г. Островскаго, но за то не имѣть случая указывать ему на такіе промахи, которые подсказываютъ, что авторъ не съ достаточною любовью относится къ своимъ произведеніямъ, а слѣдовательно, и къ тому искусству, которому онъ служить, и служить такъ долго и съ такою честью *).

Евг. Утинъ.

*) Сюда не вошли критическія статьи шестидесятихъ годовъ изъ слѣдующихъ изданій: „С.-Петербургскихъ Вѣдомостей“ 1860 г., № 158; „Драматическаго Сборника“ 1860 г., № 3; „Московскихъ Вѣдомостей“ 1860 г., № 1; „Нашего Времени“ 1860 г., № 1 и 4; „Свѣточа“ 1860 г., № 3; „Библіотеки для чтенія“ 1860 г., № 1; „Сына Отечества“ 1860 г., № 48; „Сѣверной Пчелы“ 1860 г., № 41 и 42; „Оберточнаго Листка“ 1860 г., № 19 и 20; „Одесскаго Вѣстника“ 1861 г., № 105; „Свѣточа“ 1861 г., № 1 и 2; „Библіотеки для чтенія“ 1861 г., № 2; „Времени“ 1862 г., № 10; „Библіотеки для чтенія“ 1862 г., № 6; „Отечественныхъ Записокъ“ 1862 г., № 1 и 8; „Свѣточа“ 1862 г., № 3; „Сына Отечества“ 1862 г., № 7; „Библіотеки для чтенія“ 1865 г., № 1; „Сына Отечества“ 1866 г., № 10; „Музыки и Театра“ 1867 г., № 10; „Сына Отечества“ 1867 г., № 42 и 43; „Записокъ для чтенія“ 1867 г., № 4; „Антракта“ 1868 г., № 15; „Нижегородскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ 1868 г., № 51; „Голоса“ 1868 г., № 310; „Вѣстника Европы“ 1868 г., № 12; „Кіевлянина“ 1868 г., № 63 и 75; „Воронежскаго Листка“ 1868 г., № 84; „Петербургскаго Листка“ 1868 г., № 6; „Русскаго“ 1868 г., № 7—8; „Ставропольскихъ Губернскихъ Вѣдомостей“ 1869 г., № 1; „Кіевлянина“ 1869 г., № 4; „Донскаго Вѣстника“ 1869 г., № 43; „Дона“ 1869 г., № 68 и 95; „Всемирнаго Труда“ 1869 г., № 2; „Современной Лѣтописи“ 1869 г., № 4; „Дѣятельности“ 1869 г., № 22.

Примѣч. В. Зелинскаго.

КРИТИКА СЕМИДЕСЯТЫХЪ ГОДОВЪ.

„Бѣшенныя деньги“. Комедія въ пяти дѣйствіяхъ.

*) Русскій театръ, послѣ великопостнаго отдыха, открылся въ четвергъ, 16-го апрѣля, новою пятиактною комедіей г. Островскаго „Бѣшенныя деньги“. Авторъ вводитъ насъ въ какой-то особенный, вновь имъ открытый въ московской жизни, мірокъ, съ которымъ впервые мы нѣсколько познакомились изъ его же комедіи „На всякаго мудреца довольно простоты“. Обѣ комедіи связываются между собою личностью молодого человѣка, стремящагося, всякими правдами и неправдами, составить себѣ блестящую карьеру, личностью Егора Дмитриевича Глумова. Если личности первой комедіи г. Островскаго очерчены вообще блѣдновато, то она отличалась нѣкоторыми бойкими сатирическими штрихами, и смотря на нее, какъ на сатиру современныхъ нравовъ, нельзя было отказать ей въ положительныхъ достоинствахъ. Но новая комедія, отличаясь тою же блѣдностью дѣйствующихъ лицъ, лишена, вдобавокъ, и живой сатирической струйки. По задачѣ, по основной мысли, обѣ комедіи списаны точно по трафарету другъ съ друга. Уже одно это обстоятельство не говоритъ въ пользу новой комедіи. Въ „Мудрецѣ“ красивый молодой человѣкъ Глумовъ желаетъ составить себѣ карьеру; въ „Бѣшенныхъ деньгахъ“ красивая 24-хлѣтняя дѣвица Лидія Юрьевна Чебоксарова ищетъ богатой партіи. Карьера Глумова временно рушится при помощи присылки дневника, гдѣ онъ выражаетъ свое мнѣніе о другихъ дѣйствующихъ лицахъ; дневникъ присылается изъ ревности Мамаевой, теткой Глумова. Несчастія Лидіи усугубляются присылкою безыменныхъ писемъ г. Глумовымъ къ мужу. Г-жа Мамаева, посылая дневникъ, желаетъ сохранить себѣ любовника. Г. Глумовъ, посылкою писемъ, желаетъ отбить отъ Лидіи волокитъ для того, чтобъ впослѣд-

*) „Голосъ“ 1870 г., № 107.

ствіи сдѣлаться самому ея любовникомъ. Опростоволосившійся мудрецъ, Глумовъ, читаетъ другимъ дѣйствующимъ лицамъ нравоученіе, доказывая, сколько онъ для нихъ необходимъ; опростоволосившейся Лидіи самъ мужъ говоритъ, что ему необходимо нужна такая именно жена, какъ она.

Но прослѣдимъ подробнѣе развитіе комедіи. Въ саду у Сакса встрѣчаются случайно всѣ дѣйствующія лица комедіи. Провинціалъ, какъ глухо гласитъ афиша, Васильковъ, нажилъ себѣ порядочную деньгу, занимаясь постройками мелкихъ участковъ желѣзныхъ дорогъ. Свѣтски онъ необразованъ, но имѣетъ свѣдѣнія даже въ сферической тригонометріи. Онъ былъ въ Англіи и тамъ изучалъ желѣзнодорожное дѣло, и тамъ же, вѣроятно, изучилъ до точки французскій языкъ (sic). Онъ въ чаяніи ворочать большими капиталами. Душу имѣетъ нѣжную, а потому влюбился въ красивую Чебоксарову и, не будучи даже знакомъ съ нею, мечтаетъ вступить съ прелестной незнакомкой въ законный бракъ. Его знакомитъ, тутъ же въ саду, нѣкто Телятевъ, неслужащій дворянинъ, сумѣвшій надѣлать триста тысячъ долга, говорунъ, добрый малый, готовый при деньгахъ дать всякому въ долгъ безъ расписки, готовый также взять въ долгъ, гдѣ придется, зная, что отдавать никогда не станетъ. У него, впрочемъ, одиннадцать живыхъ тетушекъ и бабушекъ, по смерти которыхъ ему удастся снова вынырнуть. Онъ присяжный балетоманъ, рассказчикъ сальныхъ анекдотовъ, непремѣнное лицо на всѣхъ обѣдахъ и балахъ, жуиръ, гуляка, беззаботнѣйшій въ мірѣ человекъ. Лицо несомнѣнно живое, знакомое всѣмъ, но, къ сожалѣнію, совершенно неразвитое авторомъ, какъ и прочія лица комедіи. Авторъ точно составилъ себѣ конспектъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, и за недосугомъ не обрисовалъ ихъ, а просто-напросто вложилъ въ уста каждому изъ нихъ то, что онъ, авторъ, о нихъ думаетъ. Вслѣдствіе этого, всѣ лица страдаютъ повальною глупостью и чрезмѣрною откровенностью; всѣ они выдаютъ себя съ перваго раза, избавляя зрителя отъ обязанности изучать ихъ характеры... Дѣлаемъ предварительно это общее замѣчаніе, чтобъ не возвращаться къ

нему при каждомъ удобномъ случаѣ, чтобъ не утомлять читателя дробнымъ анализомъ всѣхъ противорѣчій, неестественностей и порою даже нелѣпостей, щедрою рукою расточаемыхъ авторомъ.

Пересмотримъ другихъ лицъ, и затѣмъ обратимся къ разбору самой сути комедіи. Является Кучумовъ, важный баринъ, нѣкогда богачъ, нынѣ живущій на счетъ жены, которая ему выдаетъ по десяти рублей на день карманныхъ денегъ, а въ праздники до пятидесяти; лгунъ, хвастунъ, изъ боязни раскрыть свое жалкое положеніе. И опять-таки и въ этомъ лицѣ есть живыя черты. Кто не знаетъ мужей, живущихъ на счетъ женъ? Кто не знаетъ ихъ, съ виду блестящихъ, разбѣзжающихъ на жениныхъ рыскахъ и не имѣющихъ копейки за душой? Какъ имъ хочется порою пошалить! и вотъ они занимаютъ за громадныя проценты деньги, въ надеждѣ, что жена сжалится. Жена, обыкновенно, платитъ за такого мужа небольшія суммы; но когда мужъ, поощренный такою снисходительностью, увеличиваетъ свои долги, то она перестаетъ платить, и супругъ, въ наказаніе за шалости, долженъ установленный срокъ просидѣть въ долговомъ. „Не разорять же мнѣ дѣтей изъ-за него“, справедливо разсуждаетъ въ такомъ случаѣ жена. Третье той же категоріи лицо — Глумовъ. Увы! онъ уже оказывается не карьеристомъ: онъ только злословить и смѣется надъ людьми, да пишетъ безыменные письма. Отъ прежняго Глумова не осталось ничего.

Совершается встрѣча означенныхъ четырехъ лицъ съ мамашей и дочкой Чебоксаровыми. Васильковъ представляется красавицѣ. Глумовъ вретъ старухѣ, что у Василькова золотыя пріиски. Старуха вѣритъ. Васильковъ, отвѣтивъ на вопросъ красавицы, знаетъ ли онъ такую-то? „Ни Боже мой!“ И на вопросъ: знаетъ ли онъ такого-то? „Онъ мой шаберъ (сосѣдъ)“, и, пройдясь съ мамашею и дочкой по саду, начинаетъ, здорово живешь, предлагать другимъ пари въ три тысячи, что онъ женится на Чебоксаровой. Въ слѣдующемъ актѣ Чебоксаровы вдругъ оказываются разорившимися. Въ деревнѣ былъ неурожай, заводъ пересталъ

дѣйствовать—словомъ, всѣ невзгоды обрушиваются на нихъ. Для чего всѣ сіи ужасы? Чтò за маменька съ дочкой? Богаты ли онѣ были и прожились? Жили ли онѣ всегда, чтò-называется, на фуфу? Ничего не разберешь. Дочка выражаетъ желаніе выйти замужъ за богатаго и красиваго; услыхавъ о разореніи, она отбрасываетъ только прилагательное „красивый“. Она рада выйти за всякаго богатаго. Чтò же онѣ—авантюристки, въ родѣ польки, столь мѣтко очерченной г. Писемскимъ въ „Старческомъ грѣхѣ?“ Но будь онѣ авантюристки, онѣ, конечно, наводили бы точныя справки о всѣхъ своихъ знакомыхъ, и знали бы, кто изъ нихъ богатъ, кто нѣтъ. Нѣтъ, это какія-то простосердечныя дуры, вѣрящія всякому на слово и въ то же время самыя безнравственныя женщины. Лидія ищетъ богатаго жениха; но кого же изъ четырехъ она изберетъ? Она любезна со всѣми, кромѣ Василькова; даже болѣе чѣмъ любезна. Она буквально навязывается Телятеву, и тотъ отказывается только потому, что боится законнаго брака. Кончено! она выходитъ за Василькова.

Влюбленному знатоку сферической тригонометріи и французскаго языка, пренебрегающему внѣшностью человѣка, ради его внутреннихъ достоинствъ, невѣста говоритъ, что она его не любитъ, и онъ прельщается ея обѣщаніемъ, что она полюбитъ современемъ. Онъ даритъ ей брильянты, и она говоритъ ему: „о, васъ еще можно полюбить!“ И онъ не ужасается цинизма этихъ словъ. Лидія, по собственному мнѣнію, всевластная своею красотой надъ бѣдными мужчинами, не умѣетъ притвориться передъ нимъ, а выдаетъ ему себя головой! И провинціалъ, будучи умнымъ, ничего этого не видитъ. Конечно, авторъ желалъ показать, какъ безъ любви выходятъ замужъ, но, вмѣсто того, чтобъ нарисовать такую расчетливую дѣвушку, заставилъ ее все это объяснить жениху. Оно легко, но голо до безобразія. Свадьба состоялась. Практическій Васильковъ, толкующій о томъ, что не слѣдуетъ выходить изъ опредѣленнаго бюджета, увѣренъ, что у его жены есть свои собственные средства и что она мотаетъ на нихъ. Послѣ свадьбы ока-

зывается, что Васильковъ не такъ богатъ, какъ думали мамаша съ дочкой.

Теща читаетъ зятю наставленія въ родѣ тѣхъ, какія чиновница Кукушкина въ „Доходномъ мѣстѣ“ читаетъ Жадову. Она обращается къ Кучумову съ просьбой доставить мѣсто ея зятю; тотъ обѣщаетъ. Лидія, узнавъ, что мужъ не такъ богатъ, какъ предполагалось, рѣшается буквально торговать собою. Авторъ вставляетъ въ ея уста рѣчи самыя циническія. Она говоритъ матери, что желаетъ испробовать на другихъ, какъ обаятельны ея ласки и прочая. Такія рѣчи дышатъ голымъ цинизмомъ, отъ котораго передергиваетъ зрителя. Мы не изъ тѣхъ критиковъ, которые рады, при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ, обвинить любого автора въ цинизмѣ, для показанія своихъ циническихъ добродѣтелей. Но ни одна женщина, даже развратная по ремеслу, не можетъ говорить такихъ рѣчей. Пусть Лидія мечтаетъ только о богатствѣ, пусть, какъ она выражается, „для ея крылышекъ необходимъ золотой песокъ, она все-таки не станетъ громко называть себя развратной женщиной. Тутъ не авторскій цинизмъ виновенъ; тутъ простое небреженіе своимъ талантомъ; тутъ доведенный до крайности недостатокъ, замѣченный нами и прежде у г. Островскаго: заставлятъ лица говорить то, что о нихъ думаетъ авторъ. Въ жизни не то; въ жизни Лидіи такъ легкомысленны, что не думаютъ о развратѣ и прочихъ глубокомысленныхъ вещахъ — имъ все съ полагоря; у нихъ на первомъ планѣ — удовлетвореніе своей прихоти, а о честности или безчестности средствъ онѣ не разсуждаютъ. Онѣ способны забавляться своимъ умѣньемъ устраивать дѣлишки; имъ этотъ самый процессъ устраиванья милъ и любезенъ, и за нимъ онѣ не видятъ ничего. Онѣ боятся остаться наединѣ, чтобъ не впасть въ раздумье; онѣ ищутъ разсѣянія, всячески кружатся, закруживаются сами и увлекаютъ въ свой блестящій водоворотъ другихъ. Но чтобъ онѣ хладнокровно приступали къ своему дѣлу, этого не вынесетъ ни одна человѣческая душа! Въ трагическихъ злодѣевъ никто уже не вѣритъ больше. А Лидія? На слова матери, что

нужно приласкать мужа, она отвѣчаетъ: „Ласки? ласки? О, если только нужно, онъ увидитъ такую ласку, что задохнется отъ счастья. *Это мнѣ будетъ практикой.* Мнѣ нужно испробовать себя, сколько сильна моя ласка, и что *она стоитъ на вѣсѣ золота*“. И далѣе: „Бояться порока, когда всѣ порочны, и глупо и нерасчетливо“ и т. п. И вотъ она испытываетъ силу ласки: любезничаютъ съ Кучумовымъ, затѣмъ съ Телятевымъ, которому даетъ цѣловать свою руку повыше перчатки, и вдобавокъ дѣлаетъ это столь глупо, что Глумовъ видитъ *и то и другое*. Затѣмъ, та же продѣлка съ мужемъ. Мужъ тотчасъ поддается и уплачиваетъ всѣ счета, но требуетъ, чтобъ, въ видахъ сокращенія бюджета, они переѣхали въ маленькую квартирку и чтобъ никого изъ знакомыхъ не принимать. Все такъ и дѣлается. Но Лидія спрашивала раньше мамашу, кто богаче: Кучумовъ или Телятевъ? Мамаша отвѣчала, что Кучумовъ, и Лидія проситъ у мужа дозволенія принимать Кучумова, какъ стараго родственника. На это мужъ соизволяетъ. Между тѣмъ, Глумовъ, узнавъ отъ лакея, что Кучумовъ бываетъ съ визитомъ у Лидіи около двухъ часовъ (то-есть, въ обычное для визитовъ время) пишетъ письма Телятеву и Василькову, въ которыхъ и извѣщаетъ ихъ, что нѣкто въ это время посѣщаетъ *м-ше* Василькову. Оба глупы, когда угодно автору, и потому удивляются, что въ визитное время у г-жи Васильковой бываетъ гость, и оба увѣрены, что гость этотъ никто иной, какъ любовникъ Лидіи. Особенно естественно это со стороны мужа, который только что увѣрился, что жена полюбила его! На новой квартирѣ въ назначенный часъ является Кучумовъ. Онъ попрежнему вретъ. Дамы почти ловятъ его на словѣ: онъ обѣщалъ послать Чебоксарову тридцать тысячъ, и не послалъ; онъ обѣщалъ купить ихъ продающуюся съ торговъ деревню, а купилъ ее на дѣлѣ кто-то другой. Онъ придумываетъ какую-то пустѣйшую отговорку, и онѣ вѣрятъ. Дамы поражены какою-то чрезмѣрною глупостью, потому что, будь онѣ хоть нѣсколько разумны, комедія продолжаться не могла бы. Тутъ же Лидія продаетъ себя

Кучумову за сорокъ тысячъ, и тутъ же этотъ селадонъ хочетъ выдать условленные деньги, но увѣряетъ, что забылъ дома. И дамы снова вѣрятъ и идутъ совѣщаться съ нимъ въ другую комнату. Является Телятевъ и на цыпочкахъ отправляется подглядывать за Лидіей. Является Глумовъ, чтобъ написать пустую записку, и исчезаетъ. Является Васильковъ и, сличивъ почеркъ Глумова съ почеркомъ записки, извѣщающей о невѣрности жены, и найдя, что онѣ различны, убѣждается въ томъ, что у жены любовникъ. Возвращается изъ своей экскурсіи Телятевъ; мужъ, не говоря дурного слова, бросается на него съ пистолетомъ. Сцена ревности, при такой обстановкѣ, дѣлается чрезмѣрно водевильною. Васильковъ и Телятевъ кричатъ, шумятъ, хватаются за стулья, чтобъ драться, а Лидія съ мамашей и Кучумовымъ, находясь черезъ комнату, ничего не слышатъ. Наконецъ, онѣ выходятъ, мужъ подслушиваетъ. Опять пистолеты (къ счастью, вѣроятно, не заряженные) пускаются въ ходъ, но Кучумовъ спасается бѣгствомъ. Супруги ссорятся, и Лидія бросаетъ мужа. Мужъ, подобно Жадову, начинаетъ рыдать.

Какая же послѣдуетъ развязка изъ всей этой кутерьмы? Лидія ищетъ богатаго и увѣрена, что всѣ ея знакомые богачи. Но Кучумовъ денегъ все не привозитъ; наконецъ, и Лидія увѣряется, что онъ лжетъ, но и тутъ не сама, а при помощи Телятева. Тогда она бросается къ Телятеву и предлагаетъ ему себя, но Телятевъ говоритъ, что его завтра повезутъ въ яму. Новый ударъ! Итакъ, Лидія съ мамашей остаются дурами; ищутъ, и не находятъ богатыхъ. Удивительно, какъ Телятевъ, Кучумовъ и Глумовъ не открыли раньше истины, если не насчетъ самихъ себя, то насчетъ другъ друга. Они всѣ такіе откровенные болтуны! Но кто же богатъ? У кого же деньги? Телятевъ увѣряетъ, что нынѣ *бѣшенныхъ* денегъ вовсе нѣтъ, а есть только *умныя*. Только умные и трудящіеся люди въ наше время могутъ разбогатѣть, а они даромъ, на любовницъ, денегъ бросать не станутъ. Какое идиллическое время! Хоть бы о биржевой игрѣ вспомнилъ г. Островскій. А то, видите, кра-

савица, желающая продать себя, не находитъ покупателей, потому что денегъ бѣшеныхъ нѣтъ. Но она смотритъ въ окно и видитъ восхитительную коляску, и Телятевъ поясняетъ ей, что коляска эта куплена ея мужемъ для какой-то камеліи и что ея мужъ миллионщикъ! Стало быть, и умныя деньги иногда бѣшенными бываютъ. Или мужъ хотѣлъ только подразнить жену свою: гляди, молъ, матушка, и у меня деньги есть! Для чего-жъ выдѣлывать такіе фокусы? Для испытанія жены? Зачѣмъ испытывать жену участію камеліи, къ каковой участи она и безъ того всѣмъ помышленіемъ стремится? Итакъ, у мужа есть деньги. Жена тотчасъ же дѣлается больною и посылаетъ за мужемъ. Но въ промежуткѣ является Глумовъ. Онъ извѣщаетъ, что ѣдетъ за границу съ какою-то старушкой, которую желаетъ обобрать и даже на тотъ свѣтъ отправить. Объявляетъ онъ объ этомъ готовящемся преступленіи при свидѣтеляхъ, явно и открыто, и затѣмъ предлагаетъ Лидіи взять ее черезъ годъ себѣ въ любовницы. Итакъ, нѣтъ въ благочестивой Москвѣ покупателей женской красоты! Является мужъ, является (за сценой) и судебный приставъ, чтобъ описать имѣніе Лидіи. Она, надѣясь на Кучумова, надѣлала долговъ. Мужъ платитъ долги и, для исправленія, предлагаетъ женѣ поступать въ экономки къ его матери. Жена, поломавшись, соглашается. Мужъ читаетъ ей правоученіе: вы-де боитесь долговой ямы, а не боитесь пропасти порока. Жена сожалеетъ объ участи себѣ подобныхъ ээирныхъ барышень. Имъ-де теперь не житье. Но мужъ любящій, вчера еще хотѣвшій застрѣлиться отъ любви, этотъ самый мужъ обѣщаетъ Лидіи взять ее впослѣдствіи къ себѣ. Вы—де можете блистать въ обществѣ, а мнѣ, по моимъ *разсчета*мъ, такая жена нужна. Итакъ, ээирныя барышни могутъ утѣшиться. Если въ Россіи, или, по меньшей мѣрѣ, въ благочестивой Москвѣ, гдѣ все умныя деньги, не требуются болѣе содержанки, то покупаются на тѣ же умныя деньги жены, могущія въ обществѣ блистать и принимать въ своихъ гостиныхъ даже министровъ.

Прослѣдивъ перипетіи комедіи, невольно спрашиваешь

себя, точно ли г. Островскій написалъ ее! Отдѣльныя черты, бѣглыя, но порою вѣрныя замѣтки о нравахъ, порою живой разговоръ — все это какъ будто напоминаетъ прежняго Островскаго; но сочиненность интриги, противорѣчія, наконецъ, слащеватая мораль въ концѣ — это вовсе не Островскій. Пьеса имѣла, хотя и небольшой успѣхъ, и этимъ, конечно, обязана удачнымъ частностямъ. Мы слышали такое мнѣніе: только имя Островскаго спасло пьесу отъ паденія; напиши-де такую пьесу Дьяченко, ее освистали бы. Намъ кажется, что сужденіе это несправедливо. На театрѣ имя ничего не значитъ; всюду падаютъ порою пьесы именитыхъ авторовъ. Мы думаемъ даже, что не бѣда, если порою и падетъ пьеса талантливаго автора. Бѣлая бѣда, когда слабая его пьеса имѣетъ нѣкоторый успѣхъ. Не то прискорбно, что г. Островскій написалъ слабую пьесу, а то, что въ ней онъ измѣнилъ своему таланту; мы не вѣримъ, чтобъ г. Островскій не совладалъ съ тою средою, которую онъ взялся описывать. Мы знаемъ, что онъ мастеръ наблюдать и изображать характеры; мы видѣли его комедіи, гдѣ развязкою служила не правоучительная сенція, а вытекала она, эта развязка, изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ; комедіи, гдѣ рисовалась жизнь, комедіи, имѣвшія, поэтомъ, жизненное значеніе, комедіи, возбуждавшія раздумье о жизни, богатая порождаемыми въ умахъ зрителей идеями, а теперь видимъ комедію, написанную на данную тему, ультра - обличительную, гдѣ въ концѣ высказывается кѣмъ-нибудь изъ дѣйствующихъ правоучительная „идея“, гдѣ живыя черты приносятся въ жертву этой quasi — идеѣ! Это не художество, а жалкая поддѣлка подъ него; это не изображеніе жизни, а желаніе сказать въ концѣ модное правоученіе; это манера не г. Островскаго, а гг. Дьяченко и tutti quanti. Когда г. Дьяченко, смотря потому, какой вѣтеръ дуетъ, готовитъ въ концѣ либеральную, консервативную, нигилистическую или патріотическую фразу, то мы ни мало не удивляемся. Когда мы смотримъ на комедію, ради такой фразы написанную, то въ противорѣчійхъ, нелѣпостяхъ, эффектахъ и прочихъ диковинкахъ намъ не пред-

ставляется ничего страннаго. Все дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ поразить зрителя, одурманить его на время ловко исполненнымъ фокусомъ. Мы точно созерцаемъ музыканта, откалывающаго различные пассажи, дѣлающаго удивительные переходы, расточающаго сверхъестественные эффе́кты, чтобъ подивить слушателей механизмомъ своихъ рукъ. Мы смотримъ на все это, какъ на умственную эквилибристику, какъ на хожденіе на ходуляхъ по канату. Конечно, легко провозгласить, что талантъ г. Островскаго погибъ; легко наговорить по этому поводу разныхъ громкихъ фразъ; еще легче отпустить остроту, что „бѣшенныя-де у того деньги, кто платитъ за такія комедіи, какъ „Бѣшенныя деньги“ г. Островскаго,“ и тутъ же упрекнуть г. Островскаго за плохіе каламбуры. Все это легко для извѣстнаго рода критиковъ, и все это уже совершенно ими, не умѣющими отличать жизни отъ фокусовъ, серьезной мысли отъ либеральныхъ возгласовъ. Чтò имъ талантъ, правдивое изображеніе жизни, ярко-очерченные характеры! Завтра же они утѣшатся либеральнымъ сочиненіемъ г. Дьяченко, и провозгласятъ его талантливымъ драматургомъ. Но для людей, привыкшихъ мыслить, видѣть г. Островскаго на пути г. Дьяченко не такъ-то легко, и тѣмъ горше, что тутъ же, въ этой же комедіи встрѣчаешь и проблески наблюдательности и выхваченныя изъ жизни черты! Грустно видѣть такое небреженіе самимъ собою, и одного только желаешь, чтобъ скорѣе прошла эта болѣзнь таланта—потому что истинный талантъ, какъ все живое и органическое, не можетъ же вдругъ, ни съ того ни съ сего, безъ всякаго внѣшняго толчка, выродиться и начать упражненія въ механическомъ сочиненіи на заданныя темы. Мы вѣримъ, что и талантъ г. Островскаго переживетъ свою нынѣшнюю острую болѣзнь...

Статья изъ „Голоса“ за 1870 г.

*

* *

*) Въ Москвѣ проживаетъ важная дама, Надежда Антоновна Чебоксарова, съ дочкой Лидіей, одною изъ первыхъ

*) „Заря“ 1870 г., № 3 („Бѣшенныя деньги“).

московскихъ красавицъ; онѣ давно разорились, послѣднее имѣніе ихъ должно быть продано съ молотка, но онѣ продолжаютъ тянуться по прежней роскошной стезѣ, чтобы не выдать тайны своего разоренія и не отвадить жениховъ. Друзья, посѣщающіе Чебоксаровыхъ и ухаживающіе за Лидіей — Телятевъ, Кучумовъ — разорившіеся пожилые люди, умѣющіе въ свою очередь прикинуться богачами и пустить пыль въ глаза. Опытная и рѣшительная не по лѣтамъ Лидія ловитъ ихъ въ женихи, но не менѣе опытные старички напрямикъ отказываются; тогда неvěста принимается за влюбленнаго въ нее мѣшковатаго, противнаго провинціала Василькова, за котораго и выходитъ замужъ. Но увы, черезъ нѣсколько дней послѣ свадьбы между молодыми начинаются несогласія: Васильковъ хотя платитъ долги Чебоксаровыхъ, но рѣшается тутъ же перемѣнить образъ жизни, сократить расходы, и немедленно переѣзжаетъ съ женой и тещей на другую квартиру, въ скверный маленькій домишко, и не велитъ никого принимать, кромѣ старика Кучумова. На этомъ-то исключеніи въ пользу Кучумова развратная Лидія основываетъ свои надежды: заводитъ съ нимъ интригу, условившись въ вознагражденіи въ 40 тысячъ, и когда мужъ узнаетъ о ея продѣлкахъ, спокойно переѣзжаетъ отъ него съ матерью на прежнюю квартиру. Но когда Кучумовъ, вмѣсто 40 тысячъ, привозитъ всего 600 рублей, когда Телятевъ отказывается помочь ей по неимѣнію лишняго рубля, когда даже Глумовъ проситъ ее подождать, пока онъ ограбитъ какую-то барыню, и уже тогда обѣщаетъ взять ее на содержаніе — тогда Лидія обращается снова къ мужу, и соглашается на тяжелыя условія, предложенныя имъ для примиренія: ѣхать въ деревню и тамъ поступить на продолжительное время подъ начало къ его матери, въ качествѣ экономки.

Таково, въ немногихъ словахъ, содержаніе комедіи „Бѣшенныя деньги“. Мы рассказали его возможно кратко, опустивъ всѣ подробности и complicacій, вмѣстѣ съ которыми исчезли изъ нашего изложенія всѣ несообразности и шероховатости, которыми переполнена пьеса. Теперь прослѣ-

димъ развитіе комедіи въ лицѣ ея главныхъ персонажей—Василькова и Лидіи.

Васильковъ отъ начала до конца пьесы является лицомъ какимъ-то загадочнымъ, и почему-то даже облеченнымъ таинственностью. Самое богатство его, нажитое коммерческимъ трудомъ, обставлено чѣмъ-то фантастическимъ: сумма его открывается лишь къ концу пьесы, и происхожденіе остается до конца проблематическимъ и даже подозрительнымъ. Василій, слуга и наперсникъ Василькова, такъ выражается объ этомъ предметѣ: „Да что говорить-то! Даже еще и не приказано, и не всякій понимать можетъ. Тоже и наука, а не то, что, лежа на боку. Мы, можетъ, ночи не спали,—страху навидѣлись. Какъ вы обо мнѣ понимаете? Я до Лондона только одиннадцать верстъ не доѣзжалъ, назадъ вернули при машинахъ. Стало быть, намъ много разговаривать нельзя“. Что же это такое? сбывали ли они фальшивыя бумажки, или просто Василю приказано врать и напускать туману въ глаза—но въ такомъ случаѣ для чего и зачѣмъ?

Еще труднѣе понять, что за человѣкъ Васильковъ въ обыкновенномъ смыслѣ, то-есть, ученый ли агрономъ и технологъ, или просто маклакъ, какихъ много; нельзя даже сказать съ достовѣрностью, уменъ онъ или глупъ; на всякомъ шагу онъ до того противорѣчитъ самому себѣ, что даже его разговорный языкъ мѣняется въ каждой сценѣ. Въ началѣ пьесы, онъ изъясняется какими-то переводными фразами, напримѣръ: „Нѣтъ, я не такъ скоро откажусь отъ этой способности. Но что же еще нужно, чтобы ей понравиться!“ — Неужели никакими другими достоинствами, никакими качествами ума и сердца нельзя покорить эту дѣвушку? Когда же его сводятъ съ Лидіей, въ которую онъ влюбленъ, между ними происходитъ слѣдующій разговоръ:

Лидія. Вы знаете въ Казанѣ мадамъ Чурило-Пленкову?

Васильковъ. Когда же нѣтъ!

Лидія. Она, говорятъ, разошлась съ мужемъ.

Васильковъ. Ни Боже мой!

Лидія. Подворотникова знаете?

Васильковъ. Онъ мой шабѣрь.

Что же это такое. Нельзя не спросить опять, почему этотъ человѣкъ, сейчасъ изъяснявшійся слогомъ Ленскаго о качествахъ ума и сердца, вдругъ заговорилъ языкомъ казанскихъ татаръ, торгующихъ халатами и мыломъ? При этомъ открывается, что Васильковъ учился въ высшемъ учебномъ заведеніи, и специалистъ по математикѣ.

Вся сцена сватовства Василькова ведена крайне странно. Васильковъ желаетъ исправить Лидію, чтобъ научить ее цѣнить внутреннія достоинства; ему говорятъ, что это долгая пѣсня, и будущая теща сама дѣлаетъ за него предложеніе. Лидія даже не смѣется надъ нимъ, а прямо говоритъ, что не любитъ его, и что, выходя замужъ, играетъ комедію. Онъ подноситъ ей брильянты. „Мнѣ кажется есть возможность полюбить васъ!“ восклицаетъ не выдержавшая Лидія.—Стало быть, Васильковъ обыкновеннымъ образомъ глупъ—глупѣ Телятевыхъ и Кучумовыхъ, умѣющихъ цѣловаться съ Лидіей, не связывая себя узами гименея?

Тотчасъ послѣ свадьбы, начинаются между мужемъ и женою денежные несогласія, происходятъ сцены, слабое подобіе которыхъ можно встрѣтить во французской мелодрамѣ. Вотъ образчикъ этой парижско-московской литературы:

Лидія. Я погибла. Я какъ бабочка безъ золотой пыли жить не могу; я умру, умру.

Надежда Антоновна (ея мать). Мнѣ кажется, у него есть деньги, только онъ скупъ. Если бъ ты оказала ему побольше ласки... Переломи себя.

Лидія (задумавшись). Ласки? ласки? О, если только нужно, онъ увидитъ такую ласку, что задохнется отъ счастья. Это мнѣ будетъ практикой. Мнѣ нужно испробовать себя, сколько сильна моя ласка, и что она стоитъ на вѣсь золота. Мнѣ это годится впередъ. Мнѣ безъ золота жить нельзя.

Надежда Антоновна. Страшныя слова говоришь ты, Лидія.

Лидія. Страшнѣе бѣдности ничего нѣтъ.

Надежда Антоновна. Есть, Лидія; порокъ.

Лидія. Порокъ. Что такое порокъ? Бояться порока, когда всѣ порочны, и глупо и нерасчетливо. Самый большой порокъ есть бѣдность. Нѣтъ, нѣтъ! Это будетъ первый мой женскій подвигъ. Я доселѣ была скромно кокетлива, теперь я испытаю себя, насколько я могу обойтись безъ стыда.

Надежда Антоновна. Я не слушаю.

Лидія. Кто богаче, Кучумовъ или Телятевъ? Мнѣ это нужно знать; они оба въ моихъ рукахъ.

Надежда Антоновна. Они оба богаты и мотають, но Кучумовъ богаче и добрѣе.

Лидія. Только мнѣ и нужно. Гдѣ у васъ счеты изъ магазиновъ и лавокъ? Давайте сюда!

Тутъ она сталкивается съ мужемъ, и немедленно начинаетъ практику. „Когда мнѣ придетъ въ голову задушить тебя въ своихъ объятіяхъ, такъ я задушю—говоритъ она. Ты мнѣ позволь“. — „Да и какъ не позволить“, отвѣчаетъ мужъ. „У меня мягкія чувства, объясняетъ онъ, и образованный вкусъ. Дай мнѣ твою прелестную руку. Какъ хороша твоя рука! Жаль, что я не художникъ“. — „Моя рука! возражаетъ Лидія, прилегая къ нему на грудь. У меня нѣтъ ничего моего, все твое, все твое“.

Уничтоженный этой практикой, Васильковъ платитъ долги жены и тещи, но переѣзжаетъ вмѣстѣ съ ними на новую, бѣдную квартиру. Лидія никакъ не можетъ привыкнуть къ новой обстановкѣ и принимается за Кучумова, котораго все еще считаетъ богачомъ. „Чѣмъ намъ жить, говоритъ она ему. У папаша ничего нѣтъ, у меня тоже. На кредитъ нельзя рассчитывать“. — „Вамъ стоитъ сдѣлать только одинъ жестъ, и этотъ шалашъ превратится во дворецъ“, отвѣчаетъ Кучумовъ.

Лидія. Какой жестъ, папаша?

Кучумовъ. Вы, и какъ фея и какъ женщина, должны это знать лучше, чѣмъ мы, мужчины. У фей и женщинъ въ запасѣ много жестовъ.

Лидія (бросаясь ему на шею). Такой жестъ, папаша?

Кучумовъ. Такъ, такъ, такъ... (зажмуривъ глаза, опускается на стулъ). Съ тебя будетъ пока сорока тысячъ на первый разъ?

Развязку пьесы мы уже знаемъ, а приведенныхъ выдержекъ, полагаемъ, достаточно, чтобы опредѣлить, къ какому роду произведеній принадлежитъ новая комедія. Замѣтимъ развѣ еще, что пьеса пересыпана юморомъ такого качества, съ какимъ мы не привыкли встрѣчаться у г. Островскаго. Вотъ выдержка для примѣра:

Телятевъ (Василькову). Савва Генадичъ.

Лидія. Какое имя!.. Онъ иностранецъ?

Телятевъ. Изъ Чухломы.

Лидія. Какая это земля? я не знаю. Ея нѣтъ въ географіи.

Телятевъ. Недавно открыли.

Или вотъ еще:

Лидія. На какомъ языкѣ онъ говоритъ?

Телятевъ. Онъ очень долго былъ въ плѣну у ташкенцевъ.

Глумовъ. У него пріиски, самые богатые по количеству золота, изъ каждаго пуда песку фунтъ золота намывають.

Надежда Антоновна. Неужели?

Глумовъ. Онъ самъ говоритъ. Оттого онъ такъ и дикъ, что все въ тайгѣ живетъ съ бурятами.

Сообразивъ все это, невольно задаешь вопросъ: почему г. Островскій такъ искажилъ первоначальную, весьма удачную идею комедіи? Почему, вмѣсто живого человѣка, съ нѣкоторыхъ поръ фигурирующаго у всѣхъ на глазахъ на нашей житейской сценѣ, вывелъ онъ какую-то загадочную личность, о которой трудно даже сказать, что она такое? Почему онъ ввелъ эту личность въ обстановку, хотя и не выходящую изъ предѣловъ возможнаго, но уже ни въ какомъ случаѣ не представляющую той дѣйствительной, господствующей среды, которая могла бы назваться „міромъ разорившагося барства?“

Изъ „Зари“ за 1870 г.

* * *

*) Русскіе спектакли открылись послѣ поста новою комедіею г. Островскаго „Бѣшенныя деньги“, напечатанною, два мѣсяца тому назадъ, въ „Отечественныхъ Запискахъ“. Литературная критика отнеслась, какъ извѣстно, къ этому произведенію далеко несочувственно и единогласно признала его несостоятельность. Дѣйствительно, на этотъ счетъ не можетъ даже быть двухъ различныхъ мнѣній, потому что недостатки пьесы, заключающіеся въ невыдержанности характеровъ и аляповатости ея постройки, слишкомъ рѣзко бросаются въ глаза. Краски, положенныя авторомъ, до того грубы, что всѣ личности являются въ ней не обрисованными, а намалеванными, и потому вся она производитъ отталкивающее впечатлѣніе какъ на читателя, такъ и на зрителя. Съ другой стороны, впрочемъ, комедія все-таки болѣе выигрываетъ на сценѣ, чѣмъ въ чтеніи, такъ какъ ей мѣстами нельзя отказать въ сценичности, и дѣйствіе въ ней идетъ довольно живо, хоть и безъ достаточной мотивировки многихъ подробностей. Несомнѣнно во всякомъ случаѣ то, что слабѣе этой пьесы г. Островскій ничего еще не написалъ и что на всей комедіи лежитъ какая-то печать скороспѣлой, не додуманной работы, какъ будто сдѣланной на заказъ. По нѣкоторымъ признакамъ можно предположить, что авторъ задался мыслию изобразить русскую *Фру-Фру*, и съ этою цѣлью воспользовался, если не сюжетомъ, то основною идеею извѣстной французской пьесы, которой придала у насъ такой интересъ высоко-художественная игра г-жи Делапортъ; но въ такомъ случаѣ попытка совсѣмъ ему не удалась, потому что первообразъ героини пьесы г. Островскаго, Лидіи Юрьевны Чебоксаровой, симпатиченъ для зрителя, понятенъ ему и выхваченъ изъ жизни, а подражаніе вышло только грубо-циническимъ и сухо-безнравственнымъ, такъ какъ въ общемъ результатъ Лидія Юрьевна является просто камеліею, готовою рѣшительно на все, ради денегъ. Это крайнее упрощеніе женскаго характера, въ который французскій писатель вложилъ столько

*) „Биржевыя Вѣдомости“ 1870 г., № 169 („Бѣшенныя деньги“).

тонкихъ чертъ, дѣлающихъ его интереснымъ и привлекательнымъ, нанесло, по нашему мнѣнію, комедіи г. Островскаго смертельный ударъ, потому что отняло у нея всякое психологическое значеніе. Какой интересъ можетъ представить безсердечная авантюристка, готовая отдаться за деньги безъ разбора кому угодно и положительно незнакомая ни съ какими человѣческими чувствами? Кромѣ отвращенія, она ничего не можетъ внушить къ себѣ, такъ что положеніе актрисы, играющей эту крайне-антипатическую роль, въ высшей степени затруднительно и щекотливо. На нашей сценѣ трудность эта еще усилилась отъ того, что дирекція, по неимѣнію, въ составѣ труппы другой артистки, способной выдержать такую отвѣтственную роль, дала ее г-жѣ Струйской, привыкшей играть у насъ постоянно слезливыя роли угнетенныхъ невинностей, и вдругъ поставленной въ необходимость изобразить холодную и развращенную до мозга костей кокетку, или, вѣрнѣе, *кокетку*. Само собою разумѣется, что г-жа Струйская была не въ своей сферѣ, и что свѣтская пройдоха обрисовалась въ ея игрѣ недостаточно рельефно, — отчасти по недостатку того внѣшняго блеска, который необходимъ для изображенія подобной личности, способной дѣйствовать на мужчинъ одною только наружностью и извѣстными пріемами грубаго кокетства. Винить г-жу Струйскую въ томъ, что роль эта ей не совсѣмъ удалась, было бы, по нашему мнѣнію, несправедливо, потому что, по своимъ средствамъ артистка, сыграла ее вполне добросовѣстно, но передать на сценѣ то, что, видимо, противно ея натурѣ, она при всемъ желаніи, никакъ не могла. Намъ кажется, что рациональнѣе было бы дать испробовать свои силы въ этой роли г-жѣ Лядовой-Саріотти, которой нечего будетъ дѣлать въ нашей труппѣ, если она не станетъ играть ролей свѣтскихъ дамъ и кокетокъ, такъ какъ роли, требующія чувства и сильнаго драматизма, ей положительно недоступны.

Перейдемъ, однако, къ содержанію комедіи г. Островскаго, которое съ сюжетомъ піесы Мельяка не имѣетъ ничего общаго. Первые два дѣйствія ея могутъ быть

смѣло слиты въ одно, потому что все сводится въ нихъ къ сватовству провинціала — подрядчика Василькова на Лидіи Юрьевнѣ, которая прямо ему объявляетъ, что не любитъ его, но выходитъ за него изъ-за денегъ, считая его богачомъ. Провинціаль этотъ, вышедшій у автора личностью далеко не ясною по очертанію характера, женится на Лидіи Юрьевнѣ, несмотря на такое признаніе, а также и на то, что дѣвушка эта, по своему воспитанію и образу мыслей, совсѣмъ къ нему не подходитъ. Въ третьемъ дѣйствіи оказывается, что онъ совсѣмъ не такъ богатъ, какъ ожидали его жена и теща, т. е. что у него хотя и есть состояніе, нажитое трудомъ, но нѣтъ *бѣшеныхъ* денегъ, которыя бы можно было кидать изъ окна, и онъ не можетъ выходить изъ положеннаго бюджета. Между тѣмъ обѣ моточки — старая и молодая — надѣлали кучу долговъ, которыя Лидія Юрьевна заставляетъ его заплатить, осыпавъ любящаго ее мужа лицемѣрными, но для него совершенно неожиданными ласками. Къ ужасу своему, она тотчасъ же затѣмъ узнаетъ, однако, что за уплатою долговъ, ей придется сократить свои расходы и даже перебраться на другую, болѣе скромную квартиру. Послѣ краткаго совѣщанія съ мамашею, Лидія Юрьевна изъявляетъ на то свое согласіе, но съ тѣмъ, чтобы завести себѣ такъ называемаго *папашу*, т. е., попросту говоря, содержателя. Роль эту беретъ весьма охотно старикъ Кучумовъ, выдающій себя за Креза. Объясненіе между имъ и ею по этому предмету происходитъ, какъ говорится, на чистоту, безъ всякихъ обиняковъ, но, кромѣ Кучумова, на сердце Лидіи Юрьевны изъявляетъ притязаніе еще нѣкто Телятевъ, тоже считающійся богатымъ человѣкомъ. Оба они встрѣчаются въ квартирѣ Василькова, а вслѣдъ затѣмъ приходитъ и самъ хозяинъ, которому изъ мести открылъ глаза отвергнутый Лидіей Юрьевной обожатель Егоръ Дмитричъ Глумовъ. Васильковъ встрѣчается, прежде всего, съ Телятевымъ и вызываетъ его на дуэль, — что выходитъ на сценѣ только комическимъ, а ничуть не потрясающимъ, такъ какъ несчастный мужъ попался въ омутъ по своему собственному неразумію, — но

едва Телятевъ успѣлъ его нѣсколько успокоить, какъ выходитъ Кучумовъ и, не замѣчая его присутствія, цѣлуетъ жену его въ щеку. Слѣдуетъ горячее объясненіе, послѣ котораго Лидія Юрьевна разѣзжается съ мужемъ, чтобы открыто жить съ Кучумовымъ, обѣщавшимъ ей сорокъ тысячъ на первое обзаведеніе. На бѣду, все это оказывается пуфомъ, и въ пятомъ актѣ безсердечная камелія снова въ долгу, какъ въ шелку, потому что Кучумовъ, подъ разными предлогами, безпрестанно забываетъ принести обѣщанныя деньги. (Пріемъ совершенно водевильный, повтореніе котораго становится, наконецъ, вопіющею нелѣпостію). Тогда Лидія Юрьевна, узнавъ, что Кучумовъ обманулъ ее и что у него не найдется и шести сотъ рублей, обращается за деньгами къ Телятеву, но и тутъ ее постигаетъ горькое разочарованіе: Телятевъ—кандидатъ въ долговое отдѣленіе, просорившій попусту множество чужихъ денегъ, но не отчаивающійся и впредь жить на чужой счетъ, когда кредиторы устанутъ платить за него кормовыя деньги. (Личность эта наиболѣе удалась автору и вышла даже довольно типичною, — въ особенности на ряду со всѣми остальными). При такихъ обстоятельствахъ, Лидіи Юрьевнѣ, надъ которою насмѣялся и Глумовъ, уѣхавшій за границу съ какою-то довѣрчивою старухою, съ тѣмъ, чтобы ее обобрать, „ничего другого не остается“, по мнѣнію автора, какъ примириться съ мужемъ, состояніе котораго, между тѣмъ значительно увеличилось,—и пѣса оканчивается, къ немалому удивленію публики, тѣмъ, что Васильковъ предлагаетъ развратной женѣ своей, въ видахъ ея исправленія, взять ее къ себѣ въ экономки, съ тѣмъ, чтобы она жила сперва въ деревнѣ, подъ надзоромъ его матери, потомъ въ губернскомъ городѣ и затѣмъ уже въ Петербургѣ. Такъ какъ Лидія Юрьевна остается вѣрна себѣ до конца, и никакія превратности въ жизни не могутъ возбудить въ ней хотя искру чувства и внушить хоть малѣйшее понятіе объ ея обязанностяхъ, то вся эта система исправленія, придуманная Васильковымъ, является страшною фальшью. Другое дѣло, если бы Лидія Юрьевна дѣйствительно раскаялась въ

своемъ прошедшемъ и любила мужа, взявшагося перевоспитать ее, но къ такимъ женщинамъ, какъ она, вполнѣ примѣняется русская поговорка: „горбатаго могила исправить“, и имъ ничего другого не остается, какъ жить, пока можно, на содержаніи у богатаго человѣка, и потомъ падать все ниже и ниже по ступенямъ разврата. Такимъ образомъ, отъ невѣрной постановки главнаго женскаго характера, по отношенію къ Василькову, вся пьеса не выдерживаетъ критики, какъ построенная на пескѣ, а не на крѣпкомъ фундаментѣ.

Изъ „Биржевыхъ Вѣдомостей“ за 1870 г.

*
* * *

*) Во 2-мъ номерѣ „Отечественныхъ Записокъ“ прежде всего бросается въ глаза новая комедія А. Н. Островскаго: „Бѣшеные деньги“. У насъ уже было говорено о сценическомъ представленіи этой комедіи. Скажемъ теперь два слова объ основной ея мысли. Кому изъ читателей не случилось встрѣчаться съ такими людьми стараго покроя, которые всячески, правдами и неправдами, сколотили себѣ порядочный капиталецъ? Эти люди обыкновенно любятъ читать неимущимъ и нуждающимся братьямъ своимъ нотации, въ родѣ слѣдующихъ: „ты подрудись съ мое, поживи—тогда и наживешь деньги; деньги даромъ не даются“. Что здѣсь понимается подъ трудомъ, подъ жизнью—объ этомъ не спрашивайте, все это покрыто мракомъ неизвѣстности. Для такихъ людей цѣль постоянно оправдываетъ средства, и потому всякій, нажившій себѣ деньги, въ ихъ глазахъ, безапелляціонно заслуживаетъ полнаго уваженія и становится умнымъ, дѣльнымъ и трудолюбивымъ. Слышать такіа воззрѣнія отъ людей, болѣе или менѣе съ крѣпкимъ лбомъ—конечно, не удивительно, но кто бы могъ подумать, что достопочтенный авторъ „Грозы“ начнетъ проповѣдывать намъ тѣ же самыя идеи, что онъ вздумаетъ увѣрять насъ, будто время „Бѣшеныхъ денегъ“ прошло, что теперь торжествуетъ и вознаграждается только трудъ и умъ. Мы

*) „Новое Время“ 1870 г., № 109 („Бѣшеные деньги“).

хотя и давно уже убѣдились, что талантъ Островскаго слабѣетъ, но однакожъ никогда не предполагали (да и кто же могъ предполагать?), чтобъ уважаемый драматургъ перешелъ когда-либо къ воззрѣніямъ тѣхъ самыхъ самодуровъ, надъ которыми онъ во время оно такъ искренно глумился. А это, вѣдомо или невѣдомо для самого автора, но случилось. Въ своей новой комедіи онъ является защитникомъ той породы новыхъ практическихъ людей, которые наживаютъ милліоны, но ужъ, конечно, не трудомъ, а какой-либо случайностью, аферой, спекуляціей или эксплуатаціей чужихъ силъ. Авторъ рѣшительно не понялъ, что бѣшенныя деньги попрежнему остались и пребываютъ бѣшенными, но только изъ рукъ однихъ перешли въ руки другихъ. Убѣдиться въ этомъ вы лучше всего можете изъ самой комедіи: Лидія (героиня комедіи г. Островскаго) соритъ деньги на наряды, а Васильковъ, восхваляемый авторомъ идеаль, раскупаетъ для своей любовницы такія коляски, что отъ одного созерцанія на нихъ съ Лидіей дѣлается даже обморокъ: скажите, пожалуйста, не бѣшенныя ли у нихъ обоихъ деньги? И гдѣ же, наконецъ, послѣ того предѣлъ бѣшенства и разумія? Предѣла, конечно, нѣтъ, да и быть не можетъ тамъ, гдѣ деньги даются ни за что ни про что, или наживаются простой случайностью и аферой. Не распространяясь долго, скажемъ, что идея новой комедіи г. Островскаго не выдерживаетъ никакой критики, и есть не что иное, какъ крайне избитая, пошлая, истертая мыслишка всѣхъ разжившихся кулаковъ. Оставляя въ сторонѣ собственно идею комедіи, перейдемъ къ ея выполненію. Трудно сказать, изъ какой преисподней выкопалъ г. Островскій тѣхъ людей, которыхъ онъ выводитъ въ своей комедіи. Что за личность его Васильковъ, что за существо его Лидія? Откуда всѣ эти Телятевы и к^о? Сколько можно судить, Лидія, относительно, все таки же дѣвушка порядочнаго круга. Отсюда мы вправѣ заключить, что она можетъ быть избалована, приучена къ роскоши, нѣгѣ, не имѣетъ ни малѣйшаго понятія о трудѣ, чести и проч., — словомъ, испорчена нравственно; но между ней и закоренѣлой публичной жен-

щиной, какъ хотите, а должны же существовать хоть какія-нибудь внѣшнія различія. Но у г. Островскаго все это сливается во едино; и оттого героиня его представляется не испорченной средой и воспитаніемъ дѣвушкой, а какой-то отвратительной, прошедшей всѣ ступени разврата и погрязшей въ цинизмѣ, женщиной. Послушайте, что говоритъ Лидія своему мужу, черезъ недѣлю послѣ свадьбы, поймавшему ея въ любовныхъ объясненіяхъ съ однимъ старымъ ловеласомъ и требующему немедленно оставить его домъ. „Берите скорѣе вашу дочь отъ меня; берите ее скорѣе“, говоритъ разбѣшенный Васильковъ матери Лидіи, на что Лидія очень хладнокровно отвѣчаетъ: „скорѣе чѣмъ вы думаете. Мы сами сегодня хотѣли переѣхать. Мы наняли нашу старую квартиру и постараемся изъ ея зеркальных оконъ даже не глядѣть на эту жалкую лачугу съ жалкимъ обитателемъ ея. Вы играли комедію, и мы играли комедію. У насъ больше денегъ, чѣмъ у васъ, но мы—женщины, а женщины платить не любятъ. Я притворялась, что люблю васъ, притворялась съ отвращеніемъ: но мнѣ нужно было, чтобъ вы заплатили наши долги. Я въ этомъ успѣла; съ меня довольно. Оцѣнили ли вы мою способность притворяться? Съ такой способностью женщина не погибнетъ. Застрѣлитесь, пожалуйста, поскорѣе. Телятевъ, не отговаривайте его. Вы мнѣ развяжете руки, а ужъ въ другой разъ я не ошибусь въ выборъ или мужа или... ну, сами понимаете кого. Прощайте! Все мое желаніе—не видѣть васъ болѣе никогда“. И это говоритъ молодая, двадцати-четырехъ-лѣтняя женщина и говоритъ при чужомъ чловѣкѣ, не краснѣя, не стыдясъ—какъ будто самую обыкновенную вещь. Не знаю, какъ вы, читатель, но я, съ своей стороны, долженъ сказать, что подобныхъ женщинъ не видалъ, по крайней мѣрѣ, въ томъ кругу, изъ какого авторъ взялъ свою героиню. И полагаю, что высказывать такія вещи, какія высказываетъ Лидія, не рѣшится ни одна женщина, имѣющая хоть какой-либо малѣйшій внѣшній лоскъ. Въ самомъ дѣлѣ, какую нужно имѣть глубоко извращенную натуру, какъ сильно нужно погрязнуть среди разврата и

порока, чтобъ рѣшиться на такое циническое самоизображеніе своей собственной пошлости, на какое рѣшилась не краснѣя Лидія. Если, въ сценѣ объясненія съ мужемъ, Лидія представляется крайней развратницей, то какъ прикажете назвать ее въ пятомъ актѣ, гдѣ она предлагаетъ свое сожителство—каждому знакомому, справляясь предварительно, есть ли у него деньги; и такія предложенія идутъ безъ всякаго посредничества такъ-таки прямо безъ обвиняковъ, какъ будто бы простое предложеніе отобѣдать или выпить чашку кофе. Не знаемъ, гдѣ видѣлъ такихъ женщинъ г. Островскій? Можетъ быть, въ какихъ-нибудь вертепахъ онѣ и существуютъ, мы объ этомъ не споримъ, но смѣло утверждаемъ, что въ томъ кругу, изъ среды котораго авторъ взялъ свою героиню, такихъ женщинъ нѣтъ, да и быть не можетъ.

Если характеръ Лидіи какъ нельзя ближе показываетъ намъ, что г. Островскій утратилъ рѣшительно всякое чутье, то, съ другой стороны, личность Василькова (героя комедіи) окончательно убѣждаетъ насъ въ томъ, что безъ яснаго руководящаго типа, по однимъ довольно блѣднымъ проявленіямъ, создать что-либо цѣльное — г. Островскій едва ли уже въ силахъ. Посмотрите, на примѣръ, что сдѣлалъ авторъ съ Васильковымъ. По первоначальному плану Васильковъ есть человѣкъ труда, дѣла—словомъ, работникъ. Мало этого, Васильковъ человѣкъ умный, такимъ по крайней мѣрѣ намѣревался показать его авторъ. Но что же вышло? А вышло то, что въ концѣ концовъ Васильковъ оказался положительнымъ дуракомъ. Для доказательства довольно привести одинъ или два примѣра, дабы совершенно убѣдиться въ его положительной глупости и тупости. Первымъ изъ такихъ примѣровъ служитъ женитьба его на Лидіи. Не знаемъ, какъ полагаетъ г. Островскій, но мы думаемъ, что мало-мальски разумный человѣкъ никогда не женится, если любимая дѣвушка прямо говоритъ, что она его не любитъ и никогда любить не будетъ, а согласна выйти за него только по тому, что у него есть средства. Несмотря однакожъ на такое откровенное изъясненіе Лидіи—Васильковъ женится

на ней. Эта одна глупость, мнѣ кажется, уже въ достаточныхъ размѣрахъ изобличаетъ умственные способности Василькова, но въ комедіи вы найдете такихъ глупостей и несообразностей цѣлый рядъ. Видно, что въ лицѣ Василькова авторъ хотѣлъ показать намъ новую породу людей дѣла, но только эта порода, къ несчастью, вышла у него не лучше той, которую онъ бичуетъ. А изъ подобной неудачи получается тотъ выводъ основной идеи комедіи, что бѣшенныя деньги попрежнему остались бѣшенными.

Всѣ лица комедіи, за исключеніемъ Кучумова, представляются какими-то придуманными, натянутыми, и не имѣютъ подъ собой рѣшительно никакой жизненной почвы. Вообще же новая комедія г. Островскаго въ литературномъ отношеніи ниже всякой посредственности, и ясно показываетъ, что чутье измѣнило г. Островскому, а творческой способности у него рѣшительно нѣтъ; отсюда—можно ли что-либо писать и не лучше ли автору покинуть на всегда перо?

Изъ „Новаго Времени“ за 1870 г. Статья Л. Л.

Zelinskij, Vasilij Apollonovič

Kritičeskie kommentarii k sočinenijam A. N. Ostrovskago Chronolog. sbornik
kritiko-bibliograf. statej. [Aleksandr Nikolaevič Ostrovskij]

Bd.: 3

1896

P.o.russ. 79 w-1/3

urn:nbn:de:bvb:12-bsb11819682-4